держания, в этот раз не дали. Знал Шлемкин, что все равно пойдет Николай Иванович в Великорецкое, знал. На то и рассчитывал. Начальник базы очень переживал, лишаясь такого работника, но поделать ничего не смог — приказали уволить. Приказали очистить ведомственную жилплощадь — две крохотные комнатки, в которых было по кроватке, да кухоньку с маленьким столом и табуретками. Самодельные, конечно, и кровати, и стол, и табуретки. Всей мебели — на тележку складсть. Главное их богатство — иконы. И в ее светелке, и в его передней. «Два монастыря у нас, матушка», — говаривал Николай Иванович. В общежитии, куда пустили из милости, оттого, что Вера там была уборщицей, для икон даже места не нашлось. Теперь вот гнали и из общежития. А Веру рассчитали, сославшись на пенсионный возраст и на какую-то статью, сказали даже номер статьи, как будто Вера в этом что понимала. Разрешили пожить две недели. Надо было что-то решить.

Николай Иванович с утра, как на работу, уходил искать новое место. Но неудачно. Только доходило до оформления, только протягивал паспорт, как под разными предлогами отказывали. Стар, пришел бы вчера, зайдите осенью. Это могло быть правдой, но в одном месте раскормленный кадровик в полупиджаке-полуфренче заявил: «Сектантов не берем», — тут стало ясно. Шлемкин включил в список неблагонадежных и его. Спорить, доказывать, что назвать православного сектантом все равно что русского эфиопом? Но повидал Николай Иванович полуфренчей, полукителей, полугимнастерок — и рукой махнул.

Можно бы и на пенсию прожить, но стараниями все того же Шлемкина пенсия у Николая Ивановича была сверхничтожна. Один раз вот так же уволили Николая Ивановича за уход на Великую, причем уволили в пятьдесят семь лет, за три года до пенсии. Тогда, правда, хоть на сдельную, на временную, на аккордную брали. Но в стаж все это не попало, и пенсию насчитали как три года неработавшему, то есть копеечную. И вот сейчас, на старости лет, опять гоняют Николая Ивановича, как, прости, Господи, пса беспризорного, только и успевает Николай Иванович произносить: «Ненавидящих и обидящих мя прости, Господи», — да только вздохнет коротко и сокрушенно, стараясь сердиться на себя, а не на них, ругая себя за то, что не до конца изжил в себе сетования и печали.

Ходить, искать работу и жилье, понял Николай Иванович, было бесполезно. Он решил с утра отстоять литургию, причаститься и отправиться в свое село, теперь уже не село, непонятно что, какое-то собачье название — эрпэгэтэ. Деревня бы лучше пристала родному Святополью, потому что и в Святополье церковь была порушена, а какое ж село без церкви? А деревня какая без часовни? Так что, видно, эрпэгэтэ в самый раз. Тонюсенькая ниточка, которая тянулась из Святополья, была открыточками сестры Раи, или, как она их называла, «скрыточками», к Новому году и к Пасхе. На Пасху Рая, страшась, наверное, недавних гонений, поздравление не писала, но открытку подбирала не революционную, а с цветами.

А не был на родине Николай Иванович, страшно сказать, пятьдесят лет. Пятьдесят лет прошли, как увезли его из Святополья, увезли с милицией за отказ служить в армии. Вот тогда, пожалуй что, он был сектантом. Вот какой грех взял на себя Николай Иванович, а отмолимый он или неотмолимый, Бог знает. И пятьдесят лет не видел Николай Иванович оставшегося в живых брата Арсения и всего израненного, однорукого брата Алексея. А отец и старший брат Григорий погибли. С рабов Божиих Григория и Ивана начинал Николай Иванович памятку об упокоении, а с рабов Божиих Алексея и Арсения — о здравии. И молился за них, зная, что братья икон в доме не держат, может быть, только Рая. И молился и чувствовал теплоту в молитве, а ехать все стыдился.

Но вот подошло: спасибо Шлемкину, гонит на родину. Николай

Иванович дописал имена умерших, прошептывая на каждом имени: «Подаждь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежди воскресения, отцем, братиям и сестрам нашим и сотвори им вечную память», — и как-то замер над листочком, думая, может, забыл кого помянуть? И тут, вот и скажи, что что-то бывает случайным, именно тут пришла Вера и молча, перекрестясь, подала телеграмму. Вначале прочлась приписка внизу: «Факт смерти Чудинова Алексея Ивановича заверяю секретарь сельсовета».

Вера зажигала свечечку (лампадку в общежитии они не осмелились направлять). Зажгла, прочла поминальную молитовку и сказала:

— С женщинами договорилась, селедки достанут.

— Зачем?

— Как зачем? Ничего ж там нет. С утра поедешь?

— С утра-то бы хорошо, да ведь там близко церкви нет, лучше тут заочно отпеть, и уж с обеда, благословясь... — Он недоговорил, но Вера знала, что он мог бы сказать, что ведь как, теперь уж надо ехать обязательно, брат позвал.

2

Кроме селедки Вера еще достала и конфет, и чаю, пусть хоть грузинского, но и такого давно не было, достала даже кооперативной, дорогущей колбасы, хоть сама ее и век не едала, положила также хозяйственного мыла, сигарет Арсению, это в сумку, а в руках велела держать связанные вместе упаковки для яиц, две по три десятка. Это был единственный товар, который следовало везти не в деревню, а из деревни, и Николай Иванович попробовал сопротивляться. Но Вера, он давно знал, лучше его стократ смыслила в жизни, и он сдался.

Ехать было так же, как и пятьдесят лет назад. Поездом, только он назывался теперь электричкой, потом автобусом. Тогда ездили на попутных, а чаще на лошадях. Некоторым, правда, как вот Николаю Ивановичу, был особый почет — бесплатный проезд, да еще и с охраной.

Николай Иванович заключение, в общем-то, перенес легко. Били — думал: «Слава Тебе, Господи, привел пострадать», заставляли выносить парашу, и это было не в тягость, ведь трудом унизить нельзя, даже и неверующего. Надо же кому-то и парашу выносить. Обделяли уголовники куском, он вспоминал Иоанна Крестителя, питавшегося кореньями и акридами, вспоминал сорокадневное пощение Спасителя, молился, и голод отступал. Одно было невыносимо — опер каждый день на проверке и разнарядке подходил к Николаю Ивановичу и срывал с него крестик. Крестик Николай Иванович делал из щепочек, а ниточку для него вытискивал из портянок или из мешковины, или приловчился отделять от ивовой коры лычинку, всяко было. Но чтобы лечь уснуть без крестика на шее, этого он не мог. Он так и думал, что страдает за свою веру, сознание непоправимости, огромности греха пришло к нему после тюрьмы, после встречи со старцем, когда они ходили вместе на Великую, на день обретения чудотворной иконы Николы Великорецкого. Тогда-то старец рассказал о преподобном Сергии, конечно, не впервые услышал Николай Иванович о Сергии, но впервые о том, что в годину, тяжелую для России, своею волею преподобный Сергий повелел взять оружие даже монахам. К тому времени Николай Иванович многое понял, он знал уже, что отец и брат Григорий погибли, что Алексей потерял руку. Знал, правда, по слухам, не было документального подтверждения, что и в эту войну монахи воевали в танковой колонне «Дмитрий Донской». Это отец Геннадий рассказывал. Он же увещевал Николая Ивановича забыть грех отказа от защиты Отечества, ведь тот искупил его и тюрьмой и молитвами. Но Николай Иванович все не чувствовал облегчения, все тяготило его, что даже и могилки отца он не

знает, и братова могилка неизвестно где на просторах Северо-Западного фронта, вот в чем горе. Их мать не вынесла этих двух смертей, да еще и Николай был в тюрьме, а тут и Арсеню посадили за воровство, хоть и был несовершеннолетний, и мать умерла. Рая писала, что мать надорвалась на лесозаготовках, куда сама напрашивалась из-за хлебной нормы, но знал Николай Иванович, что страдании душевные тяжелее физических.

Но почему он боялся или стыдился ехать в Святополье, неужели только телеграмма вытянула да издевательства Шлемкина? Нет, тут многое может оправдать. Во-первых, не с чем было ехать, во-вторых, когда? Отпуска фактически у него и не бывало, все работа и работа. На смирных воду возят, а он безответный человек, он лишь в одном тверд — в служении Богу. А Бог велел терпеть. О, многое в государстве держалось на верующих. Как только над ними не изгалялись всякие Шлемкины, а они все тянули да тянули. И не роптали, не воровали, не пили. Был в государстве еще один безгласный отряд ломовых лошадей — пьяницы. С этими было еще проще: вначале споить, а потом требуй что хочешь. Сверхурочных работ, работ в выходные, можно лишать премий, путевок, жилья, можно над ними всяко издеваться — куда денутся? Ну, иногда устроят сидячую забастовку: доползут до работы и ничего не делают, но это не от поисков социальной справедливости, просто с похмелья нету сил. Так и пусть бастуют, думает опытный начальник, пусть до обеда бастуют, там похмелятся и пусть вламывают во вторую смену, можно и ночную прихватить, чего с ними чикаться? Особенно выгодны были русские пьяницы, у них одна из национальных черт была черта стыдливости за свои проступки. Им стыдно за вчерашнее, стыдно, что не удержался, пропил аванс, вот и стыдись дальше, иди на любую работу, соглашайся на любые расценки, иди на химию, иди с радиацией работай, можно и молоко за вредность не выдавать, и без молока хорош. Можно презирать, можно в боевом листке карикатурно изобразить, это особенно проверяющим комиссиям нравится, называется пунктом борьбы за трудовую дисциплину. Для начальников пьяницы — большая драгоценность, на них списывают все понедельники и дни зарплат, все дни после непрекращающихся в стране праздников — вали все на них! Ох как напугал многих слух о сухом законе! И напугал именно начальников, а не пьяниц, пьяница — человек больной, разве больному не хочется излечения? Нет, не ввели сухого закона, и этот, полусухой, тоже испохабили, и начальники на своих активах радостно говорили, что и Горбачев признал ошибочность гонения на пьянство, и так выводили, что Горбачев чуть ли не рад спаиванию людей, которые еще кроме всего и избиратели...

Кончились незнакомые, вроде как сжавшиеся поля, пошел лес, тоже незнакомый. Тот лес детства и юности был сосновый, пихтовый, этот — больше ольха да осина. Кончился асфальт, жестяной указатель на Святополье был продырявлен, видно, охотники баловались. Никто в автобусе не узнавал Николая Ивановича, и он никого. Вышел, матушка моя, батюшка мой, — вот она, колокольня, одна и осталась, обезглавела, запаршивела, но стоит среди Святополья. Нет, уже не посреди, Святополье сдвинулось в сторону эрпэгэтэ, дома там сероцементные, там центральная усадьба, а Святополье как было, так и стояло на бугре, близ кладбища. И изба их стояла, даже баня на задворках.

Пришагал Николай Иванович к дому — закрыто. Сел дух перевести, бежит Рая. Родина ты милая, пятьдесят лет братик сестричку не видел, пятьдесят лет. Обнялись они, Рая уливается, Николай Иванович успокаивает, в каких словами, что говорили — и не высказать. Рая просила жить у нее, но Николай Иванович запросился в родительскую, старенькую избу, которую Рая держала за летнюю, а сносить не хотела. И говорила, и говорила! И чего ж это милый братик писал так редко, и кто эта Вера, от которой приветы передает? И чего ее не привез, сколь долго не было, это ведь какие веки, это ведь они своих родителей

вдвое старше, а в колхозе ничего, жить можно, ведь не умерла же, хоть раньше и серпом косили, а с хлебом были, а сейчас на тракторах ездят, а хлеб едим не свой, тяжелый, а Арсеня пьет, сильно пьет, поговори с ним, Коленька, старшего послушает, Алешу не слушал, да уж чего перед своим скрывать, вдвоем и полоскали, а уж про Алешу сказать, хоть и грешно сказать, но хорошо, что отмучился, и сам отмучился, и жена его Анна отмучилась, она тоже, наверно, скоро сунется, ведь жили они в доме престарелых в Кирово-Чепецке, легко ли, да не пожилось, Алеша стал заговариваться, стали оформлять в Мурыгино, в дурдом, так уж вернулись сюда, здесь как участнику войны дали комнату в бараке, там и лежит, там и умер, могилу завтра с утра парни выкопают, над ним сейчас старичок псалтырь читает, он всегда читает и берет недорого...

3

Николай Иванович как вошел в избу нагнувшись, так и стоял ссутулясь, низенек оказался потолок. Вот печь, на которой он родился, вот лавка, на которой сидели они, и тут вдруг резко прозвучала в памяти слуха рекрутская частушка, а ведь Николай Иванович вроде и знать не знал ее, как же она в нем сохранилась? «Со́брана моя котомочка, на лавочке лежит, неохота, да придется на чужой сторонке жить».

— На кладбище сегодня сходим? — спросила Рая, но тут же решила, что лучше уж завтра, заодно с похоронами. И баню завтра.

И снова все говорила и говорила. На трех работах работает, вся выскалась, а как, парень, иначе, ведь дети нынче дорогие, а и их как осуждать, трое у нее, все семейные, всем помогает, а у Алеши был один, да и тот, миленький, утонул в Каме, в Брежневе, не говорят ничего, но по всему видно — по пьянке утонул, выпивал больно, приедет когда в Святополье, так дня от ночи не отличает, инструктор по какому-то спорту ли, туризму ли, они не больно-то объясняют, у молодежи нынче язык отнялся, осталось только у них — половина мычанье, половина мат, вот и пойми. Да еще на мотоциклах паляют, только и слышишь: тот башку сломал, этот ребро, а им — что дико, то и потешно. А у старшенького у нее — девочка с диабетом, и дети-то нынче все задохленькие, дышать им нечем и едят сплошную химию, как тут будешь здоровым, да еще атом этот лешачий кому-то снадобился, надо им, так сделайте себе в кабинете да и радуйтесь, нет, они вначале на колхозниках испытают, а чего колхозники, колхозники не рабочие, все вынесут, у них ума на забастовку не хватит, да и скотину надо кормить...

— Ой, заговорила я тебя, — спохватывалась Рая, а сама прямо летала по избе, чего-то расставляя и поправляя.

Вошли в переднюю. Божничка, как стояла тогда, так и стояла. Иконочки Спасителя, Казанской Божьей матери, Николая Чудотворца тоже были те самые, их, семейные, еще дореволюционные. Простенькие, напечатанные на бумаге и наклеенные на дощечки. Цветы из стружки, к радости Николая Ивановича, были свежими, видно было, положены на божничку недавно.

— К Пасхе убирала, — сказала Рая. — Жена Арсени всегда к Пасхе приносит. А Арсеня наш чего-то совсем задурил, в Святополье не живет, сидит в Разумах, там один дом всего и остался, как раз его дом. Задурил совсем не по-путному, из детей, их у него пятеро, никого не признает, ты поговори с ним.

— Надо будет мне потом все имена записать всех детей, чтоб о здравии поминать.

— Да я так-то пишу, передаю со старухами, самой-то когда, так

и живу, грешница, в церкви не бываю. — И, раз уж коснулись этой темы, спросила: — Тебя-то как, все карают?

— Ничего, живой.

— А вот как, скажи, Коля, тебя на десять лет увозили, а сколь долго сидел, как?

— Два раза добавляли. За что? Видно, понравился. Там ведь просто. Я старый был зэк, матерый, меня они не стеснялись, при мне раз обсуждали: киномеханика надо было выпускать, срок домотал. А как без киномеханика? Один другому и говорит: «Да ничего, это устроим», — и устроили. Приметили парня на воле, да могли и любого, втравили в драку, сунули пятерку, и иди в зону, крути кино, фильмы-то те же самые. У нас любого и каждого могут посадить, и никому ничего не докажешь.

Рая вздохнула, согласно покивав.

— Поешь с дороги.

— Нет, Рая, давай вначале к Алеше.

Они пошли, оставив избу незакрытой.

— Нюра, Алешину хозяйку зовут, Нюра. Еще там Люба, ты ее должен помнить, дяди Ксенофонта дочь. Предсельсовета была, потом увезли на восстановление Ленинграда, так и всю жизнь там, тоже уже безмужняя.

Они пошли напрямик, по глухому проулку, около поваленного забора, поваленного не до конца, сквозь него били фонтаны цветов, оплетали их голубые плети мышиного гороха, горели фонарики клеверных головок, белые колокольцы вьюнка тихо качались, выстреливала вверх тимофеевка, а сзади напирала плотная, кроваво-мрачная стена репейника. На местах домов, если они рушились сами, от старости, росли лопухи и крапива, а на месте пожарищ полыхал лилово-малиновый иван-чай.

— Все ли узнаешь-то? — спросила Рая.

— А как и не уезжал.

Рая остановилась, оглянулась.

— Вот уж именно, как и не уезжал.

— А жизнь-то, Раечка, и прошла. — Николай Иванович тоже остановился. — Прошла, — повторил он о своей жизни как о чужой, — прошла жизнь и кончилась, одна душа жива, слава Богу, одним Святым Духом живы, Раечка. А уж где Бог привел быть, в тюрьме ли, в колхозе ли, Его воля.

— Его, — откликнулась Рая.

Видно было отчетливую на закате колокольню, деревья, выросшие на ней. На месте остальной церкви стоял железобетонный стеклянный магазин. За ним зеленело, темнело кладбище.

Жена Алексея, теперь уже вдова Нюра, так, наверное, и не поняла, что Николай — младший брат ее мужа.

— Есть же брат-от, — бестолково повторяла она, — Арсенька-то есть ведь? Есть. И Григорий убитый.

Николай Иванович сжал Рае локоть, чтоб она больше не объясняла, и пошел ко гробу. Все было снаряжено по-хорошему, даже венчик, пусть пожелтевший и старенький, покрывал лоб. В углу стоял образочек соловецких угодников Зосимы и Савватия. Старичок сидя, сливая слово в слово, тягучим одинаковым голосом читал псалтырь. Николай Иванович встал в изножье гроба, читая отходные молитвы и вспоминая почему-то свой почерк, которым в памятку об упокоении вписал брата Алексея.

Старичок прервал чтение, встал, и они похристосовались.

— Иди отдохни, — сказал Николай Иванович, — я почитаю. Иди, тебя Рая покормит.

— Пойдем, дядя Степан, — сказала Рая.

Старичок ушел. Николай Иванович посмотрел на брата пристальнее, но никак не мог признать в нем брата Алешу. Алеша был старше

на три года, а в парнях эта разница огромна. Мало они общались. Разные были. Алеша — парень лихой, а Николай тихий, да вдобавок перед войной связался он с сектантами, которые как раз и внушили ему мысль о грешности держания оружия в руках. Но и как было не возникнуть тогда сектантам, когда церкви порушили, когда священников посажали, оставили только «красных» попов, «обновленцев», когда все запрещалось, шло по-собачьи, через пень-колоду, своей смертью и то редко умирали, умирали не дома, с людьми — что хотели, то и делали, сказать ничего было нельзя. Это теперь прорвало, но прорвало в другой край, так подносится, будто и не жили люди, будто было повальное доносительство, поголовная трусость, нет, не было этого. Уж где-где, может, где в городах, а в деревне все знали друг друга, знали вкруговую, кто чего сто́ит, своих не выдавали, а в деревне все свои да наши. Уж какая трусость, чего напраслину на народ говорить, когда в полный голос ругали власти, осуждали гонения на церковь, разве не тогда Николай Иванович слышал выражения: «Серп и молот — смерть и голод», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сто грамм, не стесняйтесь», когда Сталин произнес вслед за этим склоняемые всеми лизоблюдами слова: «Жить стало лучше, жить стало веселее», разве не говорили повсеместно и вслух эту же фразу, добавляя ее словами: «Шея стала тоньше, но зато длиннее», а в Вятке говорилось и того чище: «Вшей стало больше, вши стали крупнее». Разве не утаивали от переписи куриц, даже иногда и овец, разве возможно в деревне что-то от кого-то утаить? А когда описывали за недоимки вещи, неужели же не прятали у соседей зимние пальто, посуду, самовары? А самый страшный удар, конечно, был по церкви. Когда шли сюда, когда отдыхали, оглянувшись на Святополье, не утерпел Николай Иванович, спросил о судьбе Гриши Плясцова, именно Гриша сбрасывал колокола, именно Гриша завязывал веревочную петлю на церковном кресте.

— И похоронить-то было некому, — ответила Рая, — от сельсовета наряжали, на навозной телеге увезли. Да не специально, не подумай, народ у нас не злой, так сошлось, машины были в разгоне, а телеги, какие сейчас телеги, эту отыскали. Да и закопали за оградой. И ведь тоже не специально, опять же не подумай, а возчик поленился на глинистом месте копать, а тут песок брали, яма была готовая, туда и свалил.

— Нет, Раечка милая, — высказался Николай Иванович, — случайного в мире не водится. И телегу эту, и яму такую за оградой он заслужил.

Николай Иванович равномерно, глуховатым, но очень разборчивым голосом читал псалмы. Сколько уже раз, сотни, наверное, он прочитывал псалтырь целиком. От первых, настраивающих на высокий подвиг внимания слов: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...» до последних, благодарно-торжественных: «Всякое дыхание да хвалит Господа», — читал он с радостью, читая всегда будто впервые, проваливаясь в глубину и сокровенность каждой фразы и невольно и благоговейно, и счастливо замирая и крестясь во многих местах.

Только в этот раз не дали дочесть подряд, ведь Люба же здесь была, Люба, дочь дяди Ксенофонта, сестренница его. Вот Любу он узнал бы при любой погоде. Она сразу его закрутила и защебетала.

— Ой ты, Селифонтовна, Селифонтовна, дай человеку поесть. Ведь ее, Коля, еще с до-войны Селифонтовной зовут. Люба, сама-то хоть поешь.

— Читай, сестра, «Отче наш», — велел Николай Иванович, — или без «Отче наша» за стол садишься?

— Ты какой сестре, родной или двоюродной? — спросила Люба. — Родная-то знает, знаешь, Рая, знаешь, от меня не потаишься, и хорошо, что знаешь, это я всю жизнь комсомолка, всю жизнь носом в портреты прожила, когда мне было молиться, есть-то было некогда, ой, Коля,

и живу, грешница, в церкви не бываю. — И, раз уж коснулись этой темы, спросила: — Тебя-то как, все карают?

— Ничего, живой.

— А вот как, скажи, Коля, тебя на десять лет увозили, а сколь долго сидел, как?

— Два раза добавляли. За что? Видно, понравился. Там ведь просто. Я старый был зэк, матерый, меня они не стеснялись, при мне раз обсуждали: киномеханика надо было выпускать, срок домотал. А как без киномеханика? Один другому и говорит: «Да ничего, это устроим», — и устроили. Приметили парня на воле, да могли и любого, втравили в драку, сунули пятерку, и иди в зону, крути кино, фильмы-то те же самые. У нас любого и каждого могут посадить, и никому ничего не докажешь.

Рая вздохнула, согласно покивав.

— Поешь с дороги.

— Нет, Рая, давай вначале к Алеше.

Они пошли, оставив избу незакрытой.

— Нюра, Алешину хозяйку зовут, Нюра. Еще там Люба, ты ее должен помнить, дяди Ксенофонта дочь. Предсельсовета была, потом увезли на восстановление Ленинграда, так и всю жизнь там, тоже уже безмужняя.

Они пошли напрямик, по глухому проулку, около поваленного забора, поваленного не до конца, сквозь него били фонтаны цветов, оплетали их голубые плети мышиного гороха, горели фонарики клеверных головок, белые колокольцы вьюнка тихо качались, выстреливала вверх тимофеевка, а сзади напирала плотная, кроваво-мрачная стена репейника. На местах домов, если они рушились сами, от старости, росли лопухи и крапива, а на месте пожарищ полыхал лилово-малиновый иван-чай.

— Все ли узнаешь-то? — спросила Рая.

— А как и не уезжал.

Рая остановилась, оглянулась.

— Вот уж именно, как и не уезжал.

— А жизнь-то, Раечка, и прошла. — Николай Иванович тоже остановился. — Прошла, — повторил он о своей жизни как о чужой, — прошла жизнь и кончилась, одна душа жива, слава Богу, одним Святым Духом живы, Раечка. А уж где Бог привел быть, в тюрьме ли, в колхозе ли, Его воля.

— Его, — откликнулась Рая.

Видно было отчетливую на закате колокольню, деревья, выросшие на ней. На месте остальной церкви стоял железобетонный стеклянный магазин. За ним зеленело, темнело кладбище.

Жена Алексея, теперь уже вдова Нюра, так, наверное, и не поняла, что Николай — младший брат ее мужа.

— Есть же брат-от, — бестолково повторяла она, — Арсенька-то есть ведь? Есть. И Григорий убитый.

Николай Иванович сжал Рае локоть, чтоб она больше не объясняла, и пошел ко гробу. Все было снаряжено по-хорошему, даже венчик, пусть пожелтевший и старенький, покрывал лоб. В углу стоял образочек соловецких угодников Зосимы и Савватия. Старичок сидя, сливая слово в слово, тягучим одинаковым голосом читал псалтырь. Николай Иванович встал в изножье гроба, читая отходные молитвы и вспоминая почему-то свой почерк, которым в памятку об упокоении вписал брата Алексея.

Старичок прервал чтение, встал, и они похристосовались.

— Иди отдохни, — сказал Николай Иванович, — я почитаю. Иди, тебя Рая покормит.

— Пойдем, дядя Степан, — сказала Рая.

Старичок ушел. Николай Иванович посмотрел на брата пристальнее, но никак не мог признать в нем брата Алешу. Алеша был старше

на три года, а в парнях эта разница огромна. Мало они общались. Разные были. Алеша — парень лихой, а Николай тихий, да вдобавок перед войной связался он с сектантами, которые как раз и внушили ему мысль о грешности держания оружия в руках. Но и как было не возникнуть тогда сектантам, когда церкви порушили, когда священников посажали, оставили только «красных» попов, «обновленцев», когда все запрещалось, шло по-собачьи, через пень-колоду, своей смертью и то редко умирали, умирали не дома, с людьми — что хотели, то и делали, сказать ничего было нельзя. Это теперь прорвало, но прорвало в другой край, так подносится, будто и не жили люди, будто было повальное доносительство, поголовная трусость, нет, не было этого. Уж где-где, может, где в городах, а в деревне все знали друг друга, знали вкруговую, кто чего сто́ит, своих не выдавали, а в деревне все свои да наши. Уж какая трусость, чего напраслину на народ говорить, когда в полный голос ругали власти, осуждали гонения на церковь, разве не тогда Николай Иванович слышал выражения: «Серп и молот — смерть и голод», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь, ешьте хлеба по сто грамм, не стесняйтесь», когда Сталин произнес вслед за этим склоняемые всеми лизоблюдами слова: «Жить стало лучше, жить стало веселее», разве не говорили повсеместно и вслух эту же фразу, добавляя ее словами: «Шея стала тоньше, но зато длиннее», а в Вятке говорилось и того чище: «Вшей стало больше, вши стали крупнее». Разве не утаивали от переписи куриц, даже иногда и овец, разве возможно в деревне что-то от кого-то утаить? А когда описывали за недоимки вещи, неужели же не прятали у соседей зимние пальто, посуду, самовары? А самый страшный удар, конечно, был по церкви. Когда шли сюда, когда отдыхали, оглянувшись на Святополье, не утерпел Николай Иванович, спросил о судьбе Гриши Плясцова, именно Гриша сбрасывал колокола, именно Гриша завязывал веревочную петлю на церковном кресте.

— И похоронить-то было некому, — ответила Рая, — от сельсовета наряжали, на навозной телеге увезли. Да не специально, не подумай, народ у нас не злой, так сошлось, машины были в разгоне, а телеги, какие сейчас телеги, эту отыскали. Да и закопали за оградой. И ведь тоже не специально, опять же не подумай, а возчик поленился на глинистом месте копать, а тут песок брали, яма была готовая, туда и свалил.

— Нет, Раечка милая, — высказался Николай Иванович, — случайного в мире не водится. И телегу эту, и яму такую за оградой он заслужил.

Николай Иванович равномерно, глуховатым, но очень разборчивым голосом читал псалмы. Сколько уже раз, сотни, наверное, он прочитывал псалтырь целиком. От первых, настраивающих на высокий подвиг внимания слов: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...» до последних, благодарно-торжественных: «Всякое дыхание да хвалит Господа», — читал он с радостью, читая всегда будто впервые, проваливаясь в глубину и сокровенность каждой фразы и невольно и благоговейно, и счастливо замирая и крестясь во многих местах.

Только в этот раз не дали дочесть подряд, ведь Люба же здесь была, Люба, дочь дяди Ксенофонта, сестренница его. Вот Любу он узнал бы при любой погоде. Она сразу его закрутила и защебетала.

— Ой ты, Селифонтовна, Селифонтовна, дай человеку поесть. Ведь ее, Коля, еще с до-войны Селифонтовной зовут. Люба, сама-то хоть поешь.

— Читай, сестра, «Отче наш», — велел Николай Иванович, — или без «Отче наша» за стол садишься?

— Ты какой сестре, родной или двоюродной? — спросила Люба. — Родная-то знает, знаешь, Рая, знаешь, от меня не потаишься, и хорошо, что знаешь, это я всю жизнь комсомолка, всю жизнь носом в портреты прожила, когда мне было молиться, есть-то было некогда, ой, Коля,

как-нибудь сядем, ты надолго? Я тебе порассказываю, ой, Коля, всего нахлебалась: и горького, и кислого, и соленого, оглянулась — вот уж старость — мат-тушка моя, кто ж за меня сладкое-то съел?

Николай Иванович остановил ее жестом, прочел «Отче наш», перекрестился. Видно было ему, что и Рае хотелось перекреститься, но, видно, постеснялась Любы. Сели. Люба велела и вдове Нюре садиться. Люба вообще всем распоряжалась, причем так, что выходило, она одна знает, что, как и кому делать. Только это была видимость. Все делала Рая. Накормила и отправила на работу племянников, детей брата Арсения, Геню и Виталия, но не копать могилу, как велела Люба, а «косануть» лужок.

— Могилу и с утра выкопаете, а сейчас подвалить траву в самый раз.

Распорядилась она и бутылкой. Плеснула племянникам, Любе, велела выпить Нюре, посмотрела на Николая Ивановича.

— Ой нет, — отвечал он, — грехов на мне как паутины на кустах, но этого нет.

— Тюрьма от греха спасла, — брякнула Люба, — в тюрьме этого не положено.

— Не пил он никогда, — заступилась Рая. — Этой разорвы, я водку разорвой зову, никогда не убудет.

— От гонений водка крепнет, — сказала Люба и захохотала.

— Вот и загнать бы ее чертям большеносым! — пожелала Рая и перевела разговор: — Этот старичок Степан у нас из переселенцев, он не наш, из высланных, из Белоруссии или с Украины, молчит все. Но добрый, всем помогает, ласковый всегда, один живет. Всегда читать зовут. По имени Степан, а как по отчеству и не знаю.

— Тридцать два года на транспорте, тридцать два года, — говорила Люба. — Осталась без старика, были на очереди, уж очередь подходила, а умер — с очереди сняли, видно, в коммуналке помирать. Да ничего, соседи хорошие. Цветы им оставила, чтоб поливали, и сюда. Я уж поезжу, поезжу, да и совсем сюда махну. Я же тут все начинала. С меня надо летопись колхоза «Ленинский путь» писать.

— Ой-ёй, ой-ёй, — вставила вдова Нюра, — чего-то все сижу и сижу, глоток глотнула, так вроде ожила. Чего-то ведь делать надо.

— Сиди, — велела Рая, — сиди, поешь. Умер, дак не убежит. Гроб готовый, могилу Геня с Витей выроют с утра. Пироги бабы стряпают, отдыхай, тебе год за год надо отдыхать. — И объяснила Николаю: — Целый год Алеша не вставал, целый год. И все молча. А до того, как слечь, всех пугал, все боялись, Нюра толком-то и не сыпáла: пожара боялись, спички прятали. Все равно где-то найдет, где-то и бензину найдет, плеснет на землю, бросит спичку, огонь пазгает, а он кричит: «Севастополь горит!»

— Ордена не все нашла, — сказала вдова Нюра, — ордена были в доме престарелых учтенные, а выходили — двух не хватило, Алексей и рукой махнул. Да и кому их оставлять, Женечка в Каме утопул.

— В музей сдашь, при школе музей делают, Ольга Сергеевна делает, ей и сдашь. Она нам тоже по родне, — и Рая стала объяснять брату степень родства Ольги Сергеевны.

— Поживу, так во всех разберусь, — отвечал. — Пойду Степана сменю, почитаю.

4

«Всякое дыхание да хвалит Господа. Аминь», — дочитал Николай Иванович и поднял глаза.

Светлый день стоял в самом начале. За окном подъехала, пофырчала и смолкла машина. В комнате пахло одеколоном. Николай Ива-

новичу еще и еще покорил себя за то, что забыл положить с собой ладан, вот и Вера забыла, ровно петух опел.

Стали выносить. В головах в одиночку шел Толя Петрович, еще один племянник, приехавший в отпуск. Видно было, племянники были рады встрече друг с другом и договаривались о завтрашней рыбалке бреднем.

— Сметать-то хоть помогите, — просила Рая.

— Смечем, тетка, — обещал Толя Петрович. — На копну сверху сядешь, я и тебя вместе с копной на стог заметну.

— А уж я буду настаивать, непременно я, — условилась Люба Селифонтовна.

Геня и Витя вчера косили до ночи, а сегодня с утра копали могилу. Могли бы и не приходить к бараку, но нет, пришли, и вот шли сегодня вместе со всеми второй раз на кладбище.

— Как же дядьку не проводить, надо проводить.

Поставили гроб в открытый кузов, как на передвижную сцену. Машина ехала тихонько. Встречные машины сбавляли ход, а мотоциклы так и пролетали, как оводы, зажигая за собой белое пламя мелкой пыли. В кузов подсадили Нюру, она сидела на голубой крышке гроба, держала на коленях подушечку с нацепленными наградами мужа. А вот брата Арсени чего-то не было. Рая все оглядывалась, все ждала его, поглядывала извинительно на Николая Ивановича, но так и не показался Арсеня.

Мужчины говорили про рыбалку, женщины жалели Алексея-покойничка. Хоть и без руки был, а косил и метал, и дрова готовил, золотой был мужик. Жалели и Нюру. Сколь и ей досталось.

Толя Петрович рассказывал:

— Рыбы принес, в сенях положил, вернулся к машине еще за чем-то, гляжу: рыбы-то убыло. Кто взял? Конечно, кошка. Разве ж можно такое терпеть, чтоб кошка воровала. Убил. Убил, рука не дрогнула. Пошел за лопатой, гляжу — соседский кот под забором жрет мою рыбу. И его убил, а уж на могилку своей-то кошки походил, поплакал.

Поднималась жара, и все обрадовались прохладе кладбища. Но за прохладу стали сразу их казнить комары, мухи, пауты. Но это было терпимо. Могилу Геня и Витя вырыли, как выразилась Рая, «прайскую», то есть заправскую, то есть очень хорошую. И рытье было непростое, метра с полтора по всем сторонам могилы видны были обрубленные толстенные смолистые корни.

— Вы прямо как на лесозаготовках были, — выразился Толя Петрович. — Давай, снимаем!

Сняли с машины гроб, поднесли. Помолчали. В тишине Николай Иванович трижды прочел: «Подаждь, Господи, оставление грехов в вере и надежди воскресения прежде отшедшему рабу Твоему Алексею и сотвори ему вечную память», потом троекратно, крестообразно высыпал на саван привезенную с отпевания земельку. Степан хотел снять со лба Алексея бумажный венчик, но Николай Иванович не дал, сказав, что он Степану этих венчиков привезет в другой раз несколько.

Помолчали еще.

— Ну чего? — спросил Толя Петрович, — мух выгонять, да заколачивать?

— Так наверху еще вроде никого не оставляли. — Это Геня сказал.

— Как, тетка Нюра? — спросил Толя Петрович. Нюра стояла в ногах гроба и все кланялась, как болванчик, и не отвечала. Тогда Рая велела подносить крышку и сама закрыла лицо покойного белой тканью, поправила платок в желтых прокуренных пальцах левой, единственной руки.

Геня и Витя спрыгнули в могилу и приняли гроб. Они же, выпрыгнув, взялись за лопаты.

— Тут у него и тесть и теща, и родители недалеко, ему и весело, — сказала Люба.

— Женечка-то, Женечка наш в Брежневе в Каме утонул.

— Да уж теперь не Брежнев, тетка Нюра, — поправил Толя Петрович, — теперь опять Набережные Челны.

— Утонул-то в Брежневе, — мучительно улыбаясь, сказала Нюра,— в Набережных-то Челнах он не утонул бы, и в Вятке бы не утонул.

На свежем холмике, пахнущем смолой, землей и хвоей, расстелили скатерть, выложили огромный поминальный пирог. Оказывается, Геня и Витя накануне ночью еще и рыбачили на поминки.

— Ну-ко, ну-ко, — говорил Толя Петрович, — открывайте верхнюю корку, посморим, какой вы там мойвы заловили.

— Ой, ножик забыла, — спохватилась Рая, — парни, нет ли у кого?

— Да я вроде сегодня резать никого не собирался, — ответил Толя Петрович.

Рая наломала пирог руками. Лещи внутри оказались жирнущими, тут уж и Толя Петрович руками развел.

— Чего говорить! Бывает нет так нет, а тут уж есть так есть. Ну, завтра хоть не ходи, вы все выгребли. Или как?

— Или как, — ответил Геня, разгибаясь от лопаты.

Шофер поднес звякающую сумку.

— Значит, вы вчера с одной тони сто килограммов затянули, а мы, значит, завтра со ста тоней один килограмм? О! — еще раз изумился Толя Петрович, принимая на себя командование поминками, — я думал, тут будет напиток «КВН», а тут самое то. Становись шесть чекушек в пять рядов!

— КВН, — объяснила Рая Николаю Ивановичу, — это называют самогонку, «коньяк, выгнанный ночью», или еще говорят «из-под Дунькиной сосны», или «три звезды Марии Демченко», всяко эту разорву обзывают.

Появилось и домашнее бесхмельное поминальное пиво. Его Николай Иванович чуточку пригубил, самую чуточку. И отрочеством повеяло, запахом хлебным и влажным от русской печи, почему-то дождливым осенним вечером, когда маленького Коленьку, еще не было Арсеньки и Раи, сажали на лавку к подоконнику и велели чайной ложечкой вычерпывать из длинного корытца под рамой воду. То же было и весной, когда таяло.

К пирогу в соседи напросились из корзины и ватрушки, а к пиву и квас. Мужики распоминались, разговорились, раскурились, и комары им уже стали не в помеху, а за компанию.

Рая и Николай Иванович ходили по кладбищу. Фамилии все были знакомые: Русских, Разумовы, Смышляевы, Чудиновы, Чудиновских, Чудовы, а знакомых на фотографиях не было, никого не узнавал Николай Иванович, словно из эмиграции вернулся.

— Все свои да наши, все по родне, — объясняла Рая, остановясь у каждой почти могилки и объясняя, кто какой смертью умер. — Прямо беда, почти никого от старости, вот только нашего Алешу сегодня добавили земле, ему за восемьдесят, а смотри, какая все́ молодежь. Ох, вот ведь Паша-то, без меня хоронили, я в больнице лежала, он молодой, горячий, на танцах задрался из-за девчонки, его забирать, ну, он и с милицей сцепился, его увезли, там всего измесили, вернулся, и месяцу не жил, а вот Володя Сысолятин, ох, ведь тоже из-за девчонки. Он женат был, жена с первым ходила, так уж и с последним, чего это я говорю: с первым, жена беременная ходила, а тут на уборку студенток послали. Он парень видный, его одна и захомутала, сплелись. А в деревне как же не узнают, узнали. Жена в истерику, кричать: «Утоплюсь, утоплюсь!» — и убежала. А он и в самом деле подумал, что утопится, пошел и повесился. А она к родителям убежала. Ох, Володя, Володя!

Их нашел Толя Петрович, он был с посудинкой, повел их на могилу своего отца — двоюродного брата Раи и Николая Ивановича по линии отца, на могилу Петра Тимофеевича.

— Дядь Коль, батя у меня был — мужик первеющий! Говорок был еще тот. Я иногда могу выразиться, а он так говорил — мог любую работу остановить, никакой забастовки не надо. Рассказывал раз, как от медведя бежал, говорит: залез на елку на два метра выше верхушки.— Толя Петрович выпил в одиночку, сплеснул немного на землю (они стояли в оградке). — Батя ты, батя! Оградку покрашу. Теть Рай, ты ж, как ты выражаешься, вместе с батей была в колхозной борозде, ты ж знаешь, какой он говорок был, да? Дядь Коль, о-о!

5

Рая заторопила всех... на поминки. А Николай Иванович по наивности думал, что поминки уже прошли, нет, только начинались. В доме Раи. Там хлопотали: Ольга Сергеевна, жена Гени Нина, Люба Селифонтовна, еще пока незнакомые женщины, тоже родственницы, и, особенно вызывающая общий интерес, невеста Вити, девушка Оля. То, что он с ней дружит, знали давно, но вот именно сегодня она, так сказать, была, благодаря поминкам, легализована, она чувствовала внимание, вся раскраснелась, все у нее выходило ловко, быстро, потихоньку она начинала смелеть и даже разочек на Витю прикрикнула, когда он неправильно, по ее мнению, поставил в торце стола стулья, а не табуретки. Это прикрикивание было очень одобрено молодыми женщинами, очень осуждено старыми и очень сочувственно по отношению к Вите было воспринято мужчинами без различия в возрасте. Но разобравшись, моя перед застольем руки, перекуривая, мужчины решили, что стол этим торцом обращен к порогу, что в дверь ходят туда и сюда, что табуретки занимают меньше места, не мешают входу и выходу, что стулья бы мешали, так что Оля права, а Витя — молодец, выбрал девушку сообразительную, так что пусть скорей женится, а то упустит.

— Вторым заходом! — пошутил Толя Петрович. — Первым дядю Алексея помянем, вторым тебя под арест.

— Сегодня нет, — отговорился Витя, — сегодня еще косить.

— Как косить? — изумился Николай Иванович. — Да вы, Рая говорила, чуть не всю ночь косили, потом такую могилищу выкопали, и опять косить? А еще бредень тянули.

— Комаров ночью нет, косить легче, — объяснил за братенников Толя Петрович.

Из избы позвали. В избе были раскрыты окна, но от мух завешены марлей. И дверь распахнули, чтоб был сквозняк. Немного протягивало ветерком, марля шевелилась, от ее белизны было как-то особенно светло. На белые скатерти женщины все носили и носили кушанья. Уж некуда было ставить. Уже и тарелку и рюмочку, налитую по обычаю поминаемому, со стола переставили — все равно никто не смотрит — на телевизор, уже хлебницы, разобрав нарезанный хлеб, отставили на подоконники, а тарелки все прибывали. Николай Иванович даже пожалел, что на кладбище съел изрядный кусок рыбника, тут были такие кушанья, которые он и помнить даже забыл: был овсяный, поливаемый холодной сметаной кисель, была кутья с изюмом и черносливом, снова был пирог с рыбой Гени и Вити, была окрошка с таким ядреным квасом, с таким продирающим молодым хреном, что слезы выступали, были и блины, которые явились позднее, были и грибы, и ягоды, была и селедка, Верой добытая, и колбаса была, словом, как выразился Толя Петрович: «Пережили голод, переживем изобилие».

Но вначале надо было что-то сказать. Все смотрели на Николая Ивановича. И он знал, что́ именно ему надо сказать. Когда хоронил своих старушек, собирался на поминки стариковским в пять-шесть человек кружком — какие там были речи, там молитвы были. И здесь хотелось, и надо было прочесть и молитву, но не только. Николай Иванович встал, перекрестился на передний пустой угол (Рая виновато ссутулилась) и прочел «Отче наш».

— Брат мой Алексей, прости меня, если можешь, прости меня, — сказал Николвй Иванович. Эти слова он давно хотел сказать, сказать брату, живому сказать, повиниться, но вот как вышло. А дальше уже все говорилось само, вот уж истинно — никогда не надо думать, что говорить, само скажется: — Алеша, хоть и винюсь я, а разве я виноватый, разве своя воля была, жили не по желанию, а по необходимости, кого куда занесло, чего уж теперь, а Бог не оставил, главное счастье дал — в своей земельке упокоиться, это ведь теперь редкость, всех с места сорвало, вот и мне край подходит, хоть и грешно загадывать, вот и мне, дай, Господи, здесь упокоиться...

Но не дано было договорить Николаю Ивановичу. Именно на этих словах раздался вскрик:

— Нет! Тут ты не жилец!

— Арсений! — вскинулась Рая.

— Дядька Арсений, чего ж ты на кладбище не был? Чего ж ты под руку? — Это Толя Петрович сказал и уже вскочил, уже наливал рюмку Арсению.

Арсений же, черный и небритый, и видно, что возбужденный, пробирался вперед.

— Чего это не по-русски? — спросил он сердито. — Где Алешкино место? Я это место займу, я свою очередь не пропущу, тут мы без присэжих, без залетных обходимся. Сядьте, дорогой товарищ, мы видывали представителей общественности, сядьте, — Николай Иванович сел. Нюра, очнувшись, тискала Арсеню сзади за рубаху, стараясь его посадить. — Нюра, сиди! Сиди! Рай, молчи, — говорил Арсеня громко, принимая у племянника рюмку. — Самозванцев нам не надо, бригадиром буду я. Так! Поминки объявляю открытыми. А для меня не поминки, я Алешку в гробу не видел и больше не увижу, для меня Алешка живой, так, Нюра? А? Севастополь горит? Горит! Да! Как там... — он набычился, потом воспрянул: — Готовился я, готовился сказать фразу... вот! У старого старина, нет, как-то не так, плевать!

— Рука ж отсохнет! — Это Толя Петрович.

— Арсень! — Это Рая.

— Тих-ха! Вот: у старинушки старина, в общем, было три сына, так? Старший умный был детина, это Гришка, умней всех, долго не жил, на всю эту срамотищу не глядел, старший умный был детина, средний был и так и сяк, это Алешка, младший вовсе был дурак—это я! Четвертого брата в сказке нет! Нету Коли ни в сказке, ни в семье. Коля к нам ловко подтасовался! Кто-то за него погиб, кто-то в тюрьме посидел, я ведь, Коля, за воровство сидел, муки украл, так эта тюрьма почетная, а баптисты разные хоть и не воровали, да не больно-то их дождешься семью кормить, да на фронт идти.

— Выпейте за моего мужа, — тихо сказала Нюра.

Арсеня выхлебнул рюмку и хлопнулся молча сидеть. Выпили молча и остальные.

— Он на каком фронте воевал? — громко спросила, видно, глухая старуха.

Соседка так же громко ответила ей:

— Ты чего, военкомат? Или красный следопыт? На каком надо, на том и воевал. Документы есть.

— Я к тому, — не смутясь отвечала глухая, — что я и знать не знала, что Алексей Иванович такой боевой, вот бы про моего спросить. Мой-то за Польшу погиб, может, виделись?

Молодежь, сидящая в другом конце стола, успешно боролась с «разорвой», уже невеста Оля, забирающая все больше прав на Витю, тыкала, проходя вдоль стола, своего жениха в спину. Тычки эти нравились ему, он чувствовал, что и его не обойдет супружеская игра в строгости жены и хитрости мужа. Все еще впереди: не только в спину, но и в бок будет тыкать, когда будут рядом сидеть, и ноги все обступает, вон Нина у Гени, это ж заметно. Нина вообще, как нынешние жены, и не подумала вскочить из-за стола, когда забежавшая в избу девчонка сообщила, что Нинин ребенок шлепнулся в грязь у колодца. Толкнула мужа, тот пошел к колодцу.

Затрещал мотоцикл, приехали еще гости — племянница Алексея с мужем и детьми. Привезли увеличенную фотографию Алексея, поставили на телевизор. На фотографии он был молодой, красивый, и все решили, что именно с этой фотографии надо потом сделать фотографию для памятника.

Арсеня больше не выступал.

6

Уж чего-чего, а топить баню Николай Иванович Рае не позволил, да и топить было не в пример со старым легко — вода качалась насосом, дрова прямо в предбаннике. Тихо, без треска горели березовые поленья, желтые, похожие на солнечные, пятна бегали по коричневой стене.

Николай Иванович сидел у порога, около детской ванны, налитой холодной водой, и чувствовал свежесть от воды. В нем, как всегда, постоянно, внешне безмолвно, свершалась молитва: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, грешнаго», эту молитву он читал всю жизнь. В ней было спасение от всех жизненных расстройств, приучился он к ней в тюрьме, ибо там было невозможно молиться явно, только про себя. А молитва, чтобы выжить, требовалась постоянная. Бог послал Николаю Ивановичу наставника, старца, бывшего священника, тоже вятича, отца Геннадия. Посаженный при тогдашнем митрополите Сергии, отец Геннадий рассказал о сути своего расхождения с сергианством. «Грешно осуждать, — говорил отец Геннадий,— но грешней того не обличить ересь. Как же так, Сергий оправдывал репрессии, говорил в тридцатом году, что они в общем порядке, что гонений на церковь нет, что храмы закрывают по просьбе населения. Бог ему простит, а я не Бог, простить не могу. Власть от Бога, я согласен, а разве не бывает власти от сатаны? Разве не прав Аввакум, что дьявол выпросил у Бога, а лучше сказать, выкрал, Русь и кровавит ее. Об одном жалею, — говорил отец Геннадий, — что не привелось отбывать вместе с соловецкими страдальцами». Тогда-то Николай Иванович и услышал о соловецком послании в пересказе отца Геннадия. Соловецкие ссыльные священники ни в коей мере не посягали на государственность, они были не согласны с коммунистами в подходе к человеку, не согласны только с материалистическим взглядом на человека. «Как же это может быть на земле счастье, если человек смертен? Земной удел — страдание. Дело Церкви — сострадание, а коммунисты говорят о непрерывной борьбе. Если бы с собою, со своим несовершенством, а то людей с людьми. Разве не заблуждение — вначале переделать устройство общества и думать, что и человек переделается. Переделается только тот, кому безразлично любое устройство, лишь бы самому жить. Коммунизм выращивает приспособленцев, как это от каждого по труду, если тут же ввели понятие нормы, от каждого по труду, это значит, по мере труда, по возможности, и как это каждому по потребности, если потребности у бессовестных беспредельны. И получилось на деле, что понятия души и совести стали ненужными, каждый урывал по способностям».

Молод был Николай Иванович, молодая память, со слов отца Геннадия выучил главные молитвы и требы на многие случаи жизни, тогда же и молитву об избавлении от многих лютых воспоминаний. «Многое не надо вспоминать,— учил отец Геннадий,— его вспоминаешь, оно сильнее привязывается».

Вот и сейчас эта молитва легко избавила от воспоминания о выходке брата Арсени. Николай Иванович просто жалел его и понимал. Уж он-то видал-перевидал обиженных и озлобленных. Он даже попробовал

после поминок позвать Арсеню ночевать к Рае, но тот только зыркнул на него, ткнув пальцем в сторону графина: а это, мол, на кого бросить.

Вернулась Рая, перемывавшая с женщинами посуду и довольная, что отстоловались до коров. Вслух вспоминала весь день по порядку, говоря, одновременно как бы спрашивая, что все справили по-прайски, в люди ни за чем не бегали, что и сено посмотрела, что на завтра к обеду греблево поспеет, что в экую сушь одним только колорадским жукам хорошо, да еще плодожорке, всю смородину загубили, экая страсть, никогда такого не бывало, помнишь ли, да как не помнишь, разве про какую заразу думали, а сейчас только и трясешься, чего только на людей не набрасывается.

— Ты на Арсеню... — начала она, и Николай Иванович торопливо поднял руку... — конечно, конечно, ты же понимаешь. Он сидел, да, сидел. Но ведь как доставалось, вас, старших, нет, мама в лесу, ну, тут я не буду вспоминать, вся опять изревусь, и так сегодня досталось, ой, Алеша, Алеша, на сегодня сердцу хватает. Да он сам тебе, Арсеня, расскажет, поговоришь, всяко, с ним. Буди, завтра, может, придет на метку. Не в тюрьме его печаль, не в тюрьме. — Тут Рая даже оглянулась. — Не в тюрьме. Ты псалтырь над Алешей читал и на кладбище не заметил женщину... такую, в белом платочке, в общем, это жена Арсении, Анна. А на поминки она не пришла, они похороны поделили, они не встречаются. Где она, туда он не ходит, даже брата не проводил. Это ведь я, грешница, ему с утра сунула, чтоб перемогся. А ведь знаешь чего, Коля, — вдруг встрепенулась Рая, — ведь Арсеня, вот чувствую, что так и есть, ведь сейчас Арсеня...

— На кладбище? — докончил ее догадку Николай Иванович.

— Да. Если силенки есть, так сходи, рядом же. Баню я дотоплю. Она у меня прямоточная, то есть по-нынешнему, угару не бывает, труба не закрывается, печь топится, и сиди, мойся, вот как придумали.

И — точно — угадала Рая: сидел Арсеня у братовой могилы, курил. Николай Иванович тихонько коснулся его плеча. Арсеня посмотрел на него совершенно осмысленно, встал и ушел. По-прежнему гудели мухи, звенели комары, но уже меньше пахло землей и хвоей, а больше разогретой за день смолой. Измаявшаяся зелень деревьев начинала потихоньку оживать, первыми воспрянули осины, уже кое-где краснеющие, хотя до осени было далеко.

В предбаннике стояла банка квасу, лежала смена белья, большое нарядное полотенце, видно, что совсем новое. Николай Иванович боялся, что скажется сердце от жары, нет, родные стены и сердцу помогают, наоборот, оно билось ровно, хотя и чаще обычного, но и не тревожней, радостней. Даже и плеснул на каменку Николай Иванович, даже и похлестался молодым веничком. И уж совсем было помылся, ополоснулся, вышел в предбанник, но неожиданно для себя раздухарился и еще поддал, и еще похлестался.

Постель была готова. Под льняным пологом в прохладных сенях, с подушкой, набитой свежим сеном. От подушки пахло, конечно, мятой прежде всего, мята — трава ревнивая, но если перетерпеть ее нашествие, то ощутится и зверобой, и душица, и клеверок, и пыреек, и тончайшая таволга, и много-много других, начала жизни, запахов. На вымытый пол Рая набросала полыни.

Ночью Николай Иванович проснулся, ему показалось, что на него смотрят. Потом показалось, что в стене отверстие, что в него смотрится белая луна. Но это был светлячок. Николай Иванович встал на колени и, безошибочно обратясь в темноте на восход, долго молился.

Потом снова склонился ко сну. Где-то, совсем рядом, казалось, даже в подушке, скребся маленький мышонок. Николай Иванович, улыбаясь, щувал его, мышонок замолкал, потом опять куда-то выцарапывался.

7

К обеду на один стожок, копен на шесть, нашло много работников. Толя Петрович уже изладил стожар, женщины подгребали сено в валки с краев.

— Ну жрут, ну жрут, — не выдерживали все, говоря про паутов и оводов. А еще был такой насекомый хищник — хребтовик, крупнее шмеля.

— Полколенки выкусил, — кричал Толя Петрович. — Унес на крышу и грызет.

Стог настаивала, принимала сено, утаптывала Люба Селифонтовна. Крутились и мальчишки, непонятно, чьи дети, чьи племянники, их Толя Петрович называл отеребками. Раю даже и не подпустили к работе, она делала обед. Говорили, что земляника отошла, да и мало было, но черника есть, черники надо бы побрать. Мальчишек-то бы и послать, все равно лоботрясят. Оглянулись — где мальчишки?

— Купаться устегали! — кричала Селифонтовна. — На Святицу. Их оттуда с овсом не выманишь, не то что черникой. — Она волновалась и все спрашивала, не вершить ли, не перекашивает ли стог, вдруг получится «беременным» или еще что.

Николай Иванович с утра перечинил все грабли, все вилы, насадил новую рукоять на тройчатки — огромные вилы, которыми Толя Петрович наворачивал подходяще. А вот пауты и оводы отчего-то не трогали Николая Ивановича. «Кровь старая уже, не манит», — думал он, но сам, хоть ты что делай, не чувствовал, и все тут, старости. То ли баня вчерашняя, то ли утро, проведенное в желанной работе, то ли все вместе, но даже обычные боли в пояснице, к которым он притерпелся, боли в коленных суставах — все куда-то отошло.

За столом опять вспоминали Алексея, говорили, что все вчера было по-хорошему, вспоминали цены на памятники. И хотя Николай Иванович говорил, что достаточно креста, родня заявила, что хуже других не будет. Ольга Сергеевна подсела к Николаю Ивановичу и просила написать для школьного музея воспоминания.

— Теперь мы к другим материалам еще и о репрессиях собираем.

— Уж какой из меня писарь.

— Нет, дядя Коля, я не отстану, я у тетки Раи ваши открытки всегда читала, очень грамотно.

— Не знаю, Оля, не знаю, может, когда и порассказываю. А и чего рассказывать? Кто, многих я знал, несправедливо терпел, а я за заслуги. Верно меня вчера Арсений обличил.

— Но не три же срока! — воскликнула Ольга Сергеевна.

— Ты, Оленька, лучше с деточками собирай сведения о погибших деревнях. Я вчера с горки глянул — ой-ё-ёй, как пусто вокруг Святополья. А мы в парнях, бывало, от Святополья на все четыре стороны! Куда ни глянешь — огонечки в избах. Там такая гармонь, там такая.

— Собираем, собираем, — обрадовалась Ольга Сергеевна.

Разговор стал общим.

— Целого, целехонького сельсовета Валковского не стало, три тыщи одних избирателей. А детей! Голосовать приезжали — все кипело, — это Селифонтовна развоспоминалась. — Я на транспорте была тридцать два года, еще «ФэДэ» и «ИСы» застала, потом тепловозная тяга, потом электрическая, все какой-то прогресс, все думала — развиваемся, а приехала сюда — глянула: нет, товарищи, не развиваемся, а гибнем на всех парах. Оля, ты это дело не оставляй, будь нас умнее, мы были загниголовые, слушать не умели, родителей не расспрашивали, дедушек, бабушек не теребили, рассказывать не просили. Они умерли — опять мы ничего не знаем. Телевизор включишь — везде какие-то даты справляют, собираются, празднуют, у нас все крапивой заросло, беда! Старались выжить, старались детей вытянуть, а для начальства были

как преступники. Я предсельсовета была, совсем девчонка, а понимала — надо утаить зерна, иначе пропадем! Засыпали, помню, на конеферме в кормушки, сверху присыпали куколем, ведь обошлось! Идут с милицией и уполминзаг, да еще с района Вихарев, идем по конюшне, а одна лошадь вот фыркает, вот фыркает, куколь разрывает: зерно почуяла, мордой мотает, я, видно, белей стены была, уполминзаг обратил внимание. А Вихарев треплет рукой по плечу, одобряет: «Трудное время, товарищ комсомолка, трудное!» Он, да еще Брашинский из райзо, вот кого ненавижу. После войны мода была, даже снимки печатали — женщины на себе пашут. И по Вятке было сколько угодно. А за Святополье не скажу, на себе не пахали. Как-то лошадей сохранили, пусть доходяги, но тащат потихоньку. Быков объезжали, даже до коров доходило, когда боронили, но на себе не пахали. Брашинский звонит: «Сколько на себе вспахали?» Мне бы, дуре, сказать, хоть гектара два бы сказать, а я вроде как даже погордилась, что пахоту, мол, заканчиваем, и женщин сберегли. «Как так? Везде на себе пашут, а вы выстегиваетесь. Доложить через два дня, иначе неприятности». Сами знаете какие. Собрала женщин, я им все доверяла. Так и так, бабы, давайте хоть для видимости. И вышли за околицу, тут вот, как на Разумы идти, на взгорок, впряглись. Я за плуг. Так, играючи, и отделалась. Доложила: пашем на себе.

Молчаливая женщина, не прямая родня, но тоже как-то своя, сидевшая, как и вчера на поминках, так и сегодня, на самом краешке, заговорила вдруг:

— А я фельдшерицей была, больше всего зимы запомнила, тоже была девчонкой, а такое уважение, всегда по имени-отчеству. Едут на санях и для меня тулуп везут: «Лидия Ивановна, жена рожает». Заметет выше крыш, потом ветры, бесснежье, наст убьет, ходишь над деревней как по асфальту, а внизу избы, печи топят. Привезут всегда в обрез, я всегда с мужиками ругалась, на собраниях выступала, они оправдываются, мол, не хотели зря беспокоить, уж когда, мол, действительно убеждались, что это именно роды, а не просто что, тогда ехали. Примешь роды, записать иногда не успеешь, опять поехала — некогда. А ведь дивно же, Любовь Ксенофонтовна, рядом жили, в одно время работали, а не встречались.

Рая для Николая Ивановича, да и для всех, кто не знал, объяснила:

— По распределению Лидия Ивановна к нам приехала, привыкла, потом уехала замуж, а теперь стала ездить, тянет.

— Родина! — произнес Толя Петрович. — А я уж скоро тоже буду человек без родины, гибнут мои Катни, гибнут. А вроде как вчера из Катней в Шмели на вечерки бегали. Где те Шмели?

— Шмели! — воспрянула Селифонтовна. — А Артемки, а Авренки? А Большое Григорьево? А Игнашихинская какая была? А Езиповка? Пастухи! Горевы! Черкасская, Гвоздки.

Рая все согласно кивала, видно, следя мысленно по взгорьям, по речкам, чтоб какую деревню не упустили. И Николай Иванович многие названия помнил, он только ахал, слыша, что деревень таких больше нет как нет.

— Долгораменье, — продолжала Селифонтовна, — сами Валки сколь велики были, Лаптенки, Улановское, Бобры, Ошурки, Буренки.

Ольга Сергеевна внимательно слушала, будто сверяя со своим списком. Когда Селифонтовна замолчала, она продолжила:

— Пихтово, Ведерники, Высоково, Малый Плакун, Большой Плакун, было еще, почему-то звали, Табашно, Конопли, Лоскуты...

— Лоскуты я говорила.

— Я не заметила, еще...

— Катни, — вставил Толя Петрович, — гибнут, епонский бог, Катни, сто четыре дома было.

— Еще Яхрененки, Онучинский кордон, Еремеево...

— Еремеево я называла, — опять вступила Селифонтовна.

— Да хоть и говорила, — сказала Рая, — а повторить, помянуть лишний раз — это нелишне.

— Ерши! — выкрикнул Толя Петрович. — Ерши забыли, ох была деревня так деревня, рыбы там было всегда. Всегда, в любое время дня и суток, стояли у них специальные перегородки на Боковой. Но в Катнях река Юм чище и рыбистее Боковой. Была. За сейчас не ручаюсь и не отвечаю. Как, бывало, запою — все дома качаются, а теперь хоть заорись, ничё не получается! Ну, что, тетка Рая, грустный пошел разговор?

Рая притворилась, что не поняла того, что Толя Петрович подговаривается к «разорве», высказала и свое воспоминание:

— Я среди парней, среди мужиков росла. Они матом, и я матом, чего я понимала? Председатель встретил: «Здорово, молодуш!» Я ему: «Какая я тебе, в душу мать, молодуш, я ведь только в пятый перешла». Ну, говорит, завтра грести. И пошла грести. И гребу и гребу с тех пор, всю жизнь гребу, не выгребусь. А этих ссыльно-каторжных свозили в Святополье, в бараки, назвали совхоз, а название «Ленинский путь» сохранили. Потом их стали звать палестинские беженцы, потому что совпало, как ни включишь телевизор: все палестинские беженцы, и у нас со своих мест стаскивали. Да не горюйте, бабы, колхозников ничего не убьет. Вот собрали все нации на испытание, кто больше всех выдержит, посадили в бочки и крутят. Всех укрутили, все на волю запросились, все сдались, а одна бочка до того докрутилась, что подшипники оплавились. Открыли, а там колхозники. Живехоньки. И с вилами и с граблями сидят и к южному морю не просятся, и никакая Прибалтика не нужна, и никакой Кавказ, там и не бывали, да и некогда.

— Колхозники разве нация? — спросил Толя Петрович. — В КВН сыграем?

— Лаптенки-то ведь живы, — тихо сказала одна из женщин. — Степан-то живет.

— Это Арсени жена, Анна, — тихо объяснила Николаю Ивановичу Рая. — Живы, живы, — повысила она голос. — Тоже, как Сергей Филиппыча, насильно увезут. Сергей Филиппыч, Коля, это тоже был фронтовик, у него было три ордена Славы, а Героя не было звания, так потом долго говорили, что ему надо Героя звание дать за то, что последний из Егошихинской ушел.

— Увезли, — поправила Ольга Сергеевна, — связали и увезли.

— Ох ведь нет, не Сергей Филиппыч, — ахнула Рая, — чего это я, совсем беспутая, это ведь я про Шевнина Григория Васильевича, он тоже с орденами Славы, пимокат, это ведь его, Оля, связывали.

— Сергей Филиппыча тоже связывали.

— Ой, подруга дорогая, помоги мне, сироте: съела рыбину живую, шевелится в животе, — такой частушкой напомнил о себе Толя Петрович. — А вот с мужской стороны: Бей, товарищ, по забору, чтобы гири мялися, чтобы нас, таких молоденьких, везде боялися.

— Уж не молоденький ты, братенничек, — с улыбкой сказала Ольга Сергеевна.

— Признаю факт — не молоденький. Мылся в бане с племянником, он мне: дядь Толь, у тебя на голове кожа, я ахнул, схватил два зеркальца, навел — вот оно, вот оно! Ничего — это для мужчины знак качества. Запевай, не унывай, не унывать родился!

— Рано бы запевать-то, третий день только, хоть девятого подождать.

— Дядя Алексей был веселый, он не осудит.

Николай Иванович засобирался к Арсене. Одного его Рая не отпустила. Она с сеновала извлекла мятого, похмельного Геню, который тут же и выговорил Николаю Ивановичу, что это именно Николай Иванович его сглазил.

— Ты вспомни, дядь Коль, как ты вчера изумился, что вот, мол, какие ударники — ночь рыбу ловят, день косят, с утра могилу роют...

— День пьют, — вставила Рая.

— ...Какие, мол, вы активисты, ты так, дядь, изумился, так? Ну! Вот и сглазил, вот меня и свернуло. Нинка как знала: не пей, не пей, и эта Витькина, не хочу даже такой родни, его всего истыкала в спину, до синяков, он ей при мне спину показывал, у колодца обливались, а уж мне, говори не говори, дядька родной сглазил. А косить, оно, дядя, дело работистое. А теперь чего? Теперь я пролетел, как фанера над Парижем, Нинка обиду изобразила, да мне и к лучшему. Я тебя, дядя Коля, перед Разумами проинструктирую. А то там отец начнет выступать, а не его, между прочим, дело, жить тут тебе или не жить. Теть Рай, да что вы это все такие бабы, что старые, что молодые, все в спину тычете. Это ведь очевидное невероятное.

— На вот, отнеси отцу, — сказала Анна Гене, давая сверток.

И Николая Ивановича Рая нагрузила, дала хозяйственную сумку. Вышли за околицу. Геня сразу стал свататься к сумке, но Николай Иванович помнил предостерегающий жест сестры и ответил, что лучше вначале дойти до Разумов, до Арсени. Геня приуныл. Но ненадолго. Разулся, пылил большими ступнями по дороге, спугивал из мокрых низин желтые стаи бабочек.

— Нинка собирается в городе жить, в Советске, бывал? Ну, как же, Кукаркой звали. И до чего довела Нинка, ты слушай, не желает никого из скотины держать, хотя условия советская власть, не в том смысле, что советская, а в том, что нашего района, Советского, Советск — районный центр, ну да, ты ж бывал. Не желает! Интелего! А у Толи Петровича, он же тоже Советский, жена не такая, у него рвет и мечет. Все свое. Мы ж в одном гараже работаем, он на семитоннике, я на подхвате, я ж загудеть могу, меня вроде как за второй сорт считают, плевать! Сейчас старперы в месткоме зашевелились, их скоро попрут, пора, как не пора, чем мы хуже поляков, пора и нам солидарность, а то сели на шею и ножки свесили, сколько, дядь Коль, захребетников в стране? Семнадцать миллионов, Горбачев сказал. Наконец-то узнали, вот еще узнаем, сколько у нас сидит, да во сколько государству литр спирта обходится, и больше знать нечего будет... Но Нинка-то как, а? Интелего! До чего ребенка довела, привез, привожу к тетке Рае, коровы боится, овцы боится, овцы! Спрашивает про овечек: «А они не кусаются?» Русский вятский ребенок боится овечек! Я ей говорю: «Ты детей хочешь без родины оставить, но меня — не выйдет! Я могу день с ночью спутать, но родину ни с чем не спутаю». Вчера у колодца сына напоил из ведра, она взвилась: «Не мог за кружкой сходить, кого растишь?» Я и сползать за кружкой мог, не только что сходить, но ведь из ведра пить — это же из ведра! — Геня воздел руки, потом опустил их перед собою и напряг, будто держа добытую из колодца бадью. — Из ведра! Это же кто понимает, тому нечего и объяснять, а кто не понимает, объяснять бессмысленно. Из ведра! Напьешься, зубы стекленеют, а в конце всю голову туда! Это французам и не снилось. То-то Наполеон и попер отсюда. Зачем он шел к тебе, Россия?

Подвигались они не споро, но непрерывно. На ровном, возвышенном месте гулял ветерок, легко дышалось. Николай Иванович шагал тем размеренным неторопливым шагом, каким прошел многие и многие сотни километров, ходя на Великую реку. Примерно три-четыре километра в час, больше старухи не поспевали.

Показалась деревня, один дом. Это и были Разумы. Они остановились. Но не остановился язык Гени:

— Я восхищаюсь, я гляжу на это, я плачу. Я в армии служил, сержант на табуретке сидит, я перед ним ползаю, а сам думаю: выживу и приду в Разумы. Ты ж тюрьму прошел, знаешь, как издеваются. Да! Здесь все мое и я отсюда родом! Я хожу босиком по земле, у меня меж пальцев ромашки, я в поле хозяин, земля разумовская меня воспитала, деревня — мое хобби. И еще хобби — босиком ходить.

— Босиком ходить хорошо, я тоже люблю, — одобрил Николай Иванович. — Нынче еще я пока не насмелился, а надо бы. В начале дня три подошвы нащекочет, потом нечувствительно. Да простываю, Геня, быстро, сразу в поясницу.

— Видишь, дядь Коль, лен растет, плохо растет, вымокло в мае, июне, сейчас жара наяривает, корка на земле, опять неладно льну, а на нем можно миллионером быть. От нас же чего в мире ждут, не танков же, а лен ждут и хлопок, нефть ждут и газ, и лес! А вот на лес и нефть надо бы им кукиш показать, самим надо, лес по пятьдесят, по сто лет растет, а лен каждый год, а слушать этих экономистов не надо, я весь телевизор заплевываю, когда они выступают. У них отношение к природе, как к дикой природе, их привезти сюда и выпустить — за неделю с ума сойдут и все равно ничего не поймут, пожили в Канаде, побегали по заграницам, одели жен, насмотрелись порнографии, думают, что и остальным это надо. А надо что? Луга нужны, лес и велосипед. А к комарам и гнусу у меня адаптация, как у космонавтов к невесомости.

— И меня не трогают, — заметил Николай Иванович.

— Ты же свой! У них же, хоть поколения и чаще меняются, чем у людей или у слонов, но есть тоже память, они же на одном месте живут. Вот предки этого комара, ну, попей, попей крови, тебе не жалко, — сказал Геня комару, но тот улетел, — видишь, понимает, предки этого комара кусали мою прапрапрадедушку... прапрантакдалеебабку, и на их крови продлили род. А кусают не комары, а комарихи, и отсюда вывод, что и в дикой природе все зло в женском роде, видишь, даже в рифму сказалось, я же не сочинял, само сказалось, устами глаголет истина.

— Устами младенца, — поправил Николай Иванович.

— Перед природой мы все — младенцы. Во всей природе все зло в женском роде. Я с толпой туристов не собираюсь по родине ходить, и Африка мне не нужна... — Они уже подходили по затравеневшей дороге к Разумам, к единственной избе. — Видишь, дядя Коля, дуб? Ты его помнишь?

— Ой, Геня, если бы это тогда был отдельный дуб, ведь огромная была деревня, черемухи, липы, конечно, дубы. А вот этот, отдельный, не помню. Видел, конечно, и его.

— Я на нем вырос, — сказал Геня, — у меня на нем были полати, я там спал. И до сих бы пор. Я с армии пришел, маленько промазал. Пил только по причине, был дерзкий мужик, с любой техникой на ты, мы же десантники — цвет человечества. И Нинка подвернулась, а! — Геня махнул рукой. — Если этот дуб упадет, я тоже рухну, пусть он меня переживет. Но я знаю, что, как только я умру, в дуб тут же молния попадет, он же меня помнит, я на нем спал, я в него ни одного гвоздя не забил, хотя могу и рукой гвозди забивать. Увезла в город! А я же не насекомое, я не могу в камнях жить. Дядь Коль, общайся с природой, она не подведет.

— Давай, Геня, передохнем. — Николай Иванович взялся за ствол дерева, перевел дыхание, потом даже и сел на бугор корня.

— Знаешь, как Рая говорит: отдóхнем, когда подохнем! Но ты подыши, подыши! Я тебя пока в курс дела буду вводить. Ты помнишь Мстеную Веретью?

— Помню.

— Нет ее! А Безголовица? Тоже все заросло! Правда ли, что название Безголовица от того, что человека убили ч голову отрезали?

— Так говорили, — подтвердил Николай Иванович.

— Все заросло, все, — говорил Геня, — я прихожу в лес, я с отчаяния начинаю руками заросли выдирать.

— Метеная Веретья от того, что девки вениками мели, а потом плясали, — вспомнил Николай Иванович. Он слушал себя, творил про себя непрестанную молитву: «Господи, помилуй мя, грешнаго», слушал Геню, мог бы даже пересказать, о чем так непрерывно суесловил Геня, а сам помимо всего этого как бы просматривал со стороны отдельные

дни своей жизни. По его молитвам от него отступились злые воспоминания, то есть те, помня которые можно было на кого-то злиться, помнились, конечно, крестные ходы в Великорецкое, хоть там и по дороге и на самой реке над ними издевалась милиция, да ведь тоже подневольные. Были и такие воспоминания, в которых хотелось видеть знак, промысел, провидение. Сейчас сел под дуб, и вдруг, есть же какая-то связь, вспомнился архангельский порт, куда прибрел Николай Иванович, еще совсем слабенький, похожий на старичка, хотя не было и пятидесяти. Сейчас, за семьдесят, он могутнее. А пришел он по наставлению отца Геннадия, который так и умер в заключении. Так и умер, а жалеть не велел. «Сподобил Бог за веру пострадать». Просил побывать на Соловках, помолиться на Секирной горе, но ничего не вышло у Николая Ивановича, не пустили его. Надо было специальное разрешение. А у него закорючка в паспорте — арестант. Толпы пьяных туристов с гитарами валили на теплоходы, им было можно, а Николаю Ивановичу нельзя. Просил, просил матросов, потом по-евангельски отер подошвы сапог, оттряс прах с ног на трап, плюнул и пошел. Сейчас Николай Иванович одобрял себя: куда бы, к чему бы он приехал, да еще не на пароходе «Зосима и Савватий», а на «Демьяне Бедном», так переименовали пароход. А за невинно убиенных можно везде и всегда молиться. Свое горе с собой носишь.

— Ну, — произнес Николай Иванович, — пойдем к братцу.

— Кому братец, а кому отец, — отвечал притихший Геня. — Он тебе чего начнет присобирывать, ты не слушай, так и мать велела передать, просила. Ты, дядь Коль, теперь старший, он тебя должен послушать. А чего напридумывал, так уши вянут. Теперь-то, на последних метрах, сумку доверишь? — Он взвесил сумку в руке, как добычу, — должно быть, должно! Дядь Коль, тут наши корни!

Он срывал и нюхал траву. От дома залаяла собачонка, но так и не выскочила, так и отсиделась под крыльцом.

— Своих чует, — одобрил собачонку Геня.

8

Неприбранность в избе Арсени была давняя. Банки из-под рыбных консервов работали здесь пепельницами, окурки были и у печки, и в тазу под рукомойником. Стены, оклеенные районной газетой «Социалистическая деревня», еще за пятидесятые годы, были грязны, потолок закопчен. С улицы зайдя, не сразу разглядел Николай Иванович Арсеню, вначале услышал его голос:

— Ак чё, парень, здоровья совсем нет, надо как-то обретаться. Здоровье было — в сельпо кочегарил, ходил на лыжах, нынче уж не ходил, руки без рукавиц мерзнут. Дай им тепло, а сам хоть подохни, это никого не касается. Сейчас, парень, так все устроено, чтоб человек работал все больше, а жил все хуже. Садись, Коля, садись! — На Геню Арсеня и внимания не обратил. Геня между тем шебуршил свертками, добываемыми из сумок. — Летом-то хорошо, — продолжал Арсеня, лежащий на кровати у печки, — часа по три колорадского жука собираю, в керосине топлю, только, парень, это бесполезно, Америка умеет жуков выводить, наши, майские, все передохли, колорадский процветает. А не обирай его с картошки, от ветвины одни дедлюшки оставит.

Николай Иванович пожал слабую твердую руку Арсени. Оба присели к столу. Геня между тем сбегал за водой, ополоснул стаканы, убрал на столе, открыл занавески.

— Со свиданием! — первый сказал он.

— Обожди, нехристь! — остановил его Арсеня. — Брат, читай молитву.

— Я уже прочел, — ответил Николай Иванович. — Про себя.

— Про себя не считается, — сказал Арсеня, но тут же махнул рукой и выпил половину. Закрыл глаза, посидел с минуту, потом допил остальное. — Луку принеси... А, есть? Принесли? Рая послала?

Геня сделал знак Николаю Ивановичу.

— Рая, — ответил Николай Иванович.

— Похож ли Геня на меня? — спросил Арсеня.

— Пока не пригляделся.

— И не приглядывайся. Не похож. Не мой это сын, — сказал Арсеня, закурил и продолжил говорить в том же тоне: — Летом жить можно, парень, а сидеть да без дела курить — это дело плохое. Я стал задыхаться, когда до пенсии еще не дожил. Болел сильно. Вызвали на рентген: задыхаюсь, говорю. Вы и должны задыхаться, говорят. Легкие поражены. Но туберкулезу нет, иди на хрен без группы. Хожу, останавливаюсь. А корень наш крепкий, верно ведь?

— Верно.

— Алешка — за восемьдесят, тебе к тому, а ходишь. Райка тянет, быку столько не утянуть. А дети — это уже сор, эти не в нас. Все не мои.

— Батя! — воскликнул Геня.

— Выкормил пятерых, сама шестая, сам седьмой. Раз в месяц за зарплату расписывался, еле дышу.

— Ты ел сегодня? Ты сегодня чего завтракал? — строго спросил Геня.

— По неделе не ем, — сказал Арсеня Николаю Ивановичу. — Рассказала тебе Рая, как она тебя нашла?

— Нет.

— Нет? Хм! Так тут нет военной тайны. Она встретила старуху, Дусю Кощееву, знал?

— Не помню.

— С тобой ходила в Великорецкое. Ну?

— Многие ходили. Нет, не помню.

— Да как же! Дуся Кощеева. В платочке, востроносая. Давно похоронили, родни не осталось, можно было карточку показать. Она и рассказала Рае, мол, вот по вашей фамилии нас вел старичок, старичком тебя назвали, ты как Сусанин их вел, только старух, а не поляков, говорит: так и так, вел нас Чудинов Николай Иванович, много за веру перестрадал, сидел тридцать лет. А ведь мы и не думали, что ты живой. Рая пытать эту Дусю, та к детям поехала в Вятку, Рая велела ей твой адрес узнать, потом и от тебя открытка.

— Нет, не помню Дусю никакую, — тихо сказал Николай Иванович. — Я думал, через справочную искали. Сам-то уж я, прости, Господи, и не думал, что здесь побываю.

— Да вот на кладбище пойдем, я тебе ее фотографию покажу. Это и не важно, важно — нашли тебя.

— Да, — опять откликнулся Николай Иванович.

Геня, вооружась полотенцем, бил мух. Растревоженные, они гудели на оконных стеклах. По стеклам Геня не бил, гнал на потолок и стены. Молчать ему было тяжело, тем более что он поправил свое здоровье, и теперь радостно говорил:

— Эту сказку знаете, конечно, «Одним махом семерых убивахом»? Мультфильм недавно был. Я чего вспомнил, воюю с ними и считаю, нет, ни разу семерых за раз не убил. У них, значит, мухи погуще сидят, у нас пореже, у нас гигиены больше.

— Вот, — показал на него Арсеня пальцем, — вот доказательство: разве бы мой сын мух бил, да еще бы и считал? Нет, парень, ты, наверно, от Феди Гаринских, от инспектора, такой же ветродуй.

Зайдя сзади, будто выслеживая мух, Геня показал Николаю Ивановичу жестом, что именно вот это-то и есть тот пунктик, о котором он предупреждал. А вслух сказал:

— И в русских сказках мух бьют, правда, этим не хвалятся. Но братья Гримм это ващ-ще! Я тут прочел сыну и опупел. Мальчик-с-

пальчик вывел братьев, а ведь их специально родители увели в лес на съедение зверям.

— Вот и вас бы увести, — сказал Арсеня. — У нас волков в жизни побольше, чем во всех ихних сказках, ладно, плесни понемногу. Вот, Николай, так и живу и буду жить, пока столбы не сгниют, пока матица не хряснет. Тут, в боку, будто иголки насыпаны, а выпью — живу. — Он отдернул свой стакан от Гениного, не чокнулся с ним, и выпил. И опять закурил. — Лечили, конечно, да как лечили? Так лечили, что из больницы мечтаешь сбежать скорее, что до конца не «вылечили». — И снова, без всякого перехода, собственно, как и Геня, заговорил о другом: — Увлекался я, парень, работой, кроме работы ничего не видел, трудиться любил, есть не мог, если чего-то не сделано. Приехал Фомин с райисполкома: «Убирайся с глаз долой!» У меня шея хоть и коротка, а долго доходило. Меня на элеватор в район, а он с Анюткой обретался!

— Батя, этого не может быть! — закричал Геня.

— Уж чего не может быть? Вот какой был Сема. Моя башка ничего не соображала, кроме работы и трудов. Поздно я понял свою жизнь. Ты ее, Коля, не знаешь, я ее тебе расскажу... — Арсеня пересел от солнца в простенок. — Тебе Алеша не снился эти дни?

— Нет, — ответил Николай Иванович.

— А мне снился. На тебя, значит, не обижается, а на меня обижается. Такая примета: не снится — не сердится, снится — чем-то попрекает. Как меня не попрекать, ведь я его фактически мог бы спасти.

— Как? — спросил Геня.

— Иди, колорадских жуков собирай.

— Я еще мух не всех убил.

— И молчи.

— Молчу, характер мягкий, другой бы спорил, глаза выворотил.

— Мы с ним часто на пáру полоскали. Не помногу, так, для лекарства. Генька сиживал, у него в бестолковке другого не водится, и как еще Нинка, такая хорошая, за такого дурака пошла. И парня такого хорошего родила...

— Любишь внука, любишь! — назидательно вставил Геня.

— Да ты же его и испортишь.

— Я?! Да я его сюда вожу, чтоб он овес от ячменя отличал.

— Можно и отличать и дураком быть.

— А как тебе Алеша приснился? — осторожно напомнил Николай Иванович.

— Упрекает, — ответил Арсеня, помолчал и повторил: — Упрекает. Мог я смерть отодвинуть. Мог. Сидели мы, сидели и уже вторую распечатали, его-то Нюра загудела, да я на их гудение...

— С высокого дерева! — подхватил Геня. — Правильно, батя, у тебя учусь. Вот с этого, с моего дуба!

— У тебя, дурака, Нинка, а не Анюта, не Нюрка, не путай. И молчи.

— Молчу.

— Вот и молчи.

— Правда, Геня, дай рассказать, — мягко попросил Николай Иванович.

— Молчу, дядь Коля, молчу. Народ безмолвствует! Но про себя смекает.

— Загудела она, а мне что бабы, что шмели гудят — одно и то же, у баб слов нет, одно гудение, да еще урчание с голоду...

— Да еще рычание, — не утерпел Геня, но тут же закрыл себе рот большой ладошкой.

— В общем, чтоб ее не слушать, мы перешли из барака под навес.

— Вид протеста, — прокомментировал Геня.

— ...Перешли под навес, — совершенно Гени не замечая, рассказывал Арсеня, — перешли, добавили: он — фронтовую, я — лагерную, и запели, мы пели обычно «Во саду при долине».

— Громко-о пе-ел со-оло-овей, — затянул Геня и оборвал.

Арсеня пододвинул ему бутылку.

— Запели, пели негромко, не орали...

Тут Геня сунулся еще раз, но для начала честно предупредил, что суется последний раз, он не утерпел, сказал частушку на тему голоса:

— Что ты, батя, не поешь, да разве голос нехорош? У нас такие голоса — поднимают волоса.

— Волос нет, подымать нечего, я пою, впелся, гляжу — он откинулся, готов!

— Как это плохо, — горько сказал Николай Иванович, — как это плохо, знали бы вы, что он выпивши умер. Прости, Господи, рабу грешному, в ведении или в неведении грех свершившему.

— Это на мне грех, — сказал Арсеня.

— И на тебе, Арсюша.

— Он же не самоубийца, — возразил Геня, — это самоубийц осуждают, он же от старости. День туда, день сюда — несущественно.

— Минута существенна, едрена мать, согрешишь с тобой! — Арсеня в сердцах хватанул порцию побольше предыдущих.

В избе становилось не просто жарко, а душно. Вышли на крыльцо, оно было в тени, под крыльцом возилась и вздыхала, но не показывалась, собака.

— Лет пять мне было, я навоз возил, — вспомнил Арсений. — Тебе, Коль, что объяснять, ты сам все это прошел.

— Я еще даже немного захватил. — Это Геня.

— Навоз возил. Пять лет. Отец нагрузит телегу в ограде, посадит, даст вожжи, я поехал, мать в поле встречает. А в войну, тебя уж долго не было, думали, пропал...

— Я был без права переписки.

— Тебя ж никто не осуждает, тебя все жалели, и Лешка жалел. Ну, бывало, матюгнет, это когда отца и Гришку вспомнит, а так чего осуждать. Тебе голову закрутили... Мы с сестренкой сильно заголодали, ей — шесть, мне — двенадцатый. Мать на заработках. Чего оставила — приели, экономить дети не умеют. Сосед-кладовщик подучил воровать. Залезли в склад сквозь крышу, взяли гороховой муки кошелек, а списали на нас семьдесят килограмм. Судили, на суде говорят: да как это ребенок утащит через потолок, до потолка три метра, такую тяжесть протащить. Дали два года. Сидел, там и болеть начал. Но там все-таки кормили, дома многие помирали. В тюрьме ходил в угол и молился, крестился, прощения просил за воровство. Я во всю жизнь окурка докуренного неспрошенного не украл. И вышел я без наколок и больше не воровал. А наколки там делали, только иголки щелкали. Меня там называли ишаком, говорили: дураков работа любит, а я не мог не работать, и каши дадут тарелку, а то и хлеба срезок с маслом, это мне за диво казалось. Я работу любил. Война кончилась, выпустили, сказали: мы тебе нигде не запишем, что сидел, и ты никому не говори. Будто в деревне утаишь. Работал за трудодни, доходило на них по двести грамм. Уже и Райка работала. Взяли в армию, я ж по документам чистый. В армии заболел экземой, ноги от подколенок и выше. В санчасть попал, работал и там, меня полковник полюбил, придешь на прием, штаны спустишь, он: «Чудинов, неохота тебя лечить, ты мне в санчасти нужен, я тебя из роты спишу, иди к нам». Вылечил, только потом, бывало, когда напьюсь до психовы, то опять краснота выступала и чесалось.

Вернулся, с первой женой не пожилось. Она старше на десять лет, но тут не город, не под ручку ходить. Из-за Райки распазгались. Мать тогда уже тоже на кладбище отнесли, я хотел Райку в люди вывести. Жена в штыки: ей не в школу ходить, а работать пора. Райка рослая была, крепкая. Председатель тоже навалился, поставили в борозду. А мне жалко сестру. И пошла у нас с женой раскостёрка. Женился на этой, тут болезнь. А болезнь от нервов. В лесу выпиливали дупла для

пчел, да подвалили лося, это на пятерых. Все молчком. А был Кибардин от райфо, является — в клеть. Тогда, парень, ордеров не предъявляли ни на арест, ни на обыск. У меня ноги задрожали — увидит ногу, нет, увидел стружки — Анюта с матерью, с тещей моей, делали цветы, мы скрывались от налогов. И на этого Кибардина грешу, потому что налог не выписал, а штраф дали небольшой, так что сам смекай, чем ему Анютка вмастила. Штраф надо было деньгами платить, а работали мы за трудодни, за те же цветы выручили. Пятерых родила, все не в меня. Пошто я, пошто тогда-то не приглядывался? Называли меня дураком, а я и есть дурак. Башка темная была, работал да пил. Соседи подъедали, я ничего не понимал, меня вроде не касалось. Когда заподозрил, поднял на нее руку, опять виноват, на меня подала, меня судить. Про первую, детскую судимость открыла. Но у людей совесть иногда есть, судили общественным судом, люди сказали: живите врозь. Все деньги перевели на нее. Заходил на почту узнавать, сколько переводят, я тогда за деньги пастушил, говорят: скажем только через прокуратуру. Это что ж за закон — мужа обворовали, и не узнай, на сколько обворовали. Разбежались, она осталась в Святополье, я здесь. Избу года четыре строил, в ней и умру. Дети прибегали, они ни при чем, я детей люблю,— Арсеня покосился на Геню, но тот спал сидя, завесившись упавшими волосами. — Чужих и вырастил. Своего одного нет.

— Может, Арсюш, ты ошибаешься?

— Хо! Я фотографии по тыще раз перебрал, я, конечно, с придурью, но не дурак же окончательный, могу сравнивать. Началось у нее с коммуниста Приемова. Работать не хотел, проверял кожуха, пожарник. Мы спали врозь. Я так урабатывался, мне интерес был сделать работу, я об ночи не думал, а она свое отобрала. Это дело пахучее, парень, учуяла и пошла. Ребенка родит, уж соседи знали от кого. Чё тебе объяснять, сам мужик.

— Я же не был женат.

— Совсем?

— Совсем.

— А с какой-то Верой живешь?

— Так это сестра во Христе. Сошлись без греха, мне уже за семьдесят было, ей — семьдесят. Она и настояла. Нет, тут, брат, все без греха. И женат ни разу не был, и вообще ни разу не грешил.

— С бабами не спал? — вытаращился Арсеня.

— Ни разу, — твердо произнес Николай Иванович. — Ни разу. — И добавил, глядя на поглядывающего на него и встряхивающего головой Арсеню: — Мне это легко досталось. Читаешь труды монахов, особенно «Добротолюбие», там много уделено борьбе с плотью. А мне жизнь помогла: в тюрьме плоть моя была немощна, а это почти тридцать лет, вышел стариком. Был однажды соблазн, но подумал, подумал, думаю: весь в грехах и так, еще и ...а!

Они долго молчали. Только без устали носились над ними серые стрижи. О них вначале и заговорил Арсеня:

— А знаешь ли, что стриж на земле гибнет. Если на землю сядет, ему не взлететь, так, в воздухе, и живут. Да-а. Да знаешь — деревенский, чать... Да-а, Николай Иванович, да-а. Вот да так да. Ни разу, ни с кем? Нет, я, парень, был ходóк еще тот. Значит, еще и это я за тебя свершил.

— Ходок был, а дети, говоришь, не твои.

— Не мои. Тут уж я никакого «Яблочка» не плясывал, не матрос был, не матрос. Да-а. Вот так-так, Иван Тимофеевич, родил ты четырех сыновей, а они вчетвером ни одного не родили. Григорий погиб, у Алексея был один, Женька, Женька утонул, у него, правда, был смастерен наследник, но припадочный, уж считать это или нет, это, парень, только в количество, только в название. У тебя, значит, ничем никого, и у меня никого. Как детдомовцев воспитывал. Фамилию

дал, а кровь не взяли. Да, Иван Тимофеич, миленький, уж не посетуй, жизнь в обратно не прожить, только пережив ать.

Геня проснулся. Сбегал за угол, потом сбегал к колодцу, выкачал ведро, чем-то оно ему не понравилось, он выплеснул его, еще выкачал, долго пил, потом облился из ведра и мокрешенький, оставляя на крыльце мокрый след, ушел в избу. Но ненадолго. Вернулся и вступил в разговор:

— Дядь Коль, и ты, батя, слушай, ты не будь пассивным, мы от пассивности гибнем, вот чего я рассуждаю, подтвердите. Говорить?

— Мели!

— Значит, семнадцать миллионов тунеядцев. Но из них нужны, скажем, три миллиона, их прокормим. Но даже если мы доведем до трех миллионов, они опять разрастутся. Почему? От недоверия и проверок. Раньше верили. Написал человек отчет, зачем его проверять? А у нас один написал — пятеро проверяют, пятеро перепроверяют, пятеро едут с комиссией.

— Арсюш, — улыбнулся Николай Иванович. — Гордись, кого воспитал. Разве неправильно рассуждает?

— У нас рассуждателей в каждой дыре по три затычки сидит. Чего мне-то не принес? Сигареты захвати.

Солнце стало подбираться к ним, вначале к ногам. Арсеня выпростал ступни из тапочек и подставил теплу.

— Я, Коля, молчу годами, молчу и молчу. Ты думаешь, раз Генька болтун, так в меня? Нет, я молчу.

— Я тоже лаконичный, — сказал Геня. — У меня словам тесно мыслям просторно. В прошлую осень грязища была, она всегда здесь, но тогда особенно. Я приехал сюда и застрял. Пошел на почту и дал телеграмму такого содержания: «Идут дожди дорог нет трактора тонут прощай». Во текст!

— Я служил в армии, мне приснился сон... — начал Арсеня, но Геня вновь стал перебивать.

— У вас еще армия такая была, что сны успевали видеть. У нас какой сон, у нас не успеешь по подъему — в тебя табуреткой.

— Не налью больше, — пригрозил Арсеня, и Геня испуганно смолк. — Приснился сон. Старичок, седой весь, голова белая, весь оброс, подошел и говорит: «Ты проживешь долго, но будешь мучиться». А еще был сон: на небе круг, в него вошли с саблями, стали биться. Потом из круга вышли и сели за стол, стол распилили пополам. А это была война и перемирие в Корее. А уж вот последний был сон: будто у меня зубы валятся и валятся изо рта, и все крупные, жемчужные. А утром по радио говорят: наши войска пошли в Афганистан.

Опять помолчали.

— Ты мать помнишь? — спросил Арсеня.

— Конечно. — Николай Иванович тоже разулся. Он мысленно поукорял себя, что не читал сегодня дневных молитв, но не каждый день он виделся с братом.

— Как не помнить, — говорил Арсеня. — Она учила: ведите себя тише воды, ниже травы. Может, и плохо такое воспитание: в жизни кто молчит, тот и виноват, кто кричит, тот и прав. Еще до похоронной на Гришу, а на отца так ведь и не было похоронной. И до чего ж сучий закон был: на без вести пропавших пособие не давать. Куда он без вести пропал? Да в ту же землю! Неизвестный солдат! Все известны! — Арсеня, видимо, подходил к какому-то пределу, за которым мог стать нехорошим. Николай Иванович взглядом перекрестил его. — А на Гришу пришла похоронка, так она так закричала! Ей с нами досталось! Вся заработилась. Поехала за хлебом, мы с Райкой сидели одни. А бригадир по домам ходила, проверяла, кто что ест, тарелки-то проверяла, чем замараны, что ели, вот ведь! А кладовщик и оказался вор. Меня подучил через крышу лезть, меня посадили, а он так и

не посаженный прожил. В церковь бегали, это я всегда помню, батюшка уж хоть чего-нибудь да сунет. Помню, враз четверых ребенков отпевали, лежат в корытечках. Наелись зелени, кто поносом изошел, у кого заворот кишок. Глупые. Тогда часто перевертывались. Батюшка велел каждому поклониться. «Ангелы вы мои», — говорит и плачет.

— С голоду и взрослые без ума, — сказал Николай Иванович. — В заключении, особенно на работах, на лежневках бывало: у лошадей украдут овса и сразу съедят. Где там варить, да и заметят. Съедят, кипятку напьются, овес разбухнет и желудок рвет.

Арсеня, взглянув на брата, согласно кивнул и продолжал:

— Усажу, бывало, сестренку в тележку и к мати в поле. Она до того кричит, прямо обезголосеет, а я кожилюсь по песку, по канавам. Привезу, мне мать отломит от горбушки, сама сестренку кормит. Покормит, я опять обратно везу в люльку — качать... Пойдем в избу.

Геня, отметив, что осталось на самом донышке, пошутил:

— Эх, дядя Коля, ты бы еще воду в вино превращал, цены бы тебе не было!

— И тогда бы ты, Геня, и остальное Священное писание запомнил?

— Как пионер!

В избе Арсеня сразу лег. Николай Иванович подсел к нему.

— Чего плохое вспоминается, так ты не вспоминай.

— Мне другого нечего вспоминать, одно плохое и было.

— Так, Арсюша, нельзя.

— А как можно? — Арсений старался побольше вбирать воздуха при вдохе, но это больно ему было. — Как можно? Ты, как мать наша, тише воды, ниже травы. И отец: вперед не суйся, сзади не оставайся.

— Вся жизнь — борьба! — заявил Геня. — До обеда — с голодом, после обеда — со сном. Дядь Коль, труба зовет: солдаты, в поход! А всякое примиренчество ведет к застою.

— Идите, идите, — сказал и Арсеня. — Спасибо, зашел, брат, не побрезговал моими хоромами. Как они на меня обрушатся, приезжай хоронить. А то и не уезжай. Живи здесь, половиц хватит. А то и хоронить не надо. Гень! Как дом рухнет, меня погребет, тогда бензину не пожалей, плесни, и — спичку. И — Севастополь горит!

— Болтай, батя, болтай.

— Слушай, приемыш, слушай. Оставайся, Коля, а? Генька побежит, скажет, что остался. А? Жизнь у меня не очень важная, да надо жить. Будем обретаться. До самоубийства не дойдем.

— Это грех.

— Будем в лес ходить, за бобрами охотиться, ягоды брать. Я мясо бобров ем, только желудок плохой, надо мясо в вольной печи уваривать... Дак не останешься? Ладно, сегодня не оставайся, а если поживешь в Святополье, то приходи хоть пожить. Жизнь прошла, както бы нам ее сесть, обсудить. Братья. Четверо было. Гришку я совсем плохо, неявственно помню. Как он на действительную ушел, отгулял проводы, это помню. Меня на печку загнали. Мне же интересно! Когда все разошлись, вот он сидит за столом, локтем в столешницу уперся, лицо рукой закрыл, слезы льются, а он поет: «Во саду при долине громко пел соловей...». Тогда-то вся душа моя и содрогнулась, тогда-то я и поревел о нем. Да тихонько реву, лицом в шубу, если бы тятька услышал, выпорол бы.

— Тятя у нас был хороший, вечная ему память. — Николай Иванович обвел взглядом избу. — А вот тут уже ни он, ни Гриша не бывали?

— Алешка был, в частом бываньи был! — гордо сказал Арсеня и тут же сник. — А я, до чего я дошел, так нажрался, что башки не мог поднять. Понимаю, что надо идти брата хоронить, а не могу. Когда оклемался, пополз, только на поминки успел, без меня закопали.

— Батя! Все в лучшем виде, — отчитался Геня. — Яму вырызли — бульдозером не вырыть. Корни с Витькой рубили, надселись. Тятька лошадь запрягает, маменька уселася, черно-пестрая корова со смеху надселася. Дядь Коль, они там думают, что мы тут как один умерли в борьбе за это. Идем! Хоть у тебя и непротивление злу насилием, силом утащу!

Арсеня осторожно переложил ноги.

— Я уж провожать не пойду. Попрохладнеет, огород полью да жука пообираю. Уж на девятый день приползу.

Геня схватывал со спинок стульев, с гвоздей у двери рубахи Арсени, полотенце, ссовывал их в сумку.

— Бать, комаров я не всех уничтожил, но все-таки; оставил только ограниченный контингент. Вперед, и с песней!

9

Конечно, и на обратном пути Геня стрекотал, стрекотал весело, подторапливался, кажется, даже и хотел бы оставить Николая Ивановича идти одного, но все-таки не убежал.

— Дядь Коль, ситуация с матерью и с батей знаешь чего мне напоминает? Французский фильм «Супружеская жизнь», там одну серию ему дают слово, и видишь на сто процентов, что жена виновата. А во второй серии дают слово жене, и что? Виноват во всем муж. Даже и у французов, — а у них измена хоть мужа жене, хоть жены мужу не в зачет, у них это просто разнообразие, — и то последнее слово оставили за женщиной. У нас так же. Послушать батю — виноватее матери нет. Ее послушать — батю вообще надо расстреливать. Ведь диколье: один среди пространства сидит, нас все в Святополье осуждают. Он еще, подожди, он еще тебе все наши фотографии начнет показывать, со своими сравнивать, — сравнения, мол, никакого. А если мы в мать? Ничего не жрет неделями. Я вчера думал, на поминках поест, нет, пьет да курит. В сумку ему Нинка наложила пирогов, — все целые. Глубокую чашку с пельменями поставила, сегодня гляжу — собаке, так, целиком, под морду у крыльца сунул. Прямо в чашке. Не жрет неделями. Я когда приезжаю, я хоть ему хрену в квас потру, да с солью, тогда немножко аппетит бывает. У него программа на самоизживание. У него ведь и телевизор исправный, он его, спроси, никогда не включает. Я ему, опять же, программу на неделю, когда бываю, приношу. И Витька приносит, — нет, не смотрит. Ну, хорошо. Гондурас не беспокоит, но ведь бывает и «В гостях у сказки».

— Отдохнем, Геня, — попросил Николай Иванович. — Я тоже, Геня, телевизор не смотрю, и никогда не смотрел. И в кино ни разу не ходил. И фильм этот не видел. И никакого вообще. Даже в зоне: пригонят в клуб, я в землю смотрю и молитвы читаю.

Долго Геня стоял с открытым ртом, так долго, что в рот залетел комар. Геня долго отплевывался.

— Отцы! — вымолвил он. — Вот это отцы так отцы! Вот почему вы долго живете, вот разгадка: вам нервы кино и телевизор не исковеркали. И радио не слушаешь?

— И радио не слушаю. И книг, и газет, Генечка, не читаю, только священные, только житийные.

— Комаров много, — сказал Геня, — я бы еще раз рот открыл. Да-а. А вон туда, — он показал к горизонту, — там лес Серговщина, знаешь название?

— Знаю.

— Правда ли, там человека убили, плохо закопали, фосфор разошелся, и по лесу свет с тех пор ходит. Ты бы не побоялся туда один пойти? Я бы забоялся.

— Как же так? И телевизор смотришь, и кино, и забоялся бы?
— Неужели ты ни разу в жизни в кино не ходил?
— Ни разу, Геня.
— И газет не читал?
— Нет.
— Это мне, дядя Коля, наверное, не дошурупить. И так и живешь?
— Так и живу.

Рая и Анна, в самом деле, уже начинали сильно беспокоиться.

Геню ждали две новости, одна хорошая, другая плохая. Хорошая явилась в образе Толи Петровича, который, скорее всего, так и не вставал из-за стола. Он закричал Гене:

— Привет вредителю сельского хозяйства!

На что Геня, воспрянув, радостно отвечал, что набрал целое ведро колорадских жуков, что отошлет завтра в Америку в обмен на валюту и что вообще пора добиваться права Аляски на самоопределение.

Вторая новость была для Гени плохая. Нина, забрав сына, уехала дневным автобусом, и Гене предлагалось следовать ее примеру.

— Ни за что! — закричал Геня. — Отпуск есть конституционное право, за меня все депутаты борются. От веды! Ей плохо становится, когда мне хорошо. Доказать? Я же не пил огромными периодами, она веселеет: «Ах, Генат, — Генатом зовет, — ах, Генат, я так молодею, я такая счастливая, мне хочется хорошо выглядеть, мне хочется хорошо одеться». Это значит: Гена, вперед, на мины, ордена потом, вкалывай, Гена, денежки нужны, одеваться захотелось! Петрович, что, у тебя разве не так же?

Братенники наказали дяде Коле произвести ревизию сенокосного инвентаря. Вот они выполнят еще кое-что по своей программе и тогда займутся программой продовольственной. И удалились. Николай Иванович хотел пойти к себе полежать немного, но его остановила Анна, жена Арсени:

— Вы ведь мне деверь, Николай Иванович.
— Конечно, деверь, Анна.
— Вы поняли, какую он бессовестность городит, от людей стыдно.

Николай Иванович взглянул на сноху, та увела глаза.

— Совсем ни к чему бывает, — осудила Арсеню и Рая. — Неужели опять кричал, что ему за тебя пить пришлось, а Алеше воевать, а отцу и Грише погибнуть? Неужели так говорил?

— Нет. Хорошо поговорили. Детство вспомнили, маму, отца. Рассказал, как тебя, маленькую, к маме в поле на тележке возил, еще от груди питалась.

У Раи прямо слезы так и брызнули.

Но и поплакать как следует ей не дали, прибежал мальчишка и под окном закричал:

— Раиса Ивановна, идти велели, быка косарям режут.

— Видишь, как, Коля, — промокая платком глазницы, через силу улыбнулась Рая, — без меня и земля-то не вертится.

10

На девятый день снова ходили на кладбище. Уже семейно, уже и Геня, и Толя Петрович отбыли, на прощанье успев и порыбачить, и помочь в сенокосе. Лидия Ивановна и Селифонтовна остались делать скромное угощение. На кладбище ничего с собой не понесли. Рая прихватила маленькую садовую тяпочку, которой поухаживала за материнской могилкой. Братья ходили меж оградками. У одной высокой кованой оградки, из которой, будто из вазы, выносился букет зелени, Арсеня объяснил:

— Этого ты должен помнить. Разумов, кузнец. Нож еще Грише выковал из тележной оси. До сих пор им поросят режут. А вот рядом Кащеев, забыл имя, надсадился в войну, ой, от надсады сколь примерло, надсадился на лугах в сорок шестом — стожар осиновый вырубил и на себе принес. Дед наш Тимофей Ефимович тополь над ним какой вызыкал. Боялись, что упадет, памятники попортит, спилили половину, Генька с Витькой лазили, лет пять тому, все равно здоров. Они примеривались на долбленку взять, приехать с подъемным краном — я не дал. Нельзя с кладбища, утонули бы враз. Бабушка наша рядом, Александра Андреевна...

— Вечная память, вечная память, вечная память, — крестился Николай Иванович.

— Двенадцать рублей пенсии, а не бывало, чтоб хоть рублик не сунула, а то и три. Яков Иванович, другой дед, — это огонек!

— Я помню, — улыбнулся Николай Иванович. — Кричит: «Ставь самовар, плясать буду!» И плясал с кипящим самоваром в руках.

— Мы супротив их — гнилушки, — Арсеня отколупнул пихтовой смолы. — Попробуй. Хоть детство вспомнишь.

— У меня, Арсюша, ни одного зуба. Я тебе признаюсь, я и бороду отпустил, и усы особенно, что стеснялся беззубого рта. Вот мы тогда поговорили, ты удивился, что я не был женат, подумал, может, что какой обет давал, нет, так получилось. У меня передние выбили, жевал задними, даже весной ветки обгрызал, чтоб десны не кровили. Потом все равно выпали остальные, я вышел, старик стариком, неужели бы кто-то на меня из женщин посмотрел. А мне уже и не хотелось. Сторожем взяли в автохозяйство, сторожами верующих многие начальники любили брать, да еще кладовщиками, завхозами: не воруют — от этого. Сижу ночью, размочу в кружке хлебушек и жамкаю потихоньку. Говорил я бормовато, меня плохо понимали, потом стал себя заставлять вслух читать. Псалтырь читал особенно, и говор наладился.

Пришел с ними на кладбище и старичок Степан, опять почитал на могилке. Вдова Нюра опять рассказывала, как они жили в доме престарелых, как муж стал мешаться, забывал комнату, как их стали оформлять в дурдом, в Мурыгино. Что в доме престарелых отношение к ним было хорошее, была отдельная комната, две кровати и тумбочка. Что сама Нюра работала по кухне, накрывала на столы и убирала, и ей даже платили десять рублей в месяц.

А сейчас одной ей в бараке страшно, вот и просится к Рае.

— Мне от этого только хорошо, — одобряла Рая. — Хоть корову встретишь да хоть им пойло приготовленное в колоду выльешь. Ведь двенадцать ведер вылапывают, — это только корова и теленок. Все у меня живут, все останавливаются, и Селифонтовна, и Лидия Ивановна — родина тянет.

Побрели обратно.

За столом оказался родственник Андрей. Это был из той же породы, что и Толя Петрович, что и Геня. С какой он был стороны, как по родне, Николай Иванович и выяснять не стал, боялся, не запомнит. Смену себе Геня и Толя Петрович выслали достойную. Андрей завернул на родину из отпуска, с юга. Загоревший, веселый, за столом только его и слышно было.

— Папаша! — закричал он Николаю Ивановичу, — папаша, я всегда тобой гордился, я всегда говорил: Чудиновы еще докажут свое! Точно! Я ж тоже, папаша, Чудинов. Лежу на солнце, врачиха говорит: радиация, опасно. А, говорю, чхал я на вашу радиацию. Я, конечно,

покрепче выразился, чтоб она отскочила. Отскочила. Я, конечно, потом извинился, она же меня потом, кстати, покорила. Одной фразой. Вы же, говорит, не из Африки, вы же, говорит, белый человек. Тогда я стал весь ее. — Он вздымал свой стакан и широким жестом, напоминающим жест тамады из грузинского фильма, предлагал помянуть дядю Лешу, похоронить которого он не успел. — Это ты, теть Рай, всему виной, послала б телеграмму, я б приехал, хоть там и билетов не достать. Я б достал. Ну! Невозможно прожить без печали, но родина есть родина! Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал.

Так он и сбил все застолье. Прямо как конферансье какой, чуть даже до того не докатился, что стал предлагать выпить за женщин, тут его одернули, он смущенно поскреб молодой загар на юной лысине, крякнул и стал звать Николая Ивановича и старичка Степана на рыбалку.

— Будете загонять, делим поровну. А я еще застал, когда в Святице стерляди были.

— Андрюш! — осадила Рая.

— Были! Дашь острогой в хребет — зубья у остроги гнутся, расходятся, приходилось в бок. Ну, что, папаши, видно, тут один я поддерживаю мужскую честь, приходится за всех. Я еще помню, как из вашего времени до нас дошли стихи, исполнялись как песня в ДК, лампочку Ильича пропагандировали: «Нам электричество мрак и тьму разбудит, нам электричество пахать и сеять будет. Нам электричество наделает делов — нажал на кнопку: чик-чирик — и человек готов!» Ну, не будем выстегиваться, пусть земля ему будет пухом! Эх! Напиток божественный, а цена безбожная.

Рая виновато взглядывала на братьев, на вдову Нюру, но Андрей все балабонил и балабонил. Николай Иванович боялся, что Арсеня сорвется, но тот вроде и не слышал Андрея, все курил и курил. Жена несмело пододвинула ему тарелку, он дернулся как ударенный.

— Брат! — громко сказал он. — А ведь мы еще за одной могилой не поухаживали, ведь как ты думаешь, надо нам Гришу навестить.

— Ой, хорошо бы! — откликнулась Рая.

— А ведь я его сильно любила, — сказала Селифонтовна. — Чего уж теперь, можно признаться. Первый раз его увидела, мы быков гнали, а они на вечерку в Григорьево шли. Они поднаряженные, а мы по-рабочему, я застеснялась, и у меня еще, как назло, бык не пошел. Уперся и стоит хуже осла. Парни его понужают, он стоит, начал уже землю копытом скрести, — это знак плохой: в ярость приходит. Парни отскочили. А Гриша, у него пиджак был внакидку на белую рубашку, воротник сверху, тогда мода такая красивая была, Гриша стоит. «Ну-ка, дайте, ребята, гармошку!» И заиграл! И что ты думаешь — пошел бык под гармошку.

— Они чувствуют мужскую руку, — вставил Андрей.

— Молчи! — резко оборвал Арсеня.

— Любила, — продолжала Селифонтовна, катая по клеенке круглый шарик — пробку от старинной уксусницы. — Любила. А еще раз на лугах виделись. Там так волки завыли — не только что бабы, мужики в шалаши полезли. А Гриша опять не забоялся. Помню, луна была, это в лето перед войной, стою на берегу омута, колодник там, осока, и почему-то, молодая была, дурочка, думаю: Гриша не полюбит — утоплюсь. А он подошел, окликнул тихонько: «Люба», — тихонько, чтоб я не испугалась. Подошел. У меня голова звенит, звенит... А скоро уже его и забрали, — шепотом докончила она.

— Тогда он и пел «Во саду при долине», — сказал Арсеня. Он во все глаза смотрел на заплаканную Селифонтовну.

— Да, именно, — подтвердила она. — И всю жизнь я его помню. Всю жизнь. Алешу хоронили, я говорю: «Гришенька, Гришенька, что ты такой невнимательный, даже брата не пришел хоронить». И никого

у Гриши не было, только я и была. Хоть мы даже не только не поцеловались, за руку не подержались.

— А нынче без увертюры: раз-раз — и на матрас, — Андрей поднимал стакан. — Значит, и за Григория Ивановича.

— Уйди отсюда, уйди! — заорал на него Арсеня. Он был выбрит сегодня, вдобавок лицо его побледнело от гнева, он был мертвенно страшен.

Андрея только и видели.

Помолчали. Николай Иванович хотел прервать молчание, но Селифонтовна опередила:

— Они другого не испытали, уж чего их судить, пусть его. Да, пел тогда Гриша «Во саду при долине», я выбегу в ограду, наревусь, наревусь, — я же предсельсовета работала, нельзя на людях слезы показывать.

И опять помолчали.

Рая, оправдывая Андрея, сказала:

— Завтра с утра как трактор будет работать. Косит здорово. Здесь у нас не курорт, здесь работа, а все равно тянутся. Родина. И ты, Коля, у нас главный молодец, вернулся. И в первый же день, — это она для всех, — в первый же день все грабли перечинил, Чудиновы без работы не могут.

Заметно было, Арсеня борется с желанием выпить, держит себя куревом и старается хоть наугад, да тыкать вилкой, но одолела «разорва».

— Эх, — объявил он. — То ли ум пора копить, то ли остальной пропить? — Все притворились, что не заметили, как он набуровил себе стакан, хлобыстнул его и ушел.

— Валера пишет из офицеров, что идут сильные сокращения, куда им идти, кровь сдают, — стала рассказывать Анна. — Хотела и Арсене рассказать, да разве слушает. — Она подождала, но никто ничего не сказал. — Так и свернется. Чего, Рая, чего тебе, давай помогу да тоже надо идти по хозяйству.

Застолье кончилось.

Николай Иванович вышел на крыльцо. На крыльце мирно беседовали... Андрей и Арсеня. Николая Ивановича и не заметили.

— Я ей говорю: мне бы образование, я б на тебе не женился.

То есть тема была все та же, о женах. Арсеня кивал Андрею.

— Не женился. Сюда раз побывала, больше ни ногой. Думает, тут у меня какое прихохотье, а тут у меня пуп резан! Приехала осенью, ты же знаешь, осенью какая грязь: и непроезжая, и непролазная, и непролетная, — морду сфифила, глаза стеклянные, а сама оловянная. Уперлась, и чего она тогда уперлась, ты, Арсень, помнишь этот случай?

— Нет. Какой?

— Жена моя как меня в «декабристы» записала. В клуб ушла. Из-за стола. Тут ей фи-фи, ей надо, чтоб на нее смотрели. Я, конечно, начесался тогда правильно; очнулся, где она? Тут кто-то посмехнулся: ищи, мол, если найдешь, — сеновалов много. У меня глаза уже не вином, а кровью налились, я в клуб. Та-ам! Стоит рядом с женщинами, но я их не заметил, а еще стоял один в ботиночках, как он проперся без сапог, в ботиночках? Я ему по мордасам!

— Слышал, — сказал Арсеня.

— По харе ему! За него многие заступились, я их всех в одно место склал. — Андрей прикурил очередную сигарету. — Как вы тут обретаетесь? Я все жалею, что тогда не согласился в партию. Меня сильно блатовали, у меня б вы иначе жили. Свой председатель — это ж свой! А была политика — возить счужа. Будто они лучше. Они все разворуют, и дальше их повезли, как в награду, на новое выдвижение. И кругом так: секретари обкомов, райкомов все не местные, до чего мы дожили, что своим не доверяем, что любовь к своему краю стала

в укор. А у меня, Арсень, вар-то есть в голове, ведь есть? У меня дом советов варит! Я не на горного техника был заказан, не в тех размерах живу... Ну, у тебя и кашель, Арсень, как у смертника. — Арсеня мучительно, с пристоном, держась за бок, кашлял. — Ты так, Арсень, себе остатки легких оттрясешь. Давай постучу. — Андрей огромным кулаком треснул Арсеню по худой спине, Арсеня поперхнулся и вовсе заумирал. Андрей треснул еще раз, Арсеня вроде передохнул, замолк. — Теперь мы это дело закрепим... нальет еще сеструха, а?

— В Разумы пойдешь ко мне ночевать?

— Пойду! Вспомянем, как коров пасли, как тёлка-первогодок отелилась. Все как у людей. Пойдем, пойдем! Заправимся и двинем. Я только к тетке Лизе за приемником зайду, у меня приемник любую часть света берет. Сейчас уже никто не скрывается, лежишь на пляже, крутишь ручку — и «Голос Америки» тебе с доставкой на дом. Их не поймешь, где врут, где не врут, где притворяются, где охмуряют, но слушать можно. И Албанию слышно, и Румынию, Китай слышно, а Ватикан как заведет, как заведет! Я и дома слушаю, с утра слушаю. Это лучше, чем моя дура сядет с утра к телевизору, банку с водой поставит, этот экстрасенс, мошенники они через одного, он в телевизоре руками водит, она балдеет.

Из дому стали выходить и расходиться женщины.

11

Томился Николай Иванович тем, что Вера осталась в неопределенности. Ее, конечно, как уборщицу, на улицу не выбросят, но ведь, бес его знает, Шлемкина, вот уж истинно бес, прости, Господи, согрешишь всегда с этим Шлемкиным: как его вспомнишь, так и нечистого тут же. Шлемкин этот спокойно не уснет, если еще какую пакость не сделает. Уж кажется, и выдумать того нельзя, как он издевался. По его приказу у Николая Ивановича над ухом стреляли, когда акафист Николаю Чудотворцу читали у источника, подгоняли пожарную машину и сирену включали. Водой из брандспойта по старикам и старухам как по не знай кому били. «Крестить вас так будем!» — орал Шлемкин. Сердца у него нет, только и знает, что кричит: «Меня партия поставила на это место, и я доверие партии оправдаю!» — «Неужели тебе партия велела над стариками издеваться?» — спрашивал Николай Иванович. «Методы — это мое дело!» И ведь носит земля! Носит.

Веру, Веру было жалко. И тревожно за нее. Неделя прошла, как там она? Признался вдруг себе Николай Иванович, что пусто без Веры, без ее тихих хлопот, без ее грудного четкого говора, когда она читала утренние и вечерние молитвы. Все еще именно на то сваливал Николай Иванович, что Вера — сестра ему, они и сошлись без греха, жили старичками, как брат и сестра, ну вот как сейчас с Раей, но сильно томился он, и внезапно это томление налетало, и он понимал, что без Веры плохо не из-за чего-либо, плохо просто оттого, что Веры нет рядом.

Сошлись они, и даже расписались, по ее настоянию. Он легко обходился сам, ходил в чистом, сам стирал, сам штопал, а из еды ему хватало хлеба, да еще варил картошку, разминал ее и сдабривал растительным маслом. За это тоже тюрьме спасибо — не избалован. Но с Верой как получилось. Она ходила в церковь и старалась стать к стене. У нее ноги болели, ходила с костыликом. Они кланялись друг другу и однажды на Пасху даже похристосовались, но такая была давка, что их тут же разнесло в разные стороны, она еле устояла, дружинники подхватили и помогли выйти. Кланялись, а знакомы не были. Она знала, конечно, что он водит каждый год старух на Великую, но и помыслить не могла, что тоже пойдет: три дня туда, три обратно А какие страсти! Ночевать не пускают, боятся. Старух собаками травят, всяко издеваются. И когда он подошел в мае и сказал: «Скоро Николая Великорецкого надо встречать, пойдешь ли?» — «Ой, — охнула она и обрадовалась, что пригласил. Но первое, что вырвалось: — Ты ведь меня бросишь!» — «Мы никого не бросаем, — ответил он, — мы идем потихоньку, на привалах считаемся». — «Да я же на костылях!» — «А у нас сколько ходили на костылях, все там костыли оставляли. Пойдем!» И звал настойчиво. И она, обмирая от страха, а было ей далеко за шестьдесят, обмирая от страха и решимости, решилась. Отслужили напутный молебен и пошли. А уж что натерпелись! Но больше всего радости было в том, что ногам полегчало, искупалась в Великой и обратно шла без костылей. На следующие годы она ходила по обету. «Сколь жива буду, буду ходить», — говорила она, крестясь и ощущая, что стоит сама, без костылей, что чувствует легкость на сердце и в подмышках, натертых за долгие годы костылями.

И сошлись они с Николаем Ивановичем по ее настоянию. Давным-давно жила Вера одна, редко когда возили к ней внуков, не оттого, что были плохие отношения с детьми, а оттого, что далеко жили, дорого ездить. Вера сама настояла, чтобы Николай Иванович перебрался к ней, оставил свой топчан в проходной автохозяйства. А когда пришли выселять, как незаконно живущего, упросила Николая Ивановича расписаться. «Это ведь не венчание, это ведь для Шлемкина, уж уступи собачьему сыну». Тогда Шлемкин сильно издевался. «Жених, развратник, не стыдно ли на старости лет!» По себе всякий судит.

И жили, и Богу молились. Всё друг про друга знали. Знал Николай Иванович, что Вера числит на себе грех за мужа, который запился и покончил с собой, знал, что Вера корит себя за это, хотя терпелива была до конца пределов. У нее были дети, погодки. Он совал им в рот папиросу, давал вино, и тогда она, терпевшая безгласно побои, решилась для сохранения детей жить одна. Объявила. Он перебил всю посуду, переломал стол и стулья, высадил окна, и они потом долго жили, обедая на полу и тут же селясь на ночь. «И ложки на полу, и чашки на полу», — говорила Вера, рассказывая.

Обезножела она на биохимзаводе. Из-за зарплаты и молока для детишек сама вызвалась на «вредную сетку», думала — поразит легкие, но почему-то ударило по ногам. А согласилась она пойти на Великую еще потому, что до войны туда ходила ее родительница, ее мама. «Лапти обувает и с собой лапти берет. А мне не пришлось сходить, бесовщина наступила, отступилась я ото всего, заблудилась, в церковь не ходила, грешница». Ее мама помнила старца Геннадия, с которым Николай Иванович был в лагере. Только, по рассказам Веры, он был сильно могуч, сильные волосы по широким плечам, а Николаю Ивановичу запомнился небольшого роста, с серебряным пухом на лысой голове, только глаза требовательно сверкали.

Они, старушки, меж собою называли Николая Ивановича старчиком. И много-много свечечек истаяло в огне, моля своим теплом и светом о его здравии. То, что Вера взяла на себя заботу о старчике, вызывало у старух уважение к ней. Да иногда и зависть. Рослая горластая старуха Катя Липатникова, постоянно впадавшая во грехи осуждения, но уж зато и вводившая в трепет представителей власти, махала рукой на Веру и кричала: «Тебе с полагоря жить, тебе чего не веровать, у тебя все условия, мужа экого выгадала!» Вера извинительно улыбалась и Катю всегда поминала о здравии.

Жили они с Николаем Ивановичем так согласно, так тихо, благообразно, что Вера часто вставала ночью в своей комнате и молилась со слезами благодарности за успокоение своей старости. Моли-

лась тихонько, чувствуя, что в соседней комнате стоит на молитве и Николай Иванович. Они завели даже и небольшой участочек — прибавление к пенсиям, но и в первый год, и во второй кто-то вытоптал все посадки, выдрал всходы картошки, и они отступились. Николай Иванович строго запретил ей стирать ему носки и носовые платки, даже пытался запретить стирать рубахи, но рубахи она в тихой, упрямой борьбе отвоевала. И в дорогу положила запасную косоворотку, белую, с голубенькими пуговочками, она ее очень любила и велела сразу достать из сумки и повесить на плечики. А он забыл. Сейчас, сидя один в прохладной родительской избе, он достал рубашку, встряхнул. Была б Вера, горела бы лампадочка в углу, без лампадки неуютно и тревожно. Была б Вера, вместе б становились на молитвы, вдвоем и по хозяйству веселей. Но снова и снова Николай Иванович понимал, что не в лампадке даже дело, дело в том, что Веры нет рядом. Он и не знал, как сильно к ней привязался. Видно, не прошел тот первый год, когда он уговорил ее пойти на Великую и много-много молился тогда Николаю Чудотворцу об исцелении болящей рабы Божией Веры. И когда она, стесняясь того, что из-за нее идут медленнее, что без нее бы шли скорее, ковыляя по дороге, видела, что Николай Иванович оборачивается к ней и ободряет, она полнилась силами. Тогда она особенно пережила за него. Тогда милиция напала уже перед самым Великорецким. Пьяные, расстегнутые, кое-кто раздетый по пояс, перегородили они дорогу. Старухи запели акафист Николаю Чудотворцу, милиционеры стали стрелять в воздух из пистолетов. Напали на Николая Ивановича, содрали с него мешок, вытряхнули кусочки хлеба на дорогу. «Поворачивай, нищетрясы!» — орал мужчина в серой кепке. Это и был Шлемкин. Пошли напролом. Дорогу перегородили машинами, Николая Ивановича схватили и затолкали в крытый кузов. «А ты куда прешься, калека?» — заорал на Веру Шлемкин. «Вас не спросили!» — закричала она, неожиданно даже для себя, тварь бессловесная всю жизнь. «В больницу увезем, садись в машину!» — «Я в ваших больницах до смерти належалась, мне все хуже да хуже». — «Ну, а тут окончательно загнешься», — пообещал Шлемкин. Когда она пошла обратно своими ногами, без подпорок, хотела Шлемкину отдать костылики, но пока поопасалась, несла обратно. Николая Ивановича, продержав в машине сутки, выпустили. Он в одиночку, ночью, ходил к источнику, на место взорванной часовни, окунался в купель, молился до утра и вернулся к старухам обновленный, веселый даже, объявил перекличку. Все девяносто восемь, их тогда ходило девяносто восемь, Николай Иванович строго учитывал всегда, были налицо. Тут-то она и вышла навстречу, показалась ему, он сразу понял, что она без костылей, и пал на колени, и все встали на колени и запели «Символ Веры». А полудурок Шлемкин потом говорил, что история с костылями была сделана специально, в целях церковной пропаганды, дурак какой, будто Вера первая встала тут на ноги, будто она не мучилась двадцать лет, будто не шарашилась на костылях по больничным коридорам, будто не кололи ее тысячи раз, будто не перепробовала она сотни рецептов.

Когда старухи завидовали ей, она говорила про себя: «Слава Богу», — но не могла чисто по-женски не вспомнить, каково ей доставалось, когда тот же Шлемкин отовсюду, будто подрядившись, гонял Николая Ивановича, когда не то чтоб что-то новое купить, те же хоть дешевенькие ботиночки, чтоб с ног не простывать, на еду не хватало. Николай Иванович и знать не знает, что она ходила кланяться Шлемкину в облисполком. Один ответ был у Шлемкина: «Перестанет старух водить в Великорецкое, ищь, Сусанин-вятский, перестанет и пусть приходит». — «И он будет ходить, и я не перестану», — твердо сказала Вера. «Так пусть вас ваш Никола и кормит», — отвечал Шлемкин, и она ушла. И не оставил Николай Чудотворец — не умерли.

12

Разговор, который мучил Николая Ивановича неопределенностью, начала Рая. И начала, и кончила в минуту:

— Ты, Коля, не томись, ты давай подпоясывайся, да, благословясь, за хозяйкой. Печку подделаем, обои переклеим, тут вам и поместье.

Николай Иванович стал говорить о маленьких пенсиях, почему-то это было особенно стыдно, но Рая сказала, что пусть те стыдятся, кто такие назначал, принесла ему в дорогу мягких, по деснам, оладий.

— А передавать Вере ничего не буду специально, скорее пусть приезжает, мы еще с ней за черникой сбродим.

Утром проводила Николая Ивановича на автобус. С ним уезжали ставшие за эти дни знакомыми отпускники, а на смену им ехали другие.

— Зимой их никого не увидишь, — говорила Рая, любопытствуя: кто, в каком составе, к кому приехал.

Водитель, белый от пыли, перекурил, старательно обилетил пассажиров, не велел детям высовываться в окна, и поехали. Долго пробирались сквозь стадо коров. Водитель давал сигналы, газовал, но коровы, будто под машиной родившись, по выражению водителя, может быть, принимая автобус за нестрашное живогное, не расступались. Только на повертке автобус вырвался на простор.

— Она знает себе цену, — кричал водитель, — она знает, что полторы тыщи стоит, и мою зарплату знает.

Через три часа, выбеленные пылью, прибыли на станцию. Ну а дальше опять электричка. Еще три часа с молитвою — и Вятка. Тут троллейбус полчаса, пересадка, тут автобус еще полчаса, вот и день к вечеру, вот и общежитие, вот и Вера. Они никогда доселе, ни разу, в мыслях не было, чтоб обняться при встрече, а тут чуть ли не обнялись.

— Как тебя долго не было, ровно Великий пост, — сказала Вера. — Тебе повестка в суд. Но она на позавчера, так, может, и вовсе не ходить. С той же квартиры нас согнали, соседки могли и не знать, что мы здесь. Это опять этот дошлятина тянется.

— Ну, и отнеси на ту квартиру.

— Отнесу.

— Сестра в Святополье пожить зовет, — за чаем осторожно сказал Николай Иванович и замолчал.

— Так и поживи. И ехал зря, мучился, послал бы письмо.

— Вместе с тобой зовет. Дом целый стоит.

Вера долго сидела, смотрела на свои руки, без дела вдруг лежащие на коленях.

— Ой, Николай да Иванович, не знаю, не знаю. И дети как? Я и в деревне-то не живала, мне и печь не истопить, тебя опозорю.

— Сестра и брат у меня там, очень душевные. Зовут. — Николай Иванович разволновался. — Корову сестра держит, картошки прикупим к зиме...

— Ты хоть расскажи, как съездил, как с Алексей Ивановичем убрались.

— А все, Вера, по-прайски, как Рая говорит, все по-прайски.

Утром они выехали. Всех вещей у них было две сумки. Оставили Кате Липатниковой доверенности на получение пенсий, адрес. В автобусе у Николая Ивановича нашлись даже знакомые. И пока они тащились от остановки до дома, Рая уже знала, что они приехали. Бежала навстречу.

— Дайте хоть мне на сношеньку поглядеть, — запела она, обнимая Веру, отнимая у нее сумку. — Скоро у нас свой колхоз будет, ведь Нюра ко мне перебралась. К зиме Арсеню трактором вытащим, Колю — председателем, тебя, Вера, по знакомству...

— Рядовой ее, рядовой в бригаду, — пошутил Николай Иванович.

Рая и Вера сошлись в первый же день. В первые же минуты открылось, что обе знали Дусю Кощееву, как раз ту, которая ходила с Николаем Ивановичем на Великую, была сама святопольская, но отчего-то ему не открылась, а сказала Рае. Да и не была уверена, хотела проверить. Да и попросту стеснялась старчика.

— Вот ты какой у нас, — корили Николая Ивановича и Вера, и Рая.— Одним видом запугиваешь старух.

В избе Рая развернула куски обоев, бывшие у нее, а на потолок — показала купленные в магазине, списаные портреты. На хорошей, лощеной бумаге, чистые с изнанки, они очень годились.

Провозились с оклейкой два дня.

— Успешь-то не та уж, — говорила Вера. А сама, по ее годам, работала сноровисто, «у́спешь» у нее была больше Нюриной.

Крепко выручила Ольга Сергеевна, учительница. Привела всех своих детей: Аню, Лену и Сережу, двенадцати, восьми и пяти лет, и все дети до единого были помощниками. На них прямо налюбоваться было невозможно. И Вера, и Николай Иванович вечером долго говорили именно о них.

— Меня вначале дичились, — говорил Николай Иванович. — Потом Сережа первый осмелел и Леночка. А уж Аня старается казаться взрослой. Золотые дети, золотые, вот какая у меня племянница.

В избе пахло клейстером, глиной. Это Рая еще обмазывала и печь, которую наутро затопили.

— Не поверишь, отец, — говорила Вера, — впервые печку топлю. Ты как в городе сказал: поедем, — я первым делом сижу и думаю: ой, печку не смогу топить. Слава Богу, смогла.

— Хозяйку чувствует, — Николай Иванович коснулся плеча Веры. Она даже вздрогнула.

— Ох уж, хозяйку. Пятьдесят бы лет назад.

Печка все-таки сильно дымила, оба наплакались. Но потом кожух прогрелся, пошла тяга, и до того жарко натопили, что спать в избе не смогли; спали: Николай Иванович — в сенях, Вера — в клети. Рая принесла пологи от комаров. Принесла вечером и все не уходила, все говорила и говорила.

— Рая, — осторожно спросил брат. — Ты устряпалась?

— Почти. К утру еще овсяные хлопья замочить, а так-то все, табор свой накормила, не орут. — Табором Рая называла хозяйство во дворе, домашних животных; корова, например, у нее была Цыганка, бычок — Цыган, по причине черной шерсти, от них и остальное население двора, овцы и поросята, причислялось к табору. — Кур надо вам завести, вот что сделаем. Сейчас с комбикормом полегче. Я бы завела, но дома меня по целым дням нет, а они такие, что в любую щель пролезут. И орет, и перья дерет, а лезет. А то приехал из района умный один и упрекает: почему это петухи не поют, почему это не поют, вам правительство идет навстречу, вам разрешили не умирать, питаться разрешили с одворицы, а петухи не поют.

— Так и сказал: разрешили не умирать?

— Это уж я сама.

— Я, Рая, вот почему спросил про хозяйство. Сейчас надо на вечернюю молитву становиться, так ты, может быть, с нами? Ежели в тягость, то не надо.

Рая посерьезнела, оглядела себя.

— Ой, уж больно я по-домашнему.

И осталась.

Затеплили в красном углу лампадку. Встали.

— Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа, — начала Вера.

— Аминь! — затвердил Николай Иванович.

И, не отступая ни на шаг, по полному правилу, стали читать вечерние молитвы. Рая отстояла до конца, вслушиваясь и крестясь, а последнюю «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его» — она даже почти вспомнила. И девяностый псалом, который в народе называют «Живые помощи», тоже вспомнила. Когда закончили, Рая призналась, что ноги у нее маленько устали, но тут же изумленно спросила:

— И это, брат, вся твоя вина? — Уж, конечно, поговорили они с Верой эти два дня, уж, наверное, Вера порассказывала, какие казни выдерживал Николай Иванович. — А помнишь, Коля, мама становилась на молитву, я вслушивалась, маленькой была, она торопливо шепчет, вот только «Живые помощи» чаще другого говорила, я более-менее затвердила. А ее просила, она меня боялась приучать, боялась, что и я, как ты, — Рая запнулась, подыскивая слова.

— Боялась. — Николай Иванович посмотрел на фотографию матери, помещенную — вместе с фотографиями отца, Гриши, его самого, еще довоенную, Арсени с Нюрой и детьми, Раи — в одну рамку, под одно стекло. — Боялась. За детей.

— Как не боялась. По домам ходили, иконы выбрасывали, а то прямо в доме рубили. А печка топится — то и в печку кинут. Мама эти вот иконы спрятала, а был Чернятин, зональный парторг, тогда зональные МТС были, он над людьми дикасился, не человек, а облигация, ходил с гаечным ключом, прямо ключом по иконам, черт рогатый, сгнил уж, конечно, нисколь его не жалко. Пришел к маме: если бы, говорит, не Гришка, ты б, говорит, у меня загремела. И что лютовал, за какие привилегии? Потом на Гришу похоронная, так еще хорошо, что похоронная, а от тяти ничего. Чернятин ходил, нюхал: чего муж пишет? Спасибо почтальонке, он и ее спрашивал, и ее сексотом хотел сделать, спасибо ей, тетя Поля Фоминых, в следующий раз могилу покажу, ему тетя Поля никогда не выдавала, что от тяти ничего нет. А то бы узнал, что про тятю и мы сами не знаем, еще бы как-нибудь издевался. «Мать тюремщиков!» — кричал на маму.

— Ее зимой хоронили?

— Зимой. Сосед-кладовщик могилу делал. Мы еще тогда не соображали, что это он Арсеньку посадил, а он как вроде вину искупал.

Утром прибрел Степан из поселка. Сидел, попил чаю, снова долго сидел, потом спросил Николая Ивановича:

— Так ты меня и не признал до сих пор?

— Нет.

— Как же? Подумай.

— Нет, Степан, не та голова, не вспомнить. Что знаешь, скажи.

— Как же! Мы были из высланных, один я остался. Из западных украинцев, ну, вспомнил? Западэнцы? Тебя из-за нас взяли.

— Ну, что ты, Степан, что ты, Бог с тобой, как же из-за вас. Я сам отказался служить, сам и страдал. Ты на себя не греши. — Николай Иванович даже очки нацепил, приблизился к Степану. — Нет, не признаю. Может, у тебя есть карточки довоенные?

— Я тогда зовсим малэньким хлопчиком був, ты и не запомнил.

— Був хлопчиком, а дывысь, яким старичиной вытянул, — улыбнулся Николай Иванович. — Я с украинцами сидел, погода там была дуже хмарна. Нет, Степан, не виноваться. И много вас теперь? Вам ведь, я слышал, разрешили вернуться.

— Разрешили, а кому возвращаться?

— Вера! — зашумел Николай Иванович, — ты нам чайничек взбодри, мы тут по случаю встречи еще по чашке ошарашим.

Весь вечер сидели, вспоминали.

— Я и сам не могу понять, как к вам прибился, — говорил Николай Иванович. — Я, Вера Сергеевна, почему к сектантам пришел, спроси, не знаю. Потом я всяко думал. Мать боялась, в церковь не пускала. Тайком от нас молилась. В комсомол я не зашел, я как-то стеснялся даже слово на людях сказать. А почему так, не знаю. Думаю, ко-

нечно, было б как раньше, разве б случилось. То есть стала молодежь больно озоровать, матерщина пошла, над всем старым издевались, стариков прекратили уважать, тут «рыковка», тут папиросы «Трезвон», тут частушки: «Сами-сами бригадиры, сами председатели, никого мы не боимся, ни отца, ни матери!», как жить? Причем всё убивали, надо всем издевались, а называли всё счастливой жизнью и приказывали радоваться. Какой-то обман получился. Когда Ленин Николая заступил, другое обещали, обещали великую Россию, а какая великая, когда Богу молиться нельзя. Девушек я дичился, и в них бес вступил, волосы поотрезали, кричат: мы на небо залезем, разгоним всех богов. Страма, страма! Ваш староста меня и пригласил. Он так уважительно, так сердечно позвал. Я еще оттого пошел, что жалели высланных. Сильно-то боялись с ними сходиться, а жалели. Это для Украины Вятка — ссылка, а вятских гнали куда еще позадиристей, наши в Нарымский край попали, да и там, христовеньким, жить не дали. Только отстроятся — опять. Я в лагере одного земелю по говору узнал, его под пятьдесят восьмую за то, что там свой дом выстроенный поджег. Ну, вот. — Николай Иванович передохнул, поглядел на Веру, как бы сказав ей, что ничего, ничего, не волнуйся, мне эти воспоминания не во вред. — Во-от, — протянул он, — пригласил ваш староста. И мне очень понравилось. И стал ходить. Много ли я понимал, хотя по тем временам семилетка как нынче институт, но в части души тогда многие заблудились. Тут хожу, слушаю: всякое дыхание славит Господа, как хорошо! Комара не убивать, к оружью не прикасаться.

— Уж теперь-то комара убьешь, — улыбнулась Вера.

— Глаза открылись — и фашиста бы убил. Разве Арсеня сам упрекает, что за меня погибли отец и Гриша, это через него от них упрек. В том же Писании: «Нет большей любви, чем умереть за други своя», от Иоанна, глава пятнадцать, стих тринадцатый. И случай был. В конце сорок первого и начале сорок второго по лагерям прошла вербовка на фронт. «Смыть кровью преступление», — так говорили. В армию к Рокоссовскому. Я хотя был без права переписки, но понимал, что Гриша воюет. Про отца почему-то не думал, он мне сильно в годах казался... а теперь вот я его в два раза почти старше. Вот. Я к оперу: запишите. А оказалось, что политических и верующих, нас называли сектантами, не записывали. Вот до чего дошло — уголовниками стали закрываться, а Богу все равно не верили. Я прошусь, а опер издевается: «Сопри хоть чего-нибудь, — говорит, — будь человеком, сопри хоть рукавицы», — у меня-то, конечно, давно стащили, без рукавиц гоняли. А ничего: Богу помолюсь и как-то не обмораживался.

— А зачем он учил воровать? — спросила Вера. Она впервые слушала Николая Ивановича, чтобы он рассказывал о заключении.

— Чтобы перевести в уголовники, а из них пойдешь, мол, раз так хочешь, на фронт. Разве я украду? — Николай Иванович поскреб ногтем какое-то пятнышко на столе, Вера вся напряглась. — Как знать, может, и надо было, только он непременно делал мне в издевательство. Опять бы обманул. Когда понял, что меня никакими парашами не унизить, никакой работой, просто бил. Господи, прости ему, конечно, теперь уж он неживой. Именно это он и выбивал, чтоб я осердился или взбунтовался. Кричит: «Не верю, что можно за врагов молиться! Значит, ты, гад такой, за Гитлера молишься? За Сталина, гад, молись!»

— Не надо, отец, не надо больше, не вспоминай. Степан, еще чашечку выпьешь? — спросила Вера.

— Прости меня, брат, — сказал Степан, вставая и в пояс Николаю Ивановичу кланяясь. — Прости, брат во Христе, прости.

— И ты, Степан, прости, — Николай Иванович тоже поклонился. — А скажи, Степан, староста Марк Наумыч, он здесь похоронен?

— Нет, на Львовщине. Ему после войны, по инвалидности, разрешили уехать. Я стал было за себя хлопотать, но тут, тут... долго рассказывать, остался один. Так и живу. Хожу над усопшими псалтырь читать. Здесь народ хороший. Я гляжу, шо я не лишний, мне то и в радость. А як занедужу — меня старушки вызволяют. То меду несут, то сметаны, то ще чи шо.

— Старухи у нас всех лучше, старухами все держится, — сказал Николай Иванович. — Взорванную часовню мы расчищали, ревут, а камни таскают, тяжелей себя.

13

На неделе пожаловал высокий гость, председатель сельсовета Домовитов. Уважительно поздоровался, представился, огляделся.

— Это вы молодцы, что дом сохранили. Снаружи вовсе плох, а изнутри красота. Когда Раиса Ивановна выстроилась рядом, я думал, этот дом на дрова пустит, а она как знала, для брата уберегла. Только надо, Николай Иванович, оформить отношения с сельсоветом. Вы пенсионеры, вам это легче по закону. Вы сейчас где прописаны?

— Были на ведомственной площади на заводской, но думаем, к старости лучше здесь. — Это Вера успела вперед Николая Ивановича. Ну, правильно, он так же бы объяснил.

Домовитов от чаю отказался, просил зайти в сельсовет с паспортами, вдруг, чего-то вспомнив, остановился:

— Только, Николай Иванович, этот дом придется вам покупать. У Раисы Ивановны нет права собственности на два дома. Этот мы числим за сельсоветом.

— Но вы сказали, что Рая хотела этот дом раскатать на дрова.

— Раскатала бы — другой разговор. Но сейчас это не дрова — жилая единица. Да вы не волнуйтесь, он подходит под все уценки и списания, он и будет по цене дров, рублей триста. Одворицы, как не членам совхоза, не полагается, но сотки две-три берите, больше вам не обработать.

Вот такой был заход высокого гостя. Собственно, он был прав и как раз хотел, чтоб все было оформлено по правилам. Но где триста рублей взять?

— Эка беда, отец, — сказала Вера, — а смертные-то мои? Я на старости лет воспрянула, так пожалею ли последние?

Взяли они Верины деньги и пошли на другой день в сельсовет. Но вот какое известие ожидало их — Домовитов показал предписание: «Чудинова Н. И. перепроводить в Кировское райотделение МВД Вятской области».

С оформлением дома получалась оттяжка.

— Не езди, — советовала Вера. — Не езди, и все тут.

Она отлично знала, зачем вызывают. Николая Ивановича приплели к одному случаю, к выносу с территории олифы и краски. Собственно, с территории можно было утащить не только олифу и краску, но и саму территорию, ибо забор был таков, что непонятно иногда было, где территория, а где остальное пространство. Вдобавок надо было доказать, что вынесена краска в дежурство Николая Ивановича, а не его сменщика. То есть Николай Иванович ни сном ни духом не помышлял, что он здесь при чем-то. Но вот припутали. Может быть, — а, может быть, и не может быть, а точно, — следователю хотелось притянуть именно Николая Ивановича? Еще за ним тянулось дело о хулиганстве, да, да, о хулиганстве. Но это уже по линии Шлемкина, это за последний поход, когда Николая Ивановича схватили, затолкали в машину и на него же написали протокол, что оказывал сопротив-

ление представителям власти. Какое? Когда схватили его рюкзак и высыпали кусочки на дорогу, и он спросил: «Или вы голодные? Так возьмите, ешьте». Это — сопротивление? Но написано черным по белому: оказывал сопротивление. Поди, докажи, что не оказывал. Вызывали, допрашивали, передали на административное взыскание. Да и то тыщу раз подчеркнули, что это из особой милости, из того, что его года преклонные, а так бы закатали куда следует. И все тыкали носом в судимость. «Давно она снята», — говорил Николай Иванович. Оказывается, нет, не снята. Реабилитируют политических, а насчет верующих указа не было. «Пиши, добивайся». Николай Иванович написал. Пришло для принятия мер в облисполком к... Шлемкину. «Я те попишу!» — сказал он. Теперь вот добавляют к хулиганству и воровство.

— Поеду.

И поехал. И Веру, сколь ни просилась, не взял.

Этот следователь оказался человеком хорошим. Еще молодой, с усиками, много курящий, чем заставлял страдать слабые легкие Николая Ивановича, он долго листал тощее дело спереди назад и сзаду наперед, а потом спросил:

— А кто так вашей крови жаждет?

— Этого я не знаю.

— Знаете. Я могу вам одно сказать: того, кто выносил, я нашел. Вернее, он нашелся сам. Я взял это дело как прицеп к другим, у нас этих краж, если б мы только их и разбирали, нам бы за тыщу лет не расхлебать, взял и в конторе, в обеденный перерыв, спросил о вас. Сказали, что вы уже не работаете. Сказали, что с вами поступили очень несправедливо. Еще сказали, что легче поверить, что камни с неба валятся, чем поверить в то, что вы могли что-то взять. Это женщины в бухгалтерии. Далее. Тут заявление одного, фамилию не скажу, он человек не конченый, потому что именно он вначале написал на вас заявление, а потом сам мне признался, что написал по наущению. Но кто наущал, очень просил оставить в секрете. Поэтому я и спросил: кто же так жаждет вашей крови?

— А как имя этого рабочего? Только имя?

— Имя? — следователь покосился в бумаги. — Павел. — И догадался: — О здравии хотите свечку поставить? Правильно. Не хватило бы у него совести, пришлось бы вас помытарить. А что, Николай Иванович, можно личный вопрос? Вы в Бога продолжаете верить?

— Не только продолжаю, но все более укрепляюсь в вере. И в каждом дне вижу Промысел Господа, — Николай Иванович перекрестился, хоть и не на что было креститься в Кировском райотделении.

— Веровали бы все, никаких бы краж не было! — Следователь отодвинул от Николая Ивановича пепельницу.

— А все и верят. Только не все об этом знают.

— И я верю?

— И вы.

— Н-не знаю, — недоверчиво протянул следователь. — Пожалуй, я по многим параметрам неподходящий. И курю, и бывает, что матерюсь, а иногда такое дело ведешь, такую грязь, недавно было расчленение трупа, такое дело достанется, что только и остается рвануть стакан без закуски, чтоб напряжение снять.

— Молитв не знаете, вот и мучает вас лукавый.

Следователь зачем-то взглянул на сейф, потом на Николая Ивановича.

— У нас, знаете, как вас прозвали?

— Знаю. Сусаниным.

— Да. Вот я и связываю эту краску и ваши походы на Великую. Или нет связи?

— Есть, — сказал Николай Иванович. — Могу сказать, что знаю — кто.

— Н-ну, хорошо, Николай Иванович. Распишитесь мне на память — и с Богом. И еще вопрос: а того, кто над вами издевается, вы пишете о здравии, свечку ставите за него?

— Да.

— Хм! — Следователь протянул руку на прощанье. — Тогда уж и за меня поставьте, не сочтите за труд. А особенно за жену мою Татьяну. Никак ребенка не может родить. Болеет и болеет. Татьяна.

— А вы крещеные оба?

— Этого не скажу. То есть, — улыбнулся следователь, — не то что я скрываю, а не знаю. Мы же, знаете, как вырастали: вперед и выше!

— Есть молитвенное воздыхание супругов о деторождении. Только для этого надо быть крещеным и венчанным.

Следователь развел руками.

Ночевать Николай Иванович хотел в общежитии. Но его решительно заарестовала Катя Липатникова. Спорить с нею было бесполезно. Входящая в церковную двадцатку единственного в Вятке храма, она этим очень гордилась, она была воинственно набожна. Именно так она и говорила: «Воинственно! Было общество воинственных безбожников, пришла пора воинственных верующих». Она непрерывно впадала в грех осуждения, но этого себе в грех не ставила. Ходила на Великую ежегодно, несла всегда самые тяжелые хоругви, цепляла на плечи мешки тех, кто послабее, иногда и на себе перетаскивала старух через грязи и топи. Голос ее был громогласен. Она заявила, что Вера оказалась похитрее ее, увела к себе старчика. А ведь у Кати Липатниковой была своя квартирка, хоть и маленькая, а отдельная. Все в ней было чисто, устелено половичками, все блестело. Образа в дорогих, сверкающих киотах и старинный, высокий угольник — составной трехэтажный киот в переднем углу Катя Липатникова завещала в Великорецкий храм, когда его вернут верующим. «Вернут, и с поклоном вернут!» — пророчила она.

Они близко познакомились с Николаем Ивановичем как раз тогда, когда ломали церковь Федоровской Божией матери. То, что она не погибла вместе с церковью, Катя Липатникова простить себе не могла. Шлемкин, тогда совсем молоденький комсомольский работник-активист, записал Липатникову в сумасшедшие, еще бы не сумасшедшая: плюет в глаза представителям власти, именует их иудами, сатанятами, чертями, а они при исполнении. Тогда Катя Липатникова кричала: «Пойдем, бабы, внутрь, пусть нас вместе убьет!» И всегда потом громогласно винила и себя, и баб: вера ослабла, и церковь упала. «Восстал народ на народ внутри народа», — кричала она. Катя говорила, что ей было явление Трифона Вятского преподобного. «Пришел под утро, стоит, на батожок навалился. Покачал головой, сказал: «Пустует храм, откроется храм перед концом света. Но церковь восстановите — спасетесь. Кому церковь не мать, тому Бог не отец», — так сказал. Еще сказал, что не Бог будет судить, а будет судить совесть, Бог будет только печати ставить, утверждать. И все живыми будут на суд приведены».

Это именно бесстрашная Катя Липатникова входила в любые кабинеты, требуя свободы совести. Шлемкин от нее просто бегал. Давал указание священнослужителям укоротить Липатникову, а те, зная характер прихожанки, говорили о Липатниковой Николаю Ивановичу. Ибо только Николая Ивановича она могла послушаться. Могла. А могла и не послушаться. Она гордилась тем, что «звон отхлопотала», добравшись до оч-чень высокого начальника, изумив его сравнением с...

петухом. Да, именно так. Сказала: «Петух — и тот поет, Бога славит, а какая у него голова, маленькая, а у тебя, посмотри в зеркало, у тебя голова поболе петушиной, должен понимать, что в церкви должны быть колокола. — Еще добавила: — Суворов вон какой умный, почему? Александр Невский почему тевтонов расхвостал? Донской Димитрий почему навеки славен? Кутузов почему негасим для потомков? В Бога верили! Неужели ж ты их значительней? Кабинета у них такого не было, это точно, а в остальном ты кто?»

Так что Шлемкину оставалось одно: считать Липатникову ненормальной и тем оправдывать свое перед нею бессилие. Но ведь и священники терпели от нее: она знала все службы всем святым на все дни, попробовали бы они какую-то запятую пропустить. «Я — маленький человек, темная я, но ежели такие великие люди, как (следовало перечисление Мономаха, Калиты, Невского, Донского, Суворова, Кутузова...), если они веровали, то мне, пыли и грязи человеческой, как не веровать?»

Сейчас она привела Николая Ивановича к себе, попыталась его разуть, но Николай Иванович сумел это сделать сам. Катя ходила из кухни в комнату, голос ее гремел:

— Они, ироды содомовы, думают, что если в крематорий ныряют, так от Суда уйдут, — ждите! Я до них и на том свете доберусь, я их там всех перебуровлю. Я тебя одного к этому Льву Ильичу больше не пущу, что это такое — орет на тебя, а ты, голубь, из ковчега излетающий, молчишь и терпишь.

— Бог терпел и нам велел.

— Где? — грозно вопросила Катя, — где сказано — терпеть? Ударят по правой щеке, подставить левую, так? Так! И Писания я слушаюсь, и смиренно подставляю. Но где сказано, что снова и снова подставлять, где? Не мир, но меч! Семьдесят лет Вавилонскому плену миновали, надо укрепляться! — Тут же Катя сменила голос и позвала Николая Ивановича за стол: — Прошу, Иваныч! Теперь красота гостей приглашать — Успенский пост. Нету мяса, и не взыщите, нету масла, и не надо. Дураки наши руководители, им в руки плывет руководство страной, они отпихиваются. Пост — дело государственное. А то они дождутся: три дня рабочим хлеба не давать — и любое правительство с любых подпор слетит. Иваныч, да что это такое — у них будто голова в желудке, брюхом думают, душу вытеснили, нехристи!

И за столом Катя несокрушимо воевала со Шлемкиным и другими нехристями и наставляла Николая Ивановича, как ему жить.

— «Я вам добра желаю, — кричит, — я, я!» Говорю ему: я — последняя буква в алфавите, стоит нарасшарагу, ты, говорю, хочешь и начальству угодить, и с нами покончить, но трус ты последний, говорю. Меня запугать! — Катя показала свои отнюдь не старушечьи ручищи. — Мне под восемьдесят, и меня запугать! В его годы я по кедрам как белка бегала. Залезу на кедр и ногой по ветвям топаю, шишки отряхиваю. Раз сорвалась, но на мне была мужнина гимнастерка со значком Осоавиахима, она зацепилась и выдержала. Это было второе крещение, когда я сорвалась, я в ту секунду взмолилась святому Николаю, он спас. А тонула! А с воза падала! Так какие же у меня страдания, да у меня их не было, меня всегда Бог спасал. И муж мне от Бога достался, Федор Ондреяныч, не пьяница, песельник. Все за столом напьются, а он поет и поет. Песен знал! За меня его таскали, за меня его не повышали — жена в церковь ходит, в церкви поет. А он меня любил, мы тайно венчались. А у сестер у всех мужья пьющие. И всех я сестер похоронила, и Федор Ондреяныч мой, песельник, в чужой земле... — слезы пробрызнули на ее глазах.

Николай Иванович коснулся плеча Кати. Старуха подняла на него

мокрые просветлевшие глаза, стала пододвигать ему тарелочки с сухариками и сушками. Потом все же договорила:

— Муж был у сестры, он живой, Вася. Зять мой. Похоронил сестричку, она у него рано опочила. Он сам говорит: она у меня работала как трактор. И он после нее уже три раза женился, и все наперекосяк, все горшок об горшок, и опять: не трожь мои куклы, я с тобой не играю. Сивый уже весь, выпьет — по сестре моей плачет. Спрашиваю: «Трактор жалко, работать на тебя некому?» Нет, говорит, на лавку бы посадил, за водой бы сам ходил, лишь бы жила. И ревет, и ревет. Я его приучила писать памятки, так стал ходить, поминать. Кто меня слушает, тот спасается, сейчас вот внучкой, Настей, займусь.

Потом Катя снова вспоминала, как ходила в горисполком требовать колокольный звон:

— Говорю: я в человеческом городе живу или в пустыне? Говорят: в городе. Нет, в пустыне: нет колокольного звона, как это может быть, а? Нехристи! И креста боятся, и звон им ненавистен. Трясутся от страха, а думают — от негодования. У! Иваныч, Иваныч, дураков-то сколько я видела! Ты сердцем другой, чем я, ты страдальцев видел, а я дураков. Вон сколько всей земли, копай ее. Копай, копай, много ли золота найдешь.

После чаепития Катя как-то резко сменилась в лице, как-то сконфуженно и просяще посмотрела на Николая Ивановича:

— Я ведь, Иваныч, в свои места родные ездила...

— На могилки?

— На какие могилки? На пустыри! — воскликнула Катя и вытащила из кармана черного платья сложенные листки и опять чего-то застеснялась. Николай Иванович, помогая, протянул руку, но Катя свою отдернула и тут же повинилась: — Да, прочти это, прочти. Но прежде прости меня, дуру неграмотную. Это ведь стихи, Иваныч, согрешила на старости лет. — И заторопилась: — Поехала в свои места, дай, думаю, пока ноги ходят, тем более после Великорецкой. Поехала. Район был Просницкий, сейчас Чепецкий, там я до войны возрастала. Все сплошь знала, всю округу, всех мужиков, которые на войну ушли. Да ты все поймешь, я не стерпела, как все узнала, сердце не стерпело, а может, запись моя негодна, то выбрось. Я не смогла, чтоб их фамилии не записать. Они там погибли, а их деревни здесь погибли, я это выразила.

Отдала листочки и тут же ушла.

Николай Иванович хотел было надеть очки, но Катин почерк был такой крупный, что читалось легко:

«Название «Солдаты из загробного мира»

Вятские парни хватские.
в увольнение решили сходить,
деревни свои и родных навестить.
Поездом быстро домчались,
на родной земле оказались.
Как и раньше бывало,
с разъезда, с Каныпа, пешочком всегда ходили,
к женам, детишкам домой с покупками спешили.
Пошли земляки по тропинке гуськом.
Шаклеин сказал:
«В нашу деревню Прокудино мы попадем».
Шли земляки, быстро шагали,
но тропинку совсем не нашли, потеряли.
Ночь, ничего не видать,
пришлось напрямую шагать.
Шли, спешили.
«Шаклеин Иван,
мы вашу деревню, вероятно, проскочили».
«Не тужи, браток, правей возьмем,
в деревню Сунгоровцы мы попадем».
Километр за километром отмеряли,

вроде деревня стоит впереди, увидали.
«А ну, Востриков Сашка, в разведку шагай,
в хату родную нас приглашай».
Пошел Востриков, а деревни нема,
только стоят березы да тополя.
«Хлопцы, влево немножко свернем,
в Боньдю родную мы попадем».
Смотрели вперед, смотрели назад,
а деревни опять не видать.
«Что ж, друзья, совсем заплутали,
деревни свои потеряли?
А ну, давайте вправо по плану возьмем,
в деревню Пихтовец сейчас попадем».
Лес перешли,
в гору взошли.
«А ну, Метелев, вперед шагай,
в избу нас приглашай».
«Да, местность моя,
поля, перелески, луга,
а где деревня, друзья?»
«Подожди, Метелев, землик, —
Князев ему говорит, —
наша деревня на угоре стоит».
Но только рябина с черемухой стояли,
словно солдат ожидали.
«Братцы, товарищи, влево возьмем,
в нашу большую деревню Векшинцы мы попадем.
В два этажа школа наша стояла,
речка Филипповка у нас протекала».
«А ну, Поскребышев, вперед иди,
в избу нас зови,
кваску бы не против напиться,
немного хоть подкрепиться».
Кругом осмотрелись — деревни нема.
Что за холера, что за чума?
Неужели прошел ураган,
все до бревнышка в речку скидал?
А может, и здесь Гитлер-зверь сумел делов натворить,
наш народ вагубить?
«Нет, братцы, жена мне писала,
что немцев в глаза не видала,
а вот поляков пришлось повидать,
вместе пришлось работать,
грешным делом церковь в Поломе ломать.
Деревья, леса целы,
не было здесь ни бури, ни войны».
Под гору к речке спустились,
воды напились
и по речке пошагали,
в деревню Мальчонки идти загадали.
Место нашли, где деревня была,
пусто кругом,
хоть один бы дом.
«Эй, бойцы, начинает совсем темнать,
надо на ночлег попадать.
Наша деревушка была мала,
пусть мала, да зато весела,
гармошки чинили, весело жили».
«Давай, Рязанов, твой черед,
шагай вперед».
Видит Никола — местность гола,
сиротинки стоят тополя,
да старая ива жива осталась,
которая прямо в окно приклонялась.
И речка Сырчинка так же текла,
такие ж угоры, поля,
но исчезли деревни твоя и моя.
«Токарев Иван, твой черед,
иди вперед,
на гору взбирайся,
где твой дом — разбирайся».
«Братцы, и у меня один тополь стоит,
только листвой шелестит».
И опять земляки шагали,
шаг за шагом километры мелькали.

«А здесь стоял небольшой хуторок,
звали его Помелок,
но нет его, кругом тишина,
только качаются береза да сосна».
«С речкой Сырчинкой надо прощаться,
в Пантюхино будем добираться».
Лес перешли, полем шагали,
по дороге обо всем рассуждали:
как пахали, сеяли, косили,
друг ко другу на престольные ходили.
«А ну, братцы, ура, деревня моя,
избы стоят,
три огонечка горят».
Пантюхин вперед пошагал,
избы своей не узнал,
в окно постучал:
«Здравствуй, хозяйка, я Пантюхин Иван,
что ж, не узнала?»
«Нет в деревне у нас мужиков», — она отвечала,
и побыстрей дверь на засов запирала,
а сама к окну пошагала,
вслед смотрела, солдат провожала.
«Земляки, в километре деревня Огарыши должна стоять».
Но нет ее, не видать.
«А где же наши любимые женушки,
наши детишки, наши внучата,
милые красивые наши девчата,
когда нас на войну провожали,
любить и ждать обещали.
За тысячи верст мы к вам пришли,
но никого не нашли.
А помните, братцы, как друг друга мы хоронили,
слезы лили, как же нас они позабыли?
Ах, родные, вы же в наших сердцах дорогие!
И никто никогда не узнает о нас,
где мы жили, где наши деревни стояли,
за что же тогда мы воевали
и смерть в чужой земле принимали?
А ну, братцы, в строй становись,
любимой вятской земле поклонись!
Мужайтесь, солдаты, в часть доберемся,
во всем разберемся!»
Низко головы солдаты склонили,
на небо молча они уходили...»

Николай Иванович отложил листочки и услышал, как Катя теперь уже громко всхлипнула и высморкалась.

— Я бабам читала, ревмя ревут, — сказала она не без авторской гордости. И объяснила: — Это я все исходила, все тропиночки, вот уж горе так горе. Стою под конец у бывшей своей деревни, а туман, такой ли белый туман, и вот носится, кругами ходит над деревней огромная стая голубей белых. Я так и думала — голуби, перекрестилась, вот, думаю, в воспоминание душ загубленных летают, а ближе-то подлетели, я и села и ахнула: вороны, сплошь вороны. А сквозь белый туман и они белыми казались. Та́к нам, Иваныч, вместо голубочков вороны над нами летают. Так я пеньком и сидела, и сколь просидела — не знаю, там и начала шептать вот это, будто от имени солдат. Потом записала. Ак дочитал, не отбросил?

— Дочитал, Катя.

Как ни возражал Николай Иванович, Катя постелила ему в комнате, сама долго гремела на кухне. Мало того, кроме лампады Катя затеплила перед угольником большую свечу. «Ради дорогого гостя. И не вздумай экономить!» Так и засыпал Николай Иванович под Катины молитвы и глядя на мерцание желтого огонька свечи и голубенького — лампады. По потолку, как зарницы по небу, продрагивали светлые пятна, отраженные от начищенных окладов.

И утром Катя Липатникова не отстала от Николая Ивановича.

— Я тебе одному не доверю пойти к этим прохиндеям, — это она

говорила о мастерских по производству надмогильных памятников. — Банные обдерихи, да как они геенны не боятся?

Николай Иванович даже пожалел, что рассказал ей еще об одном своем заделье в городе — заказать памятник брату. И верно, пожалел, — Катя, все не все, а половину дела испортила. Во-первых, было дорого. Но это-то как раз от мастеров не зависело: до́роги гранит и мрамор. «Конечно, — стала шуметь Катя, — сколь кладбищ разворотили, нажились, нехристи!» — «Кто, мы воровали?» — спросили мастера. Во-вторых, памятников с крестами и в виде крестов мастерская не делала. Они показали образцы. «Руки отсохли сделать крест?» — воспросила Катя. «Не отсохли, а не имеем права». — «Покажите бумагу!» — потребовала Катя. Показали. «Черным по белому, читайте, мамаша!» — «Сам читай, помоложе глаза, чать!» — «Пожалуйста: «...производить согласно образцов и описаний». Вот, мамаша, образцы вам показывали». — «Вы же не только неверующих хороните». — «Хорошо, вам признаемся по секрету: когда делаем из мраморной крошки с цементом, то многие заказчики просят внутрь заливать кресты. Иначе не позволяют».

Катя плюнула, обтопала свои ноги в больших парусиновых туфлях, еще довоенного образца, и повлекла к выходу Николая Ивановича.

Но Николай Иванович все-таки оформил заказ.

До самого вокзала, до самой электрички проводила Николая Ивановича Катя Липатникова. Билет не дала купить, сама купила. А на самое прощание сунула в руки сверточек. «Развернешь по дороге». И уже совсем было повернулась, как, не утерпев, спросила:

— Вера там, конечно, в передовые доярки поступила?

— Какие доярки — вся больная.

— Это я вся здоровая! — высказалась Катя Липатникова.

Они перекрестили друг друга.

А подарочек у Кати был такой дорогой, что и не высказать. Кроме овсяных лепешек на растительном масле был в свертке тщательно завернутый набор открыток — виды Вятки начала двадцатого века. И не просто виды, а именно праздник Великорецкого Николая Чудотворца. И все было снято и описано. Отец Геннадий много рассказывал о крестном Великорецком ходе, празднике, ярмарке, он сам хаживал с богомольцами. И теперь его рассказы наложились на изображение. Не меньше десятков тысяч было участников — вся река была в лодках, пароходах. На центральном, «Святителе Николае», везли Чудотворную икону. Хоругви изо всех церквей, а было их в городе, кроме многих и многих соборов и монастырей, числом до сорока, хоругви неслись при торжественном благостном пении. В особых парадных костюмах шло духовенство, при полном параде выходили войска, выводили военные оркестры. Передача иконы на «Святителя» происходила с особой, расписанной по-старинному ладьи. На ней стояла часовенка. Гребцы, в красных шелковых рубахах с голубыми перевязями через плечо, дружно взмахивали золотыми веслами. Ладья неслась по Вятке, только что не взлетая, так была похожа на птицу. Чудотворную носили по заречным селениям. Шестерки лошадей потом привозили в Вятку сундуки с медными грошиками. На эти деньги строились новые церкви, подновлялись старые, приводились в порядок кладбища. И во все время крестного хода на колокольне Богоявленского собора, как бы отмечая размеренный шаг богомольцев, следовавших к месту обретения иконы, бил и бил колокол. Шумела Великорецкая знаменитая ярмарка, не уступавшая по размаху нижегородской Макарьевской.

Рассматривать открытки и читать подписи пришли к Николаю Ивановичу и Вере Рая и вдова Нюра с Селифонтовной. Вдова Нюра просто сидела поодаль и покачивала головой. Рая потихоньку сказала брату, что Нюра путает ее дом со своей комнатой в бараке и все говорит: «Зачем это Алеша окно переставил?» Николай Иванович рассказывал об иконе те чудеса, что дошли в летописях о Вятской стране. Икона была обретена вскоре после Куликовской битвы, при великом князе московском Дмитрии Донском. Крестьянин увидел, что от сосны исходит странное сияние, золотое свечение. Он ехал за сеном. И когда ехал обратно, вгляделся пристальнее: сияние исходило от иконы. Он привез ее домой, даже не подозревая, что икона чудотворная. А открылось так. Был другой крестьянин, лежавший в немощи двадцать лет, и ему в видении открылось, чтобы он шел помолился именно этой иконе. Первый раз он не поверил, послушался второго раза. Его принесли на носилках, а обратно он шел сам.

— И ходили каждый год, — рассказывал Николай Иванович, — а в 1552-м по нераденню не было Великорецкого похода, и на вятскую землю обрушились беды — снег и град шел в июне и в июле. И с тех пор ходили неотвязно. Было дважды хождение в Москву с образом святого Николая Великорецкого, первый раз при Иване Грозном. Как раз строился собор Покрова на рву, то есть будущий Василия Блаженного. Принесли наш образ, нашего Николы. Вдруг такое дело: оказывается, одна из церквей собора не определена, то есть какой будет престол? И решили: Николы Великорецкого! Вот веды! — Николай Иванович прервался. — Тут уж все мы не молоденькие, а хотелось бы побывать в соборе нашего святителя, посмотреть, поклониться.

— А вот поеду ныне не прямо в Ленинград, а через Москву, и зайду, и побываю! — высказалась Любовь Ксенофонтовна.

— Дай Бог, — отозвался Николай Иванович и продолжал: — А еще раз крестный ход при нас не состоялся, в шестьдесят первом. Тогда были гонения на церковь тихие, подлые, но непрерывные. Сейчас вот тащат Никиту на пьедестал, а гореть ему в огне. Да уж и горит, прости его, Господи. Какие страсти были! Церкви жгли, рушили, а на стариков, старух шли с оружием, издевались в своей стране. Опять и опять в любви к Богу пытали. И в том году, как ход сорвали, поплатились мы церковью Федоровской Божией матери. Как на нас кричали! Кричали: последний гвоздь забит в гроб Великорецкого чуда. И тогда сделали на Великой учения ДОСААФ, вывели призывников-несмышленышей и часовню над источником взорвали. Как старались перед дьяволами выслужиться. Бог наказал и Бог спас — опять ходим.

— А меня спас от рейдов безбожников. Воинствующих. В обществе, прости, Господи, пришлось состоять, силой загнали, а в рейдах не участвовала. Гриша Плясцов, тот был неистовый. Меня требуют, велят: предсельсовета, обязана, советская власть, а у меня или жар, все видят, или сыпь по всему телу. Вот как отводило. — Это рассказывала Любовь Ксенофонтовна. — Еще был Гриша Светлаков...

— О-ой! — вскрикнула Рая. — Этому-то Грише на лоб плюнуть — в глаза само натечет, такой был осатанелый.

Освобождая женщин от воспоминаний, Николай Иванович произнес:

— Прости, Боже, рабам своим, не ведавшим, что творили.

— Этих Гриш сотню скласть против вашего Гриши, и сотня не потянет, — сказала Селифонтовна.

Подошла и зима. И пусть она была каленая, малоснежная, ветреная, старики переносили ее легко — дров не жалели. Дрова были сухие, лежали в крытом дворе, давно наколотые, будто их и ждали. Изба быстро выстывала, топили вечером подтопок. Да и Николай Иванович постоянно избу упечатывал. Еда у них была незатейливая, да хорошая. Картошка своя, крупы в колхозе Рая выписала, масла растительного в магазине было безвыходно (это Раино выражение — безвыходно, то есть — есть постоянно), также было и молоко от Раиной Цыганки. А запустили Цыганку — нашлось молоко у соседей. Да и

какие уж едоки были Вера и Николай Иванович — мяса вовсе не ели. Овощи были. То есть зимовали в достатке, в тепле.

Приходил Степан. Видно было, намолчался, рад был Николаю Ивановичу. Чаще бы приходил, да, видно, стеснялся. Приходил, крестился на голубенький огонечек лампадки у божницы, почти насильно всякий раз усаживали его за стол. Пил чай с блюдечка.

Однажды Степан сказал:

— Привык у вас с блюдечка чай сербать, как к себе поеду, надо будет отвыкать или своих приучать.

Сказано это было — ясно, что не про блюдечко. Николай Иванович поставил свою чашку на скатерть (Вера не позволяла пить чай на клеенке) и осторожно спросил:

— Значит, надумал все ж таки?

— Надо... — Степан понурился, потом поднял голову. — Надо. К тому идет. Радио слушаю, к тому идет. Греко-католикам тоже дадут жить. Не хочу в сектантах умирать.

— Старухи тебя здешние, Степан, жалеть будут, — сказала Вера.

— И я тоже буду жалеть, — ответил Степан. — Но я уже всяко-всяко передумал, всякую думку в голову брал. И сон стал видеться, будто маштачу себе гроб, а крышка получилась такая гарная, такая ладная, но дуже великая, будто на хату. Думаю: надо опилить. Захожу с пилою та и замер: вся крышка расписана, как та мазанка, петухами и рушниками, як маты к Пасхе расписывала. Ай, думаю, не буду опиливать, так покойно мэни будэ. И все чую, як дивчины та хлопцы колядуют, со звездой ходят. Ну, так як, Мыкола, какое будэ твое слово?

— Какой я тебе советчик, — сказал Николай Иванович. — Все равно ведь уедешь.

— Боюся. Боюся там в первый день скончатися от сердца, боюся.

— Не бойся, Степа, — быстро вставила Вера, — не бойся. Именно ты правильно решил. По могилкам ты затосковал, они тебя зовут. Походишь, над ними почитаешь, и тебе будет полегче, и им. Как Коля боялся сюда ехать. А видишь, как все слава Богу.

— Так у Коли Вера якая! — улыбнулся Степан. — Таку бы Веру ухапить, то и в ад бы не забоялся.

— Ой, не греши, — отмахнулась Вера. — Оружия вы в руки не брали, но жениться-то не было запрета?

— Не было. Да невеста была така огневая, что я забоялся.

— Кто, если не секрет?

— Тогдашняя предсельсовета... — Степан развел руками. — Любовь Селифонтовна. Когда тебя и нашего старца увезли, меня по молодости административно привлекли на принудиловку. И я отмечался в сельсовете, что никуда не сбежал. Тогда и полюбил. Приду, она берет тетрадь высланных и привлеченных, сделает отметку — иди. А я не иду, сяду на корточки, и все чекаю, чекаю...

— И ничего не вычекал?

— Ничого. Молодой был, телятистый. Но раз сорвался. Подстерег у выхода, говорю: «Председатель, послушай, я песню выучил. — И ахнул ей частушку: — Сидит Сталин на березе, Троцкий выше — на ели. До чего, христопродавцы, вы Россию довели?»

— О-о-ой! — протянула Вера. — И что Люба?

— Схватила за чуб и голову мотает. Так помотала, помотала и шепотом велела: «Иди и частушку забудь!» — Степан ласково посмотрел на Веру. — Частушку я не забыл, но и любовь Любы не заслужил. Она, я потом понял, Гришу любила. Понял, когда вашей мати похоронку Поля Фоминых принесла, тогда Люба вся осунулась, добилась того, чтоб поставили рядовой колхозницей, а потом ее в Ленинград мобилизовали.

— Ты приходи, Степа, приходи, пока не уехал, — попросила Вера.

И долго смотрела потом вслед Степану в окошко. Тот шел тихонько, опираясь на костылик.

И опять явилась птица залетная — Геня, племянничек. Все приставал с расспросами, как дальше жить в такой международной и внутренней обстановке. Николай Иванович терпеливо отвечал, что ничего не понимает ни в какой обстановке, что этих обстановок, пока он сидел, сменилось много, и что надо жить не по обстановке, а по совести.

— Епонская мать! — восклицал Геня.

Но Николай Иванович обрывал:

— Язык прикуси!

— Как прикуси? А тогда зачем дали гласность?

— В прямом смысле прикуси! Как вылетело гнилое слово или ругательство, если не смог удержать, допустил до этого, то хоть вослед себя накажи, кусни поганый язык. В прямом смысле. И так и отвадишь себя от похабщины. Вдумайся: не то нас оскверняет, что в нас входит, а то, что от нас исходит.

Геня сникал, сидел потерянно, он старался в эти дни изгнания из семьи не пить (да и где было взять?), сидел, потом обещал, что больше плохих слов произносить не будет.

В день отъезда он в одиночку сходил к отцу, а заранее не сказал, что собирается, вернулся к обеду и отчитался тем, что целый уповод (он именно это употребил слово, ныне редкое, — уповод, в смысле полдня) он воспитывал Арсеню.

— Яйца, конечно, курицу не учат, но, дядь Коль, это же невозможно: мат на мате сидит и ножки свесил. Родной отец! ёштвай корень, о! дядь Коль, прости. — И Геня показал, что кусает свой язык, и язык этот в доказательство высунул, объяснив, что даже кусал его до крови. — Дядь Коль, но главному ты меня не научил. Вот я перестал ругаться, перестану, к этому идет, действительно, пусть жизнь тяжелая, но мать-то при чем, за что ее по матушке? Ругаться перестану, курить тоже поднатужусь и брошу: во рту противно, зубы желтые, с утра кашель, брошу! Но, дядя Коля, как, как отстать от питейного дела?

Николай Иванович поглядел внимательно:

— Это, Геня, тоже достижимо. Садись.

— Ты, дядь Коль, мелко не кроши, ты сразу главный параграф: как бросить? — Геня сел, однако рванулся было рукой в карман за сигаретами, но отдернул ее и жестом показал — не буду! — Мелко не кроши, не заводи проповедь, на меня время не трать, сразу скажи: можно суметь не пить?

— Можно.

— Как?

— Только через веру в Бога.

— А по-другому?

— По-другому ни у кого не получилось, — ответил Николай Иванович. — Если гипнозом отучают, то другого лишают, гипноз иначе не может, он укрепляет в одном, а подавляет другое. А про ЛТП и про наркологию ты лучше меня знаешь.

— Но как в Бога поверить?

— В Бога все верят, но не все об этом знают. И бесы в Бога верят, иначе бы нас не морочили.

— Но как не пить-то, дядя? — закричал Геня. — Как? Ведь подсасывает, ведь сорвусь, я же знаю, я же больной...

— Геня, ты уже на пути к излечению, раз понимаешь, что больной. Советовать я ничего не могу, но могу сказать из личной жизни.

— А ты пил? — вытаращился Геня.

— Да, и сильно.

— В лагере? В лагере пил?

— В лагере. Когда в войну и после много леса требовалось, то у нас было послабление, строгости оставались, но издевательства утихли, лагерь оценивался по кубометрам. А я, как грамотный, был при техноруке, при передаче леса с лесосек на Нижний склад. Там вольные, они иногда хуже нашего питались, нам стали подбрасывать. Я и пристрастился менять пайку на самогон, и попивал. Молод был, думал — не затянет, да и откуда отраду брать?

— Отрады все же хотелось? — иезуитски спросил Геня и тут же ответил себе: — Ну да, живые ж люди. Ну и втянулся?

— Втянулся. Как-то дурел. Самогон был, конечно, сивушный, да еще иногда махоркой подбалтывали, чтоб сразу в башку. А молитвы — сам понимаешь, за то и брали, — читал. И посетило меня отчаяние на Новый год, думаю, ведь это что такое — и в тюрьме сижу, еще и гибну. Причем, Геня, вот был бы ты верующий, понял бы, тюрьма мне была не в укор, не в поношение, тут не моя вина, тюрьма меня с Богом не разлучала, а питье, это пойло поганое, разум мутило. И вот так взгорилось именно на Новый год...

— Что с горя и выпил, — предположительно продолжил Геня, — я тоже полощу со всего: с горя, с радости: решаю перестать пить — и на радостях по этому поводу!

Николай Иванович переждал.

— Нет, Геня, немного не так. Меня начальство в то время за крест не тиранило, а охранники сами больше нашего боялись. Нам чего бояться? Нечего. А они в страхе. Да тем более шел поток изменников Родины, какие они изменники — вышли из плена и снова в плен. Восстаний боялись охранники и часто зэкам потрафляли. Мало ли — сегодня с автоматом, завтра с лопатой. То есть мне тогда можно было хоть под пробку наливаться, а на меня напало такое томление, такая тьма объяла, что молюсь, молюсь — и не легче. Думаю, ведь человека от меня не остается, прямо реву, а не легче. На Новый год наши немного сгоношили, после отбоя зовут, суют. Я говорю: не могу и не буду. Они ржать, когда это бывало, чтоб зэк отказался выпить. «Не буду!» — я уперся. Ну, уперся и уперся, им больше осталось, насильно не лили. Но еще одно сказали: «Ты вот за Россию все убиваешься, Россию твою нехристи калечат, ты вот и выпей за Россию». — «Не буду!» — «Как, за Россию не выпьешь?» — «А России лучше, чтоб я за нее не выпил!» — вот как я ответил и вот как тебе скажу, ибо нехристи терзать ее продолжают. Или еще так себе говори: вот эта рюмка сгубит мою душу, эта рюмка как яблоко, которое змий через Еву скормил Адаму. Не ел бы, греха бы не было.

Николай Иванович понурился. Геня молчал тоже. Николай Иванович поднял голову, тихо улыбнулся и протянул будто для себя:

— Во-о-от, дали год. Отсидел двенадцать месяцев, вышел досрочно.

— Повтори, дядь, повтори, — оживился Геня, но сам тут же ловко повторил, запомнил с одноразки. — А вообще, дядь, сейчас юмор только в тюрьме и остался, так?

— Дальше, Геня, дослушай. Пример с яблоком тебя не спасет.

— Не спасет, — согласился Геня. — Мне яду налей, выпью. Нинка грозится так-то сделать. А я иногда дохожу — жить неохота, то думаю, что еще ей и спасибо скажу. Иначе, чего же я, какую наследственность передаю?

— Новый год прошел, я сколько-то потерпел и опять сорвался и опять мучился. Но молился. И вот наступило десятое сентября, я тоже тогда молился и особенно сильно от избавления от беса пьянства. И меня стало тошнить, прямо выворачивать, прямо чернотой исходил, думал, жилы на шее лопнут, а живот острой болью резало. Вытащило меня, выполоскало, в санчасть утащили, думали — отравление... Ну... вот, Геня, осталось досказать маленечко. Я тогда святцы плохо знал,

знал основные праздники, а когда вышел, святцы изучил и ахнул от счастья, ведь это именно так и было, что святые мученики преподобные Вонифатий и Моисей Мурин меня спасли. Понимаешь, память Вонифатия падает на первое января, а Моисея Мурина — именно на десятое сентября. Именно они охраняют от винного запоя. Так что, Геня, молись и веруй, что добьешься трезвения тела и мыслей.

— Хорошо, — вздохнул Геня. — Хорошо, да не на мою натуру. А иначе как-нибудь нельзя?

— Нельзя. Если чего и достигают русские, только с помощью Бога, другого нет.

— Не-ет? — изумленно и возмущенно вскочил Геня. — Еще как есть-то! Ты посмотри этот телевизор, ты ж не смотришь, ты посмотри, как без Бога обходятся! Смотри, как на любое кидаются. Эти же, попы-то, уже стали выступать, что ж нет результатов?

— Хорошее свершается медленно. А на плохое кидаются оттого, что оно грешных оправдывает в их грехах. А еще от лени. Хочется быть здоровым, в любого жулика поверят. А здоровым зачем быть?

— Я уж до чего доходил, до белой горячки, — гнул свое Геня, — представляешь — такое виденье: птенцы, вроде как коршуньи, голые, когти железные, вцепляются в икры, волокут ко краю. Проснулся — на ногах раны. Вот, дядечка. А тебя можно попросить за меня молиться?

— Я это делаю, Геня, делаю. Да, видно, грешен сильно, видно, не доходчивы мои молитвы. Тут, Геня, все-таки надо за себя самому молиться. А пуще того Бог труды любит, вера без дела мертва. Можно и свечки ставить, можно и молитвы читать, а успеху не будет. Свечки наши могут быть святым противны, а молитвы от уст лживых коротки.

— Почему лживых?

— Сейчас ты молитву читаешь, а через полчаса этим же языком лжешь.

— Ох, дядя Коля, все бы сидел бы да слушал бы тебя, а ехать надо.

Геня встал. Из кухни вышла Вера. Оказывается, она тихонько там сидела.

— Возьми-ко ты, Геннадий да ты Арсеитьевич, — сказала она, давая Гене завернутую в тряпочку просфорку. — С утра еще до еды и с молитвою. Понемногу. А днем, как потянет на выпивку, подумай: хорошо ли божий хлебец питьем осквернять? Еще и это поможет.

— Дай Бог! — воскликнул Геня и, может быть, впервые в жизни перекрестился. — Я, тетка Вера, — он уже и Веру записал в тетки, — я тебя вот о чем только попрошу: дай мне молитву от злой жены, то есть как от нее оборониться? Чтоб характером была как ты. Условие!

— Есть икона «Умягчение злых сердец», есть, — ответила Вера задумчиво. — Только ведь зло не от добра рождается, от зла. Злая жена посылается в наказание за грехи, вот и подумай, почему у тебя такая Нина, как ты описываешь.

— Ну! — воодушевленно закричал Геня, пропуская Верины слова меж ушей, — как в больнице побывал. Как в больнице! Язык весь искусанный, пить не хочу и не тянет, явлюсь домой к ночи — и ей: «Ты перед сном молилась, Дездемона?» Дядя Коля, я нашу чудиновскую породу продолжу! Я, дядь, камень.

— Подожди хвалиться, — урезонил Николай Иванович, — дай хоть петухи попоют. Тогда и увидим, камень ты или трость, ветром колеблемая.

Но Геня не понял евангельских аналогий и отбыл, совершенно уверенный в своем исцелении, в своей новой жизни.

14

Двух недель не прошло — явился Геня. Тихий, виноватый, ясно, что с похмелья. Молча посидел, повздыхал.

— Нет, дядя Николай, плюнь на меня, не возись, не бери в голову и не молись за меня. Пусть! Я знаю, зачем я буду жить, я буду жить для примера, как не надо жить. На мне будут учить, начиная с пионеров: «Вот, дети, что вышло из безвольного дяди». Меня, дядя, завгар в слесаря окончательно перевел. Это он специально, он еще тот жук, он к Нинке клинья бьет. Она же у него была, я же видел, что они не первый раз беседуют. От жук! Говорит: на самое лучшее место перевожу. Самое пьяное, а не самое лучшее. Лучшее! Все же ко мне в очередь, все же знают: Геня что сделает, туда сто лет не надо заглядывать. И денег не беру. Значит, что? Значит, вывод ясен: Гене посудину. А Геня еще до того не одичал, чтобы один пить, так? И что? И вот я перед вами.

— Чаю попей с дороги, — позвала Вера.

— Нет, к отцу пойду. Вы — люди святые, с вами тяжело, при вас мне стыдно не то что чай пить — сидеть вот тут, на этом стуле, и то стыдно. С отцом легче. Дров ему тем более надо подрубить. И вам, если что, любое сделаю. Не осуждайте!

Они и не осуждали. В Святополье было кому Геню осуждать — тетке Рае. Она его крепко, по ее выражению, перепаратила, в первый день не отпустила в Разумы, истопила для Гени баню, дала после бани из своих рук сто пятьдесят, а уже утром, наложив в сумку для брата печенюшек, говядины и баранины, утром послала сама.

Вернулся Геня через три дня. Веселый. Объявил, что с отцом у них все было тип-топ. Так и сказал. Что пели лагерные песни. Что некоторые Арсеня до конца не знает и велел спросить у брата.

— Вот эта, например: «Докурю я, чтоб губы обжечь», не знаешь?

— Нет, — отвечал Николай Иванович. Он растирал ноги мездрой с овчины, средство давнишнее, народное, от онемения.

— Тогда эту: «Да, это был воскресный день, но мусора́ не отдыхают»?

— Нет, Геня. Как-то не приставало.

— Вот именно — не приставало. Я и говорю: чего тебе святым-то не быть, ничего не пристает, — вывел Геня. — А эту как продолжить? «Пьем за то, чтоб не осталось больше тюрем, чтоб не осталось по России лагерей»?

— Эту я слышал.

Геня взвинченно балабонил, рассказывал, как Арсеня насмешил его тем, что снова стал смотреть телевизор, слушать радио.

— Знаешь, как он начальников распределяет? Не по должности, а по фамилии. Говорит: «Вот мужик-то, который Громыкой работает, он ничего», а кукурузу уже забыл, при ком сажали, говорит, что при Брежневе. Я поправляю: при Хрущеве. А батя: «А, — говорит, — все одно при них. На Малой земле, — говорит, — сажали».

Геня сам вытопил баню, сводил потихоньку Николая Ивановича. А еще до бани натаскал старикам полные сени дров, чтоб брать было ближе.

На вечерней молитве стоял молча сзади.

Утром Геня уехал.

15

А Николая Ивановича вовсе всего разломало. Еще держался Филиппов пост, еще перед Рождеством шебаршился по хозяйству, а с Крещенья слег.

— Совсем ты, отец, заумирал, — упрекала его Вера.

Она старалась как-то оттянуть его от, казалось ей, плохих мыслей о смерти, старалась разговорить Николая Ивановича, но тот, похоже было на то, собрался умирать всерьез. Лежал, перебирал край одеяла, будто четки, и глядел в потолок. Рая прибегала каждую свободную минуту, старалась хоть чем-то накормить. Но наступил Великий пост, и Николай Иванович на дух не подпускал ничего ни мясного, ни молочного. Вера тайком плакала. Ночью подходила к Николаю Ивановичу, склонялась, слушала дыхание. Он открывал глаза, шептал:

— Спи, спи, Веруша, спи, хорошо мне.

Какой там хорошо, она же видела его недомогание. А раз и сильно испугалась за его голову. Ночью он через силу встал и потащился к выходу, и в избе заблудился, спутал окно с дверью. Она проснулась, когда загремел и разбился горшок с геранью. Подскочила, подхватила, повела обратно, а он шептал:

— Дверь-то, дверь зачем заставили?

Еще однажды попросил:

— Степана, Степана приведи, пусть надо мной почитает.

Ох, тут уж Вера чуть не взвыла — разве забыл он, что Степан на Сретенье уехал, приходил на прощание посидеть, что они долго говорили? Значит, забыл, значит, разум мешается?

Попросил поставить образок святителя Николая Чудотворца перед глазами и перенести к нему лампадку. Ночью Вера со страхом видела на голубой подушке темное лицо Николая Ивановича, а страшней того было, когда он открывал светящиеся глаза. В глазах горели голубые искорки лампады. Иногда говорил что-то непонятное, иногда разбирала Вера две-три внятные фразы. Запомнила:

— Как ни живи, а Страшный суд все ближе и ближе.

— Молитвы недоходчивы, свечи зря ставил, зане зело грешен аз.

— Ногами, ногами молиться, ногами ходить, ноги отняты, нет прощения.

Иногда же какое-то время говорил связно. Рассказал поразившее его видение:

— Видел Николая Чудотворца на коне. Сурово глядит. Ногу, говорит, тебе одну отдерну. И коня от часовни повернул, и прямо по сверху реки на коне отъехал. Надо, надо часовню восстановить.

Рая допрашивала брата: где именно, кроме ног, болит?

— Нигде не болит, — шептал он, — и ноги не болят, везде слабость. Сердце, то совсем будто без него, то всю грудь заполнит и распирает.

Рая и смелеющая рядом с ней Вера постоянно тормошили Николая Ивановича. Поднимали, меняли рубаху, обтирали влажным полотенцем, он не сопротивлялся, только шептал:

— До смерти скоро замучаете. Какие вы, право, разве плохо умирать? Умирать хорошо, плохо жить во грехах. Хужей того другим тяжесть доставлять.

Однажды, уже совсем весной, слышно было, как течет с крыши, Николай Иванович сам подозвал Веру. Она тут и сидела, дремала в ногах.

— Веруша, я вот чего вспомнил. Ты в святцы Степана записала о здравии?

— Конечно.

— Еще монгола запиши, имя не знаю, запиши слово «монгол», запиши. Я объясню сейчас. Подними немного. — Вера подоткнула ему под спину запасную подушку. — Вот, хорошо. Ты вечером чем меня поила?

— Чаем со зверобоем.

— А-а. От него я, наверное, и вспомнил. В лагере со мной были

два монгола, ихние священники, ламы. Старый и помоложе. Старый хорошо по-русски знал, а молодой хуже. Ламы. Тоже над ними издевались. Молиться не давали, в общем, как и мне, как и баптистам, но они изо всех были самые терпеливые. Я с ними сошелся. Старый мне доверился, просил помочь молодому бежать. А куда побежишь? Он говорит: надо, вера угаснет, если он и его ученик ее не продолжат. Просил научить русским молитвам. Молодой с моих слов «Отче наш» и «Богородицу» затвердил. Я тоже ихний «Отче наш» заучил: «Ом мани падме хум...». И вот этот парень бежал. Его не хватились дня три, потому что старик глаза им отвел, себя за него выдавал, а старого вроде того что по санчасти числили. Потом старика этого долго мордасили, на комаров привязывали, это ведь лето, тундра, прости им, Господи, но он выжил. И вот прошло почти два года, и ему, этому монголу, этому ламе, как-то кто-то сообщил, что молодой бежал через всю страну, всю Сибирь полтора года и в Монголию через границу вернулся. И тогда старик весь свой порошок можжевельника, у них можжевельника веточки вроде наших свечек, они сушили и терли можжевельник, он весь этот можжевельник поджег, долго молился лицом на восток, к родине, значит, потом меня поцеловал, сказал, что Иисус Христос — лучший брат Будды, и умер. Так что ты одного монгола напиши об упокоении, другого — о здравии. — Николай Иванович передохнул. — Вот все думаю: шел полтора года, никто не выдал. Да как же это можно русских людей скотинить? Мы всех спасаем, себя вот только забыли. Дай попить. — Вера подала. — У них вера красивая, у них земля как мать святая, им нельзя ее пахать, а наши им насильно трактора вдвигали. Только у них смерть не по-нашему. Мы умираем раз и ждем всеобщего Воскресения, а они перевоплощаются. Хорошо жил — в следующий раз в следующей жизни будешь поближе к Будде. Плохо жил — будешь собакой или еще кем. Этот старик, конечно, на ихних небесах, хотя нет, почему, он снова живет. Никого не пиши в упокой, пиши обоих о здравии.

— Запишу.

— Еще запиши, кого Рая скажет. Рая, иадиктуй. Рая, — позвал он.

— Придет, придет скоро Рая. Утро скоро, — сказала Вера.

— Еще запиши Хасида Мухамаддеева, — попросил Николай Иванович. — Тоже пострадал, вместе сидели. У них тоже с нашим похоже, чего нам делить? И он про Магомета говорил, что Иисус — брат его. Еще запиши в поминание всех ненавидящих и обижающих, Шлемкина запиши, и иже с ним, еже попусти их Господь пытать веру христианскую.

И замолчал. Вера задремала, но снова очнулась от шелестящего четкого шепота Николая Ивановича.

— На могилку мне земельки принеси с Великой, принеси, не забудь.

Вера тихо плакала.

16

А по первой траве, по первой зелени в Святополье заявилась... Катя Липатникова. С внучкой. Ну, уж и внучка у нее была. Как ее бабушка, пока еще не громогласная, но до того бойка, что все диву давались. Эта Настя детей Ольги Сергеевны стала немедленно укорять, что они взяли городские гостинцы и стали есть.

— Мы же сказали спасибо, — защищалась Аня.

— Спасибо сказали, а «Отче наш» не прочитали. А вот и Адам погиб от чего? От того, что яблоко взял от Евы, а «Отче наш» перед едой не прочитал. Вот! И был низвергнут.

— Слушай, слушай! — гремела Катя Липатникова, — слушай мою внучку, моя выучка! А про Адама и яблоко это она сама. Сама! Еще сама тоже одному гостю у нас сказала тоже крепко. Он наелся, откинулся, брюхо гладит, ну, говорит, душу отвел. Настенька ему тут же: «Это плохо, дяденька, что вы душу отвели, нельзя душу отводить». Иваныч, вставай, Настя, вели ему встать. Иваныч, скоро Великорецкая.

— Уж не ходок я. Ты поведешь.

— Да как это можно! — закричала Катя, — как это может быть, чтоб баба повела, нет, парень, шалишь! Вставай. Ты, парень, обязан Шлемкина пережить. Он от больших трудов на курорт уехал, силы копит. И тебе пора. Вон твой курорт — завалинка. Для начала.

— Дедушка! — настойчиво звала Настенька, — идем на солнышко, там чего-то увидишь, того не бойся, я с тобой.

И ведь выполз на завалинку Николай Иванович. А Настенька придумала вот какую штуку: она заранее нарисовала огромные следы у ворот, всего три, и сказала, что тут утром прошел человек в обуви тысячного размера.

— Ты что, не веришь, дедушка?

— Верю, — сказал Николай Иванович. — Вот такой-то человек до Великой быстро дошагает.

— В этом году и я пойду, — заявила Настенька.

— А как родители?

— Они бабушку боятся.

— Бабушку твою не только родители боятся, ее любые начальники боятся.

— Бабушка никого не боится, она только Бога боится. И меня так учит, — сказала Настя, глядя вопросительно.

— Правильно говорит.

— А папа возьмет да и выпорет ремнем. Когда без бабушки. Он ремень у кровати повесил.

— Родителей надо уважать.

— Ого, уважать! За то, что ремнем?

Этот педагогический вопрос остался без ответа. Подошел брат Арсеня. Сапоги его по голенища были в глине. Поздоровался, и будто не было долгой зимы, будто только вчера виделись, сразу заговорил:

— Ак чего, парень, чего-то все про революцию талдычат. Как ни включишь радио: революция и революция. Куда еще революцию, будто недостаточно. Это ведь если революция, то в новые колхозы погонят, да в новые лагеря. Революция, дурак понимает, — это борьба за власть, а власть другой революции не терпит и заранее сажает. И песни нагаркивают все лихие: «Ленин такой молодой и Октябрь впереди», как, парень, думаешь? А ежели власть у народа, то какой народ ее опять отнимает? Как думаешь?

— Думаю, скоро июнь, думаю, дойду или нет до Великой. Ты сколь по распутице пропахал, может, пойдем вместе?

— Может, и пойдем, — сказал вдруг Арсеня. — Ты моего Генька правильно поворачиваешь. Меня уж поздно...

— Доброе дело никогда не поздно.

— А его надо бы от вина и пустомельства оттянуть. А я бы тебя позвал, помнишь, договаривались летом, позвал бы на могилку Гриши съездить, а? Надо бы, брат. Оба мы с тобой тюремщики, надо бойцу поклониться. Да надо бы и в розыск об отце подать. Как это «без вести пропавший», так не бывает. Ты скажешь: Бог знает его, где он.

— Да.

— Вот и спроси Бога, пусть откроет.

— Где земля заповедала, там и лежит.

Ночевал Арсений у Раи. А Катя Липатникова с внучкой у Николая Ивановича. Да и всего-то одну ночку. А перед отъездом и ска-

зала, что не за тем приезжала, чтобы пенсию передать, Настей похвалиться, нет, главное, сказала она, просил настоятель церкви передать, что давнюю просьбу Николая Ивановича помнит и что эта просьба удовлетворена. Какая просьба, не сказал, сказал, что Николай Иванович знает.

Николай Иванович знал. Просьба его была, когда особенно допекал Шлемкин, когда гнали со всех работ, просьба была — место в монастыре, он бы в любом монастыре не был иждивенцем. С его-то руками. Но тогда мест не было. Сейчас, после послаблений, место нашлось.

— Просил согласие передать. Передавать? — спросила Катя.

Николай Иванович посмотрел на огонек лампадки, помолчал.

— Нет. Скажи, что стар стал, что боится в тягость быть.

— Так и сказать?

— Так. Благодарил, мол, и кланялся.

— Так что за просьба у тебя была? — не утерпела Катя.

— Ой, Катя, совсем забыла, — заговорила Вера. — Возьми хоть килограмм десять картошки, возьми. Очень хороша. И Насте понравилась.

— Да. Без нитратов, — вымолвила Настя.

Когда Вера вернулась от повертки, от автобуса, проводив гостей, она сразу сказала:

— Вот что, Николай Иванович, вот что выслушай от меня: ступай с Богом в монастырь, это тебе не дом престарелых, ступай.

— Нет, Вера, нет.

— Из-за меня не идешь? Не надо, я в силах, уйду к сыну. — Вера отвернулась к кухонному столу, будто на нем что прибирая.

Николай Иванович прошел от кровати до передней, топнул ногой:

— Слышишь! Аж половицы гнутся, во как ты меня на ноги поставила... Нет, Вера, не пойду, не пойду в монастырь. И мечтал, и просился, а надо жить в миру. А просился еще до тебя, тут и это учти. В миру, в миру надо жить. Хоть и грешишь больше, а сколько заблудших видишь, до того их жалко, чего тебе объяснять. Как мы хорошо зиму зимовали, а? Как песню спели. Если обидел в чем, прости, Христа ради прости.

Вера, отвернувшись по-прежнему, мотала головой.

Николай Иванович продолжил:

— Ведь именно ты меня выволокла. Лежу, думаю: ну, беда — умру без покаяния, без причащения, без соборования. Были мне видения, но я их, по своей греховности и недостойности, считал за прелести и старался забыть. Видел и ангела в сияющих одеждах, как в писании, одетом в одеянии, яко из молнии вытканном. Но думал, что это вообразилось. Думаю, такого могут сподобиться только праведники. А когда смерть пришла, тут я сразу согласился, что это именно она.

— А как понял? — спросила Вера. Она промокала лицо платочком.

— Черная. Другой не бывает. Но я как-то, по болести или по безволию, не забоялся и только хотел произнести «В руце Твои...» и так далее, как ты прямо подлетела и ее выгнала. Прямо полотенцем крестнакрест хлестала.

— А когда это примерно?

— Еще когда утром кисленького питья попросил.

— А-а. Нет, это я мух, наверное, отгоняла. Пригрело, они ожили и загудели, я на них полотенцем.

Николай Иванович подошел, развернул Веру к себе лицом и неловко приласкал.

— Давай, матушка, сухари суши. Великорецкая близко.

Как они, христовенькие, шли, это может только тот рассказывать, кто с ними ходил. Шел потихоньку Николай Иванович, опирался на свой посох, оглядывался. Лепилась к нему щебетунья Настя. Но постоянно щебетать ей не давала бабушка Катя Липатникова. Высоким, громким голосом она первая заводила акафист преподобному Николаю Чудотворцу. И тянулся акафист над размытыми дорогами, разъезженными колеями, под дождливым небом. И не бывало, и не будет у нас распевней и согласнее хора. И перепоет этот хор любые наши песни и гимны. Шел этот крестный ход, как ходил уже свыше шести столетий. Все видел он: дождь и град, тучи и звезды, комаров и мух, да только не думал он, что увидит, как выходят на него, на беспомощных стариков и старух, здоровенные мужи, коих хорошо бы представить с косой да с топором, ан нет. «С Богом покончено!» — объявляли они. Где те борцы? В каких огнях, в каких пределах корчатся от ужаса их души? Кто отпоет их, кто простит, кто поймет?

Ждал на берегу Шлемкин, ждали милиционеры в ярко-черных сапогах.

— Поворачивайте! — закричал он.

Конечно, не повернули старики. Как будто не знал того Шлемкин. Вот встретились они глазами с Николаем Ивановичем.

— Подойди, — велел Шлемкин, — поговорить надо.

— Что говорить, молиться идем, — отвечал Николай Иванович.

— Эх ты, — закричала Катя Липатникова, махая на Шлемкина черным платком. Старухи всегда к Великорецкой купели шли в темных платках, а обратно — в беленьких. — Эх ты, какую голову имеешь, наверно, безразмерную, а того не поймешь, что петух понимает со своей головой маленькой. Славу Богу поет, а ты, ты... диверсант безголовый, вот кто!

— Ты ответишь, Липатникова, — закричал Шлемкин. — Запиши, — велел он офицеру возле себя и ему же скомандовал: — Не давать им парома!

— Дак как же это? — растерялся Николай Иванович, — мы же платим за перевоз.

— Не нужны ваши деньги! Лучше б их в фонд мира отдали, — посоветовал Шлемкин.

— Или вам, — сказал Николай Иванович. — Уж не тридцать ли вас, всем бы по сребренику.

— Нам зарплаты хватает! — сообщил Шлемкин. — А парома не получите. И жалуйтесь куда хотите!

У парома встали два милиционера.

Первым в воду пошел Николай Иванович.

— Отец, отец, — закричала Вера, — нельзя тебе, нельзя!

— Верую! — возвестил Николай Иванович, чувствуя, как холодная вода перелилась через голенища и приятно охолодила натертые ноги.

— Ве-е-рую! — возвестила Липатникова.

И все, старики и старухи, сколько их было, с пением «Символа веры» двинулись вброд и вплавь через реку Великую. Пошли, чтобы поклониться месту величайшего чуда — обретения иконы святителя Николая, любимого русского святого.

А было это позорище для одних и подвиг для других, было это на святой Руси, в вятской земле в год тысячелетия принятия христианства на русской земле.

Господи, прости нас, грешных! Надеющиеся на Тебя да не погибнем! Да, мы рабы, но только твои, Господи. Аминь!

ПОЭЗИЯ

РИЧАРД КРАСНОВСКИЙ



ЛЕСОПУНКТ

ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ

Победы трудовые

Переруб в районе превышает в два с половиной раза лесосеку...

Из отчетности.

В последний раз, как бы штыки
держа наперевес,
в атаку, словно штрафники,
шагал суровый лес.

Шагал он трепетной стеной
на смерть, как на парад,
как будто б сзади за спиной
засел заградотряд.

Навстречу бил зловонный шквал,
а он — высок и свеж —
могучей грудью прикрывал
последний свой рубеж.

Последний выхрип оброня,
он пал лицом вперед,
и страшно мертвая стерня
торчала из болот...

И хохотали топоры,
что смерть не оборотъ,
и жгли последние костры
его живую плоть.

Глас вопиющего в пустыне

Настанет день: подымется топор
решительный — не знающий сомненья,
в последний раз дохнет последний бор,
и полное придет оцепененье.

В последний раз смолою на коре
блеснет сосна, и, вздыбившись сутуло,
в последний раз на выцветшей земле
последний зверь накроет сердцем дуло.

В последний раз натужится река,
блевотную отраву изрыгая.
Последнее дыхание глотка
отдаст родник зарубленного края.

Последних рыб обмякнут плавники,
отсвищется последняя рулада,
и кинутся облезлые пески
под гусеницы грохотного гада.

Настанет день: падет последний бор,
последний зверь в гнилье уткнется тупо,
и ринется решительный топор
к еще живому горлу лесоруба.

Виды на перестройку

— Коптишь в конторе дотемна —
ни бань тебе, ни жен...
Мол, перестройка им нужна —
хозяин им нужон!
Из треста нам спустили план
намедни, круглый как балан.

А план не дашь — кого винить?
Кругом один бардак!
Нет, надо все переменить,
но чтоб не очень так...
Ведь если дальше обождать,
и бревна станут рассуждать!

Вот у меня завсклад — свояк,
дак тот в единый дух
смотался в город по коньяк,
а я — труби за двух...
Звоню для сведенья в партком:
«Дров не ломайте дуриком!»

Иному станешь нехорош —
мужик он как дурак!
С таким народом станешь сплошь
как кошка из-под трак...
Мужик — такая сатана!
Нет, перестройка нам нужна!

Монолог судомойки

«Людмила Ш. — двадцати пяти лет, рост 162 см. Вес — 49 кг, ..надцать абортов...».

Из меддокумента.

Всю жизнь копаешься в грязи,
как та паскуда...
Возьми, приезжий, увези
меня отсюда!
Мужик ты с виду хоть куда,
а как вареный...
Я не носила никогда
не подаренной
кофтенки... Забери с собой
из этой скверной
дыры: подругою, рабой,
собакой верной.

За то доверие твое
я не пила бы...
Дай расскажу тебе житье
безмужней бабы:
вон отовсюду голоса
и взгляды эти —
из окон иглами в глаза
торчат соседи!
Их неусыпным языком
в ком нет изъяну?
Отец по снегу босиком
гонял нас спьяну...

С сестрой и матерью что слез
пролито было...
Сестру куда-то черт унес,
отца — могила.
О том ли в думах немудрых
своих мечтала:
в пятнадцать лет под четверых —
и бабой стала...
Огадить, ткнуть из-за стекла
впредь всякий волен.
Конечно, девочка мала,
мальчишка болен...
Живем, особо не темня,
и в долг не просим —
выходит в месяц у меня
червонцев восемь.
Да я, конечно, не про то,
что шибко с голу:
мальчишке надобно пальто —
он нынче в школу...
Сегодня, что ни говори,
не та эпоха.
Возьми, приезжий, забери
за ради Бога!
Чего ты, словно на бегу,
руками машешь?
Да я в постели все могу,
чего ни скажешь...

Бывало, некогда и я
сходила замуж:
с утра нажрется как свинья
мужик, а там уж
гони последнее ему,
иначе крышка!
Уж я особо и не жму,
да рос мальчишка...
Теперь безмужняя: придут
орлы-ребята —
на стол бутылка тут как тут
и все как надо...
В бараке печь, комод, кровать,
диван из досок...
Народу: дети, я да мать —
живой износок.
В войну сосновое корье
мешала в сочень.
У нас на пенсию ее
житье не очень...
Когда-то верила любви,
кресту святому...
Возьми, приезжий, оторви
меня от дому!
Не сомневайся и не трусь:
не много весу...
Когда-нибудь поднадерусь
и в петлю влезу!

Натюрморт с электролампой

...они сидели на «панцырной» койке в «общаге». Коряво поштукатуренные стены, окрашенные в темно-коричневый цвет, ершились множеством ржавых плотницких гвоздей. Прокуренной рванью бумаги нависал низкий потолок. Печь, поперхнувшаяся жевотиной тряпок и мятых газет, напоминала макет крепости после штурма и пожара. Скрипучий пол скорее предназначался для забавного аттракциона, нежели для пешего хождения. В углу, над поганым избитым тазиком, нависал алюминиевый рукомойник, и невероятная мертвецки-сыростная вонь наполняла помещение: оказывается, отсутствующие жильцы тайно пожирали поселковых собак, а останки спускали под пол. За печью валялся чудовищный тесак, выкованный из пилорамного полотнища и снабженный ловкой рукояткой. Он был вымазан в крови, предположительно собачьей. Шаткий стол завален заплесневелыми объедками, две тумбочки казенного образца, на одной из которых путаным кишечником наружу подыхал пыльный телевизор. Угрюмые, неоднократно битые окна упирались в крапиву и репейник. Ядовитый свет стоваттной лампочки без абажура терзал глаза и нервы... Снаружи доносился неистовый рев мотоциклов... Она стала раздеваться, решительно отказавшись нажать на кнопку выключателя.

Классический сюжет

Есть женщины в здешних бараках:
безмужняя мать — не жена —
под пьяную лавочку в драках
всегда подвернется она.

В платочно-тряпичном окруте,
запястья жестки словно трос,
истисканы жидкие груди,
истасканы прядки волос.

Ключиц и лопаток излишек,
походка мужичьих статей,
глядят у нее из-под мышек
глаза разномастных детей.

В поселке, где судят по-свойски —
несвойственно злу и добру, —
в судьбине своей судомойской
она — словно злак на ветру.

Заветная песня не спета,
счастливый не высмеян смех,
из всех беззащитных Планеты
она беззащитнее всех.

Купание черного коня

Светло суровое забрало.
Иному веку вопреки —
железо черного «Урала»
седлают всадники тайги.

Напряжены хмельные «роки»,
и всем властям наперерез
без номеров и без дороги
прет Твенти Сенчури Экспресс.

И пропадает след бесследный,
чтоб, пропадая, не пропасть,
и пожирает профиль бледный
отлакированная пасть.

На вираже дороги страстном,
багровый череп оброня,
глядите, как купает в красном
наездник черного коня!

От автора

Простите, люди!
Все, что с вами было
от века и до нынешнего дня,
я срисовал так мрачно и уныло...
Простите мне, что не было меня!

Простите мне, что мелкими мазками
я вас писал при грубости острот...
Ведь видел я, ведь знал, что было с вами,
но всей стране, как мне, зажали рот...

Простите, сосны, то, что с вами стало
и что не будет прощено вовек:
вот этот рев бездумного металла
и то, что я — обычный человек...

Простите ВСЕ мне злые строки эти,
хотя бы ради будущего дня!
Ведь ничего на ветреной Планете
и не было дороже для меня!

ПРОЗА

БОРИС ЕКИМОВ



ВЫСШАЯ МЕРА

ПОВЕСТЬ

1

Лечебница для психически нездоровых в больничном городке стоит наособицу, за кирпичной стеной. Но утро, преград не ведая, приходит ко всем одинаково.

На воле чуть брезжит еще, светает. В скорбном покое палаты для тяжелых больных—«наблюдаловки» по-здешнему,—где сутки напролет дежурят санитары и лампочка у потолка не гаснет ночью, даже там чуют утро.

Пепельный сумрак редеет на улице, в палате свет электрический желтеет и как бы меркнет. На окнах явственно проступают черные решетки. Раннее утро пробирается в палату нехотя и несмело, словно боясь и стальной паутины решеток, и окрика санитара-наблюдателя. А может быть, день новый по-детски жалеет скорбных душою, не решаясь тревожить их зыбкие, утренние сны.

Но больные просыпаются рано. Ворочаются в постелях, пытаясь продлить время сна, прячут головы от надоевшего электрического света. Торопиться некуда: до завтрака и врачебного обхода еще далеко.

Лишь Костя Любарев, с недавних пор — Константин Иванович, сорокалетний, желтолицый, худой мужик, каждое утро просыпался, будто выныривал из воды. Каждый раз что-то снилось, чаще доброе: прежняя жизнь тянулась со всем, что было в ней. А открывал глаза и замирал в испуге: душная палата, койки со всех сторон, горящая электрическая лампочка над головой, на окне — решетка, а в дверях — санитар сидит, перегородив ногами проход.

Леденил душу ужас, перехватывало дух, и казалось вначале, что это сон лишь и страшное виденье, а явь — позади, в ней он жил мгновенье назад и снова туда уйдет, стоит лишь очнуться.

Но проходили секунды, потом минуты, а ничего не исчезало. Не рушились стены, решетка на окне не пропадала. Значит, это явь была, а позади — сладкий сон.

Становилось горько до слез. И Костя плакал. Электрический свет дробился и радужно сиял в глазах.

— Константин Иванович... — негромко окликал его санитар. — Чего ревешь? Иди лучше покури...

— Покурю... — шепотом соглашался Костя и вставал.

В туалетной комнате, где курили, тоже горел желтый электрический свет, и наступавшее за окном утро казалось ненастным.

Понемногу начинались хожденья по коридору. Потом лязгали на дверях запоры, впуская медицинских сестер, санитаров, врачей. Начинали давать лекарства: таблетки да уколы. Ждали завтрака, потом врачебного обхода. Кончалось долгое больничное утро. А впереди был день.

Врачебного обхода ждали с надеждой даже в «наблюдаловке». О выписке здесь не мечтали, как божьего дара ожидая, когда разрешат переход в палату обычную: без санитара у дверей и вечного электрического света.

К часу обхода Костя Любарев уже устал от долгого утреннего бденья. Ломило виски, свинцовая наволочь тяжелила голову. Ничего не желалось. Быстрее бы вечер и тяжкий сон, с минутами избавления.

— Как дела, Константин Иванович? Как самочувствие?

Костя сел в постели, ответил с горечью:

— Какое мое самочувствие? Что мне чувствовать?

Женщина-врач глядела внимательно, и Костя вдруг понял, что нужно сказать ей правду. Ту правду, которую он обдумал и твердо знал.

— Высшая мера, — произнес он отчетливо. — Высшую меру прошу. Дайте мне смертельный укол.

Палата, ко всяким речам привыкшая, казалось, не слышала слов Кости.

— Да, высшую меру, — повторил он. — Потому что таких людей, как я... Нет, не людей... Я — не человек, я — погань. — Обвел рукой палату. — Это всем известно, спросите любого. Я ни одному человеку добра не принес. Мать родную забыл. Отец десять лет на кладбище, а я ни разу ему могилку не прибрал.

— Успокойтесь... Ничего... У всех бывают в жизни ошибки. Их надо исправлять... — врач поглядела на санитара. Тот ее понял.

У Кости Любарева голова стала ясной, а в сердце — полынь.

— Нет, нет... Отец — покойник, а мать — живая. Рядом живет, а я к ней месяцами не заходил. Дровишек нарубить, угля привезти. Да что мать... Дети родные от меня ничего доброго не видали. Лишь пьяный заявлюсь да выкобениваюсь. Дочь выросла, я к ней в тетрадку не заглянул, про школу не говоря. Из детского садика ни разу не взял. Ни ее, ни мальчонку. Теперь вспоминаю... — так явственно Костя помнил все, так четко видел далекие дни, что говорить о них было легко. — В кино просила с ней пойти. Еще маленькая. Папа, говорит, на этот фильм и взрослые ходят. Это она меня звала. С другими-то ходят отцы, вот и она захотела. А я... я... — слезы потекли по лицу. — Нет, нет... Никому на свете доброго не сделал. И потому прошу высшей меры — смертельный укол.

При этих словах слезы кончились, лицо просветлело, и улыбка зяснилась на изможденном, в седой щетине лице.

— Высшая мера...

Увидев сестру со шприцем в руках, он послушно лег, пробормотал: «Принимаю... Спасибо...»

Больное тело его, душа — все просило покоя. И тихий ангел — добрый целитель немощных — повеял крылами, посылая сон — короткое избавленье от долгих часов недуга.

Явь пропадала: ни скорбных стен, ни решеток, ни больничной вони. Снова была весна, солнце, первая пахучая зелень, лужи...

2

Весна была ранняя, но тепла дождались не сразу. Снег пропал скоро, поля зачернели. По Дону прошел ледокол, торопя навигацию, и речные воды скоро очистились, засинели, поджидая мутную волну половодья.

Небольшой придонский поселок очнулся от зимней спячки. Детвора зашумела на улицах, начиная летние игры. В затишек дворов, на солнцепек, выбирались старые люди к вечным весенним заботам. Оплывшая земля огородов, черные кучи прошлогодней ботвы да огудины, голые деревья, парники, рассада — все просило забот.

Центральная улица поселка, асфальт, тротуары, навесы автобусных остановок, скамейки подле них — все помаленьку прихорашивалось, чинилось да чистилось, готовясь к долгому лету.

Один из кварталов центральной улицы был перекрыт, охраняли его знаки «Объезд», «Въезд запрещен», «Дорожные работы».

Но голубые «Жигули» с блестящей никелированной антенной и тонированными, светозащитными стеклами, притормозив, поехали прямо, лавируя между чадящими кучами горячего асфальта и тяжелыми катками.

Голубые «Жигули» и хозяина — Костю Любарева, бригадира местного рыболовецкого колхоза, знали в поселке все: шоферы самосвалов и водители катков, дорожные рабочие в оранжевых безрукавках и мастер участка.

— Привет! Привет! — здоровался Костя через опущенное стекло машины.— Крепче латайте! А то опять — на два дня...

— Мыкаться надо меньше, — отвечали ему. — Рыбу лови, а ты под ногами мешаешься.

— Щербы захотелось? Удочку бери да лови.

— Успеешь за тобой. Весь Дон сетями перепрудил.

— Для вас стараюсь, для народа.

Он хохотнул и прибавил скорость, оставляя позади асфальтовый чадный дух.

Поселок издавна жил и строился усадьбами свойскими: дома, флигеля стояли вдоль улицы за дощатыми заборами, среди огородов, садов, которые прежде были обширные, теперь урезались — выделялись места народу новому, молодому, их кирпичным хоромам, гаражам и прочему.

Конторы и жилье казенное — их было немного — стояли в центре поселка, вокруг площади с трибуной да памятником Ленину.

Голубые «Жигули» туда не доехали, свернув в улицу боковую, ведущую к складам и конторе поселковой торговли. Здесь всегда было суетно: грузовики, легковушки, шофера, экспедиторы, грузчики и прочий народ. Выйдя из машины, Костя по-свойски расхаживал по двору, с мужиками — курил, с бабами — заигрывал. Все его знали, потому что он родился и вырос в поселке, прожил здесь почти сорок лет и был на виду.

Рослый, жилистый, в джинсах и легкой заграничной куртке, с загорелым лицом, аккуратно подстриженный и причесанный на косой пробор, гладко выбритый и пахнущий одеколоном, рядом со здешним народом — шоферами да грузчиками — Костя Любарев, а попросту — Любарь, глядился завидно. Он был не прижимист, как иные. И похмелка у него всегда в машине водилась, а на закуску ли, угощенье имелся копченый балык да вяленые шемая да рыбец. В общем — свой парень. И к нему все по-доброму относились.

Для бригады он взял два ящика сгущенного молока, тушенку, индийский чай. Для себя — пару хороших рубашек, туфли. Кое-что домой: польское печенье, конфеты, растворимый кофе. Напомнил о мебели:

— Когда привезете?

— В конце месяца, — ответили ему.

— Мягкая?

— Мягкая, мягкая.

— А то жена задолбала.

— Готовь место.

Он хотел уезжать, да вдруг вспомнил:

— Духи какие-нибудь, добрые. Французские есть?

— Но это уже не жене, — с ходу раскусили его.

Костя довольно посмеивался, забирая и пряча зеленую коробку.

Потом, уже в машину, подсел к нему старинный друг, в школе вместе учились. Когда-то был худенький, в волейбол хорошо играл, а в торговле — шоферил, возил большого начальника — разъелся поперек себя шире.

— Когда? — спросил он. — Шефу — надо, и другим — надо, и себе.

— Подъезжай завтра, где-то к обеду. Как раз все будет. Только мешки твои. Сколько тебе?

— Ящиков десять.

— Неплохие запросы, — присвистнул Любарь и сказал: — Ладно, сделаем. Мужикам пойла везн. С этих, — показал он на склады, — деньгами. Сам подарков не беру и другим не даю, все — на валюту. И мне сделаете мешков пять. Вы же будете в цехе вялить, вот и мне заодно. А то все — родня, и всем и дай, все — обижаются. Подъезжай на доброй тачке, чтобы загрузить. На посту завтра Сережа дежурит, но можно на всякий случай взять кого-то из ребят, в форме. Пусть прокатятся, на уху заработают. А то мало ли кого принесет... Дураков их... Договорились?

— Лады. Свояка попрошу.

Любарь поглядел на часы, заторопился:

— Погнал я, пора.

Он заехал домой, пообедать. Жена с дочкою собирались на службу да на учебу.

— Мать тебе переказывала, — сказала жена, — чтоб ты на кладбище съездил, отцову могилку прибрал.

Подходила пасха, а с нею родительское поминовенье.

— Приказывала... — недовольно буркнул Костя. — Самая путина, а я буду по кладбищам разъезжать. Ты бы вот взяла да сходила... — сказал он жене.

— Больше ничего не придумал? — ехидно спросила та. — Значит, я и по дому, и на работе, и в садик за Лешкой, и к этой — в школу ходи, — показала она на дочь. — Про огород ты думаешь? — вспомнила.— Ну, редиску, морковку я посажу. А под картошку опять мне одной копать? И сажать одной? Бессовестный, только знаешь на машине раскатывать...

— Раскатывать?

— Да, раскатывать. Одна забота, — подтвердила жена.

Костя ругни не хотел и ко времени вспомнил:

— Я по делу езжу. Сама про мебель галдишь. Вот договорился. В конце месяца привезут. Мягкая, импорт.

— Точно?! — обрадовалась жена. — Не сбрешут?!

— Не сбрешут.

— Мягкая?

— Мягкая... А то тебе твердо сидеть, — засмеялся Костя.

После вторых родов жена раздалась вширь, стала приземистой, кубоватой.

— В горнице все старое выкинем... — принялась планировать она. — Поставим кресла, диван, торшер возле него. Стол большой тоже выкинем, он — немодный. Маленький поставим, где кресла.

Костя слушал жену, посмеивался, но тоже прикидывал, хоть и не вслух, как все расположится. Получалось вроде приглядно.

Лишь дочка молча собирала портфель, одевалась. Она училась в девятом классе, в последний год очень выросла, с отцом говорила мало.

— Тебя добросить до школы? — спросил Костя у дочери.

— Нет, — ответила она. — Мне за Ленкой надо зайти.

Костя ничего не сказал, но немного обиделся.

— Меня довези, — сказала жена. — А то на пять минут опоздаешь — всегда косоротятся.

— Поехали... — сказал Костя. — А то время...

Время было весеннее, путина. Жену завезти, купить хлеба и — в «караванку», где лодка стоит. Там — водою, в бригаду.

3

Над холмистым Задоньем, по голубому апрельскому небу деньденьской тянулись высокие облака, пронизанные летним уже теплом и светом. Старый коршун, давнишний житель этих мест, плавал высоко в небе, переходя от света в тень. Под ним кружилась просторная земля, рассеченная широким речным руслом со старицами, рукавами, ериками, ильменями да музгами, приречными озерами.

Пустынной была вода. Редкие лодки, буксиры с баржами терялись на ней. На земле, по светлым нитям дорог, бегали, тоже редкие, машины; неторопкие тракторы там и здесь утюжили пашни, вздымая хвосты пыли; селенья, скотьи стада — все это было внизу. А в небе — лишь солнце да высокие, светом сияющие облака.

Коршун уплывал все выше. Людская суета была ему привычна, но чужда, и он уходил от нее в спасительную высь.

А той же порою, на земле, кружил по холмистому Задонью синий милицейский фургон. Весь долгий день он колесил по донским берегам, время от времени, словно устав от безлюдья, прибивался к накатанному грейдеру, останавливая и проверяя редкие машины, и снова уходил дорогами полевыми, торопясь к берегу, к воде.

Отыскав удобное место, синий фургон замирал, схоронившись в сквозящей тени дубрав ли, вязовой поросли. Машина отдыхала, а люди, выйдя на обрывистый берег, подносили к глазам бинокли, и становилось близким все далекое: серебристая под ветром, чешуйчатая донская вода, зализанные волнами кромки берегов с комьями желтой пены, черные рукастые коряги, белокорые осокори займища в ярком наряде багряных сережек. Все словно оказывалось рядом: и тяжелые железные лодки рыбаков, и сами они, в оранжевых, негнущихся робах, и даже рыба в делях сетей и неводов.

Людей в машине было трое. Один из них, молоденький сержант, не выдержал и сказал, сглатывая слюну:

— Съездить бы к Любарю. Дед бы сазаника с луком сделал посладиться. Да посолонцевать шемаечки свежей, рыбца да балычка. Они коптят толстолобика и сома. Плес у сома жирнючий... — соблазнял он. — А то весь день впроголодь...

Шофер — человек свой — лишь вздохнул да губами почмокал. Но третий, милицейский, по званию старший, вроде ничего и не слышал. Он здесь был чужим, из приезжей республиканской бригады. Каждый год присылали таких на весеннюю путину. Из своего областного центра, от соседей, из Астрахани да Ростова, и даже из Москвы. Последние были вредными. Нынче прислали таких. И вот уже другой день мыкались по Задонью, покоя не зная.

Час за часом тянулся весенний день. В пустынном Задонье, в редких теперь уже хуторах, лениво теплилась жизнь: подле чабанских становищ, отделенных друг от друга долгими километрами, вольно паслись стада. Старый коршун за день успел отыскать и досыта наклеваться снулой рыбы, а к вечеру, ко времени долгих теней, ушел на покой, в гнездовье.

Милицейская же машина свою добычу настигла в позднюю пору, когда зажигались огни на небе и на земле.

Стояли — в засаде ли, не в засаде, — но от грейдера чуть в стороне. Здесь, в отрожье глубокой балки, сходились две дороги, обе от донского берега, от старых, теперь уже смытых временем хуторов: Рубежного да Староселья.

Стояли, курили и услыхали машинный гул: от берега, от воды шел грузовик. Ему преградили путь. И сразу же поняли: не зря. Шофер из кабины не вылез; спутник его, немолодой мужик в джинсах и коже, засуетился, зачастил:

— Ребята, ребята... Мы — люди свои. Как говорится, привет от донецких братьев. Наш шеф просил, если чего, прямо к вашему начальнику, он его хорошо знает. Так что, ребята... Если чего надо.

Грузовик был с фанерной будкою. Забрались на борт, посветили фонариком во тьму, и стало ясно — добрый улов, даже слишком: рыба лежала в ящиках, в мешках и насыпью, прямо на брезенте.

Суетился возле машины хозяин, сыпал скороговоркою:

— На ушицу начальству, самому шефу... И вообще... Как-никак праздник на носу... И гостей много бывает. Ваши приезжают. Но мы — люди нежадные. Если поделиться, пожалуйста. По-хорошему оно всегда. И вам жить надо, и нам...

Молодой сержант посмеивался, слушая обычные речи. Приезжий из московской бригады, молча осмотрев добычу, спрыгнул на землю и спросил:

— Откуда рыба? У кого взял?

— Ребята, давайте по-хорошему. У вас свой интерес, у нас — свой. По-хорошему, по-соседски, по-дружески. А то ведь нащ шеф, он с вашим...

— Ладно... — оборвал его приезжий. — Поехали. Будет еще время поговорить. Сержант — к шоферу.

Милицейская машина пошла первой. В кабине грузовика словоохотливый сержант сказал с усмешкой:

— Неплохо загрузились? Либо у Любаря?

— Ничего не знаю, — огрызнулся шофер. — Мне выписывают путевку, я еду. И никого ие знаю, никаких ваших...

Сержант замолчал, подвинулся в угол кабины.

Стемнело. Ехали полевой дорогой, потом грейдером и выбрались к мосту через Дон. Там, над просторной речной водой, еще светил, догорая, тихий вечер. Берега тонули во мгле. От них тянулись глухие тени. Но, раздвигая тьму, теплился над водой призрачный свет, словно долгого дня продолжение.

Машины миновали мост и свернули к милицейскому посту, который сиял неоновым огнем, возвышаясь над землей и округой, над светлой донской водой, а главное — над асфальтовой трассой, которая и теперь, в ночи, не знала покоя, содрогаясь под колесами тяжелых «КамАЗов», «Татр». «Жигули» да «Волги» были не в счет, они проносились легко.

4

А в эту пору в десяти километрах от моста и милицейской стеклянной будки отходило ко сну становье рыболовецкой бригады Кости Любарева. Лежало оно в месте уютном: на левом низком берегу, среди займищного леса. Катера, железные лодки-баркасы, неводник и прочая снасть плавучая стояли в небольшом затоне, укрытые от донского течения, ветра да чужого глаза. Рядом с водой, на берегу, пряталась землянка — жилье человечье. Снаружи она была неказиста, утопая в земле по крышу, внутри — довольно просторна и тепла.

На обдонье, на рыбачий стан спустилась ночь. Солнце зашло за гору. Высокий задонский берег, холмы его потемнели, свежая зелень прояснилась, но быстро потухла. Смолкли птицы, ветер притих, легко плес-

кались последние ленивые волны. На низком берегу займищный лес поугрюмел, серые сумерки потянулись из глуби его, затопляя опушки, вербовое редколесье, малую поляну с рыбачьей землянкой. На той стороне загорелся красный огонь створного знака, на воде замигал белый бакен.

Малые окошки землянки остались темными, а из дверей ее вышел на волю старый человек в нижнем теплом белье, в телогрейке да валяных чунях. Он уже спал в землянке, но теперь проснулся и вышел покурить. На стану было тихо, на катерах, в полутьме, кто-то шебаршил.

— Матвеич, ты?! — окликнул старик.

— Я, я... Кто же еще? Прибираюсь. Хозяев много, а прибрать некому.

— Это уж как всегда... — подтвердил старик.

Старику подпирало к семидесяти. Он был седым, напрочь беззубым, прозвище имел давнее и твердое — Дед. Имя его помнила лишь колхозная бухгалтерия. Крупная голова в редких седых волосах, багровые, клешнястые руки, немалый рост, обвисшие, но просторные плечи — все говорило о былой силе, которая теперь, конечно, ушла. Но и во дне нынешнем гляделся Дед вполне достойно. Рядом с ним люди более молодые нередко стушевывались. Тот же Матвеич, с нелестным прозвищем Мухомор, сойдя с катера и пристроившись возле Деда, сразу будто усох: щупловатый, узкоплечий, лицо в морщинах. Он был моложе старика, хоть и в годах, о пенсии уже рассуждал. Много моложе. Но Дед порою смотрелся пристойнее.

— Все убрались? — спросил Дед.

— Славик остался.

— Либо напился да упал?

Матвеич кивнул головой, подтверждая.

Они задымили.

— А я шемайку в соль положил, — объяснил Матвеич. — Шемаечка была, я ее — в соль. А то забыли... Гостям пораздавали, захочется посолонцевать — нету. Днем ее отложили, а потом все бросили и уехали. Пропадет. А я ее в дело. И на катере прибрал. А то как сидели: стаканы, закуска — все кинули. Глядеть гребостно... А я...

Матвеич журчал и журчал. Он любил поведать о делах своих и чужих.

— Славик где завалился? — спросил Дед.

— На свежем воздухе, под вербочкой, — усмехнулся Матвеич.

У самого берега, под цветущей вербой на сетях и брезенте лежал враскидку молодой мужик — Славик, или Чугун, как звали его не то за могучесть, немалую силу, а может, за серый, чугунный от речного ветра да многолетнего пьянства цвет лица.

Поглядели на Славика, повздыхали.

— У нас в Нижнечирской, — промолвил Дед, — тоже такие были. Но мало. На всю станицу два человека: Петро Максаев да...

Дед родился и молодые годы провел в станице Нижнечирской. Теперь его память яснее держала молодую далекую пору, чем остальное. И потому любил он вспоминать и всякий разговор начинал: «У нас в Нижнечирской...». И ясно виделась ему придонская станица, дома ее, вихлястые улочки.

Ночь наставала тихая, теплая, в рыбачьем затоне, вовсе укрытом от донского теченья, вода лежала недвижно. Займище, стеной подступавшее к землянке и берегу, наливалось тьмой.

Звук моторной лодки, бегущей снизу, от поселка, и Дед, и Матвеич услышали разом и разом почти отгадали марку лодки, мотора да и хозяина самого.

— «Крым» бежит...

— С «Нептуном». Форкоп летит.

Короткое время спустя голос мотора стал отчетливее, и вот уже лодка, круто повернув с реки, вбежала в горло затона, ткнулась в берег. Мотор смолк, и в наступившей тишине далеко над водой понеслось привычное:

— Чего сидишь? Чалиться кто будет? А? Я буду чалиться, да? А ты лишь стаканы перепрокидывать? Надо по-умному: я — к берегу, а ты — наготове, сигай и чалься. Понял? Не понял. Я тебя веслом по баньку, и ты враз поймешь, что лодку надо чалить, а то можно очутиться далеко-далеко, аж в Цимле.

Это был Форкоп. На воде, на Дону, далеко вниз и вверх по течению знали его как облупленного. Прежде рыбачил он в колхозе, потом ушел ли, прогнали, но жил водой: лодка, мотор да сети. В путину ли, без путины, летом, зимой — все было одинаково. На Дону он прижился. Милиция, инспекция и прочий казенный люд не трогали его. По весне Форкоп брал помощников, каких-нибудь бедолаг, и менял их чуть не каждый день. Нынче с ним был опять новенький. Спрыгнув на берег, Форкоп приказал ему:

— Сиди. Я пойду с людьми погутарю, а ты сиди, потому что тебя мамочка дураком народила, а выпитый ты и вовсе — скотина, животное. Понял? Я с людьми погутарю, граммочку выпью, а ты готовься. Наберем сети и поедем...

Помощник с готовностью слушал.

— Здоро́во живете, отцы! — приветствовал Форкоп Деда, Матвеича. — Это я прибыл на промысел. Как говорится, сиди не сиди, а работать надо. Верите, неделю не сплю, не ем. Лишь дурнину эту глотаю, — щелкнул ногтем по бутылке. — Прикорну в лодке часок и погнал. А как же... Рыба не ждет. Надо денежку заработать. А то время придет, добрые люди будут в теньке сидеть, самогоночку попивать. А я у них охнари выпрашивать? Я так не люблю.

На весенней путине Форкоп дичал: редко брился, спал в лодке ли, на берегу час-другой. Голос его садился до хрипа, заплывали глаза, лик чернел.

— Где народ, отцы?

— В станицу подались.

— На танцы? Придурки. Все уехали? И шпана?

Это он о приблудных спрашивал, какие вечно у становья крутились, подрабатывая лишь на питие.

— Все подались. Славик остался.

— Копыта откинул? — догадался Форкоп. — Стаканяру-другую-третью и — под вербу... Славик! — позвал он. — Чугун!

— Пусть спит, — остановил его Дед.

— Сейчас проснется, — пообещал Форкоп и позвенел о бутылку стаканом.

Славик при этих звуках заворочался и сел, не сразу поняв, где он и что.

— Чует кобыла старая... — восхитился Форкоп. — Стаканяру он и мертвый почует, — и вновь позвенел.

Славик поднялся и послушно пошел на звон, на ходу встряхиваясь и фыркая, пытаясь отогнать похмелье и тяжкий сон.

Он был рослым, еще не старым, но, конечно, не Славик уже, не мальчик, перевалило за тридцать.

— Уехали, что ли? — оглядел он становье. — Я же с ними хотел, на танцы. Заснул...

— Не танцы тебе нужны, кобыла старая, и не бабы, — наставительно произнес Форкоп, наливая. — Тебе нужен стаканяра, вот его и держи, крепче, двумя руками.

Славик послушно опрокинул в себя стакан, спросил:

— А загрызть?

— Мануфактурой, — ответил Форкоп. — Путина идет, каждая минута на счету, а ты — закусывать, время терять. Пройдет путина, тогда будем жрать! Колбасу, курятину и прочий ассортимент.

— Ты иди на катер, поешь... — забеспокоился Матвеич. — Там щи, мясо, яички.

— Ладно, потом... — отмахнулся Славик, доставая курево.

— Хватит про жратву... Вы скажите, отцы, как нынче рыба? Приволочку кидали? Где? Чего показала?

Ответил Матвеич. Он любил рассказывать.

— Нынче неплохо, — поглядывая на Деда и Славика, начал он. Хвалиться и откровенничать об улове у рыбаков было не в чести: плохая примета, удача может отвернуться. Но Форкоп — человек свой, перед ним можно и не таиться. — Кидали... И неплохо... — Матвеич был доволен. — Сдали хорошо.

У Славика похмельная и сонная одурь отступала перед новым зельем в крови. Просыпалась в голове и теле живость. Он поднялся, потягиваясь, пожалел:

— Зря я не поехал. За бабами погонять... Ну, ладно... Пойдем поужинаем да спать.

— Значит, рыбка себя выказывает, — довольно прохрипел Форкоп и предложил: — Выпьете, отцы?

Дед отказался. Матвеич, поеживаясь, сказал:

— Налей чуток. Что-то вроде знобит.

Знобить его не знобило, просто он выпить любил, но побаивался осужденья. Все же — не молоденький.

Форкоп забрал остатки питья и отправился в лодку, и снова поплыл в ночи над водой сиплый его говорок:

— Камушки клади хорошо... Сплывем, ящиков пять нашелушим — и хватит. Нам много не надо. Два ящика — на пойло. Остальные — в загашник. Денежка тоже нужна. Время придет, добрые люди будут в теньке, самогоночку...

На катере, в камбузе, шарился Славик, отыскивая ужин; у землянки, докурив, собрались ко сну Матвеич и Дед.

— Давай спать... День длинный, тяжелый...

5

День был и вправду нелегкий. Поднялись как всегда, на рассвете.

С вечера землянку топили. Всю ночь под низкою крышей томился портяночный дух вперемешку с табачным дымом. Человечье дыхание и плоть, влажные сапоги, мокрая одежда — все тут сохло, дышало. К утру воздух землянки становился пахучим и плотным.

Первыми поднимались старшие: Дед и Матвеич. Они включали неяркие лампочки, работавшие от батарей. Отворяли двери землянки, на газовой плите грели завтрак. Следом вставал бригадир. Звали его каждый по-своему. Для Деда он был Константин, это слово трудно выговаривалось. Словно камешки перекатывались в беззубом стариковском рту. Для других — Костя Любарь, а то и Любарек.

Любарь никогда людей не будил. «Нам таких не надо, — говорил он, — какие сами не встают». Так было всегда, так было и нынче: поднялся, приемник включил, отыскал программу «Маяк», с новостями и музыкой, и пошел на волю. Там уже Дед курил утреннюю цигарку.

Солнце еще не вставало. Катера дремали, уткнувшись носами в берег. В глубокой балке, на той стороне Дона, лежал густой туман.

— Ну, чего, Дед? — спросил Костя.

— Тепло... — сказал Дед. — Туман...

Весна выдалась неважная: ни тепла, ни разлива. Рыба кучилась, сбиваясь в косяки, шла по глуби, где ее не взять. Рыбаки раз за разом таскали пустые невода. Лишь неделю назад потеплело, полая вода пошла, и увидели рыбку.

— Тепло... — повторил Дед. — На Харлане кинем. А чуток прогреется — на Лебедёнке. Его какой день не трогаем. Там сбирается... — про-

говорил он значительно и, распрямившись, поглядел в ту сторону, где в утреннем тумане лежали задонские холмы, балки, рыбацкие тони. Голос его был уверенным, и пристальный взгляд, казалось, видел через туман и темную воду, как кормятся на теплом плесу косяки тяжелого леща, копаясь в донном илу.

За это и держал Любарь старого Деда. В бригаде порой ворчали: «На ходу дремлет... Из рук все валится... Работай за него...» Но Костя такие разговоры пресекал решительно.

— От Деда проку больше, чем кое от кого... — намекал он. — Кто вверх тормашом.

А в землянке, за длинным дощатым столом уже звякали посудой. Завтракали всегда крепко: горячие щи, мясное. Впереди лежал долгий день, и лишь бог ведал пору обеденную да иную.

Любарь достал из-под кровати две бутылки водки. Она там хранилась, в ящиках, под его надзором.

— Кому надо, похмеляйтесь, — сказал он.

Желающие нашлись. Славик первым потянулся за бутылкой.

— Большому кораблю — большое плаванье, — произнес он.

— Большой и падает с большим грохотом, — намекнул ему Любарь.

С утра выпивали не все и в меру. Впереди ждала работа, да и бригадир поглядывал зорко.

Завтракали, одевались: ватные брюки, теплые свитера, на них — телогрейки, на ноги — рыбацкие сапоги-забродни до бедер, поверх всего — оранжевые клеенчатые роканы, куртки да брюки, на головы — зимние шапки. Хоть и весенняя пора на дворе, на воде — стыло.

Поплыли. Тяжелая лодка-баркас, ворча и пофыркивая соляровым дымом, вывела из затона кургузый понтон с неводом и потянула его к тому берегу. Следом, вдогон, помчалась легкая «казанка».

Вставало солнце. По воде, через Дон, тянулась малиновая полоса, точно расшитое огнем полотенце. Лениво играла рыба. Редкие крачки кружили над лодками.

На понтоне неводника, никому не мешая, у борта восседал бригадный кот Рыбалкин, пушистый и рыжий, словно лисица. Зимою он жил в караванке. В путину плавал на катерах и любил дремать в рубке, у штурвала. Рыбу он ел только живую и теперь ждал своего часа, прищуренно глядя, как неводник, оставив на берегу «пятной» конец невода и рыбака, описывает крутую дугу. Невод с шелестом убегал в воду и тонул, расправляясь стеной. Ровная череда поплавков-балберок отсекала от реки немалый кус.

Кот Рыбалкин дремал, прижмурив глаза, но все видел: как неводник ткнулся в берег, как потянула невод громыхающая лебедка, как сверкнула в делях первая рыба. Сверкнула раз-другой и пошла густо.

— Дель рыбку кажет! — довольно крякнул Славик.

Кот Рыбалкин, напружинившись, перемахнул с неводника на берег. Ему бросили пузатую икряную красноперку. Рыбалкин побаловал с ней недолго, играя лапой, а потом начал грызть, с головы.

На неводе оживились. Весело тянул верхнюю обору Славик-Чугун. Матвеич резвее обычного перебирал дель. Лучший друг Чугуна — Мультик что-то орал издали, от «пятного» конца невода.

Шла рыба. Поначалу в делях: красноперый увесистый рыбец, серебряная шемая, прочая бель; потом в мутной воде заиграли спинные плавники. Выплескивались наружу тяжелые лещи, прогонистые судаки. Два пудовых толстолобика, вовремя почуяв беду, разогнались и прыгнули через верхнюю обору.

В неводе, а потом в лодках колотились лещи: пузатые от икры «матки» и шершавые на ощупь самцы, готовые к любовному бою; попадались и золотые красноусые сазаны, зубатые судаки, лобастые черные сомы. В лодках рыба недолго билась, кипя серебром, стихала. Лишь сомы, опомнившись, хлестко колотили тяжелыми хвостами и куда-то ползли.

Перебирали невод, готовясь ко второму замету. Над лодками, над тоней, чуя поживу, кружились чайки да крачки, сбиралось черное воронье. А с высокого холма уже катился к берегу зеленый «уазик»-вездеход.

Любарь не зря свое становье оборудовал на займищном, низком берегу. Весенние разливы надежно отрезали его от всех путей, лишь водой добирайся. Здесь же, берегом высоким, от поселка ли, от города, от мест иных дорога лежала торная.

Машина подъехала к самой воде, вышли из нее милицейские, в штатском, оба — свои, из района. Один из угрозыска, другой — розовощекий пухляк — гаишник.

— Чего привезли? — весело спросил их Славик-Чугун.

— Себя, на погляд. Ты же по нас скучаешь, — отвечал гаишник.

— По тебе заскучаешь. На дню три раза рисуешься. А вот «уголрозыск» давно не появлялся.

— Я в городе, на курсах учусь.

— Либо экзамены подходят? — догадался Любарь. — А сазаний лоб, он — твоего умней. С ходу все сдаст.

— Точно... — засмеялся милиционер.

Нагрузили гостям рыбы, отправили.

Мультик — мужик нестарый, но уже с малиновым от пьянства носом — печально вздохнул им вослед:

— Жадные менты. Их начальник, тот всегда какого-нибудь пойла, но привезет. А эти — продума́ны.

По трезвости Мультик всегда был печален, во хмелю с ним обязательно что-то случалось: из лодки на ходу выпадет, в колодец попадет, перепутает дома и в чужой заберется — все как нарочно, словно в детском мультфильме. Потому и звали его Мультиком.

Пока перебрали невод, готовя его к новому забросу, на тоню по горячему следу подбегала одна машина за другой. Из рыбколхоза, свое начальство, потом — врачи. Они, правда, спирту привезли. Потом машинешка из рядом лежащей станицы.

Перед новым забросом Любарь сказал:

— Славик, Мультик, берите байду с рыбой и гоните на ту сторону. А то Пухляк вякнет, и вся ментовка здесь будет, бакланьё. Рыба не шла, они — голодные. Товарную отбейте, и на хутор, там просили.

— Сколько?

— Грузите больше, заберут. Но вдвоем торговать не ездите, — предупредил он. — Я вас знаю, нажретесь и попа́даете. Мультик поедет, он — наглей. А нам пришлите лодку с помощниками, двое пусть едут.

На том берегу возле рыбацкого стана всю путину кружился приблудный люд: Сатана, Водяной, Куцавелий, Попик, Хрипун, Кулига и прочие. Были у них свои лодчонки, моторы, кое-какая снасть. Жили вольно, промышляя на водку, об ином забыв. При нужде охотно помогали Любарю.

Второй раз кинули невод и тоже взяли рыбы неплохо. Сгоняли к становью, привезли харчей да водки и, перекусив, поплыли к Лебедёнку.

Рыбачьих тоней, уловистых, удобных, без зацепов, было на реке немного, и все они звались поименно: Харлан, Осинник, Лебедёнок, Солдат и прочие. Первый звался по имени деда, который тут жил когда-то; Осинник, видно, по деревьям, хотя их уже не было. Иные тони носили имена для теперешних людей совсем непонятные: просто Лебедёнок да Солдат. Как и все вокруг: Харсеева да Манская балки, ерики — Узяк, Кутерьма. Как озера, протоки и все иное.

На Лебедёнке, который два дня отдыхал, как и думал Дед, взяли хороший улов. Подтянули невод, стали рыбу в лодки грузить, орудуя «зюзьгами» — сетчатыми черпалами.

Подъехал «купец» из Донбасса. Донецкие помногу рыбы брали, привозили крепкий самогон, закуску, платили не торгуясь.

Загрузили купца, начали рыбу сдавать на свою, заводскую «при-

емку» и лишь к вечеру собрались, наконец, пообедать ли, поужинать — словом, по-людски поесть. А уже пьяные были и Славик, и Мультик. Матвеич блаженненько улыбался, морщинился, это у него первый признак. Любарь тоже выпил. А уж приблудных орда дикая к вечеру в свою обычную норму пришла, наглотавшись за день.

Были все приблудные на одно лицо: рожи — небритые, черные, заветренные, глаза — заплывшие. И перла наружу пьяная дурь. Галдели каждый свое.

— Подожгу его! Подожгу! — орал Хрипун. Это о доме, который они с родным братом не поделили.

— Прирежу стерву... — грозил неверной жене Кулига, сжимая кулаки. — Прирежу, и никто не узнает.

Морщинистый, усохший Водяной тоже кого-то ругал.

У лысого Сатаны горели огнем глаза. Что-то гнездилось в его башке, вряд ли доброе. Недаром часто проводил он ночь, связанный по рукам и ногам.

Все было привычно, как всегда. Дед похлебал горячего и отправился спать. Любарь просмотрел квитанции за сданную рыбу, прикинул деньги живые, довольно похмыкал и сказал:

— Поеду в станицу.

— Погнали! — обрадовался Мультик. — Я тоже...

— Может, обойдешься? — спросил Любарь. — Завтра — работа.

— Буду как штык!

Красный губчатый нос Мультика светил радугой. В бригаде посмеивались: «Нечем похмелиться, нос откуси у Мультика и жуй...»

— Погнали! — кричал Мультик. — Танцы заварганим! Баб гонять!

— Погнали! — вторил ему молодой приблудный люд, Хрипун да Попик.

— В шесть утра чтоб на месте был, — сказал Любарь Мультику. — Матвеич, на стану приглядывай. Я — подался.

Он кинул в сумку пару лещей да судака на уху, бутылку водки забрал и поехал, никого не дожидаясь. Голос ревущего мотора сразу обрезал пьяный крик и ор позади. Любарь сидел на корме, у руля, плотно запахнув брезентовую штормовку, и думал, как придет он к подруге своей. Давно уж не бывал у нее.

Год рыбака делился на две неравные части: короткая весенняя путина, а потом летняя «жарковка», осень и зима. По весне ловили рыбу неводами и внаплав здесь, возле станицы Голубинской. Летом уходили вниз, в Цимлу, сетями рыбачили, на «постав», осень встречая, а потом — зиму там проводя на подледном лове.

Так было из года в год: по весне — Голубинская, остальное время — Ложки да Рычки, в общем, Цимла. Словно два родных дома, там и там прижились.

Лодка подходила к станице. Дома ее, лежащие на прибрежном угоре, светились огоньками окошек. Когда-то, до революции, большая была станица, окружной атаман в ней сидел; церковь — каменная. Теперь — обычный колхоз, глухое Задонье.

Оставив лодку возле причала нефтебазы — здесь не тронут, — Любарь быстро поднялся на гору. Казенная двухэтажка, в которой жила его подруга, стояла неподалеку, и свет в окошках горел.

Костя отворил незапертую дверь, повесил в прихожей штормовку.

— Кто там? — спросила хозяйка.

— Я, — ответил Любарь, проходя на кухню.

Там он оставил сумку с рыбой, а уж потом прошел в комнату. Хозяйка — молодая темноволосая женщина — была не одна. На диване сидел гость — человек незнакомый — в костюме, при галстуке, со значком-ромбиком на пиджаке.

— Познакомься, это — Вася...

— Вася? Понятно... — хмыкнул Любарь и спросил: — У тебя, Вася, кажется, туфли в прихожей?

— Туфли... — не понимая, подтвердил гость.
— Так вот, обуй свои туфли и гуляй, гуляй, гуляй... В клуб иди. Там мои ребята музыку заведут. Понял?
Гость обескураженно поглядел на хозяйку, молча поднялся и ушел.
— Командир... — проговорила хозяйка. — Чего раскомандовался? Может, я за него замуж выйду.
— Не выйдешь, — ответил Любарь.
— Почему?
— За такого я не отдам.
— А за какого же?
— Да вот чтобы вроде меня.
Он подошел к большому зеркалу, оглядел себя: высокий, жилистый, джинсы в обтяжку, широкие плечи под свитером, узкое худое лицо, короткие волосы. Хоть и под сорок годков уже, но еще — в поре. В зеркало поглядел, подмигнул себе и повернулся к хозяйке. Шагнул, обнял, почуял горячее тело.
— Тоже, нашла жениха. Цыкнул на него, и он — рысью. Ромбик...— вспомнил значок на пиджаке. — Инженер, что ли, какой?
— Техникум кончил, — ответила хозяйка, поддаваясь крепким рукам. — Ты чего так долго не приезжал?
Любарь не ответил, рука нырнула под кофту, проверяя, все ли на месте. Потом вспомнил, сказал:
— Я тебе духи привез. Какие-то, вроде французские, если не сбрехали...
Он вышел в прихожую, достал из кармана штормовки зеленую коробку, прочитал.
— Правда! — ойкнула хозяйка и выхватила коробку из рук. — Ой, молодец... Спасибо...
Она открыла флакон, подушилась и обняла Любаря, прижалась к нему, ласкаясь и целуя, проговорила:
— Хорошо пахну?
— Ты — хорошо... — шумно понюхал Костя. — Как бабе положено. А духи вонючие, не стоят они полстольника.
— Пятьдесят отдал?
— Давай поужинаем, — сказал Любарь. — У тебя там чего-то, — снова понюхал он, — получше духов.
В квартире было тепло и чисто. Из кухни тянуло запахом свежего борща и печеного. Любарь почуял, как он за эту неделю озяб и устал: вода, холод, ветер, еда наскоро и всухомятку, водка — все надоело.
— Сын у бабки?
— Да.
Три года назад Любарь попал в этот дом и словно прилип к нему. Раньше гулял по всей станице, по окрестным хуторам. Клуб, шум-гам, пьянка, бабье... А сюда попал — и обрезало. Здесь он жил по-домашнему: чистая квартира, тепло, женщина славная, «разведенка» с маленьким сыном. Спокойная, добрая, негулящая, вина в рот не берет. Попал к ней, и никуда больше не тянуло. Всю весеннюю путину гостил под этой крышей, навещал и в иную пору. Уже привыкли, сжились. Бригада и станица знали, где Любаря дом.
А ведь недавно — может, молодость виновата — любил погулять. Сейчас в клубе — дым коромыслом. Завклубом — человек свой, рыбакам от него особый почет. Специально комнату выделил, там пьют и закусывают. Завклубом, радист — все свои, киномеханик — тоже, по особому заказу фильмы задом наперед крутит. Любили такое зрелище в загуле. Или по радио: «Рыбацкий танец. Специально для рыбаков бригады Любаря, рыбколхоза «Красный Дон». И пошли... Кто во что горазд. Одни — приодетые, другие — в рыбацких робах, в резиновых сапогах, все в чешуе. Пьяные — в дым. Выплясывают. Сапоги-забродни сбросят, портянки в сторону и босиком, вприсядку. Рев, вой... Девок тянут, поят их.

Когда-то все это Любаря веселило. Теперь — словно отрезало. Потянуло к покою. Поужинать, телевизор поглядеть и под теплый бочок. Так было и сегодня. Правда, без телевизора. Все же давно не видались, наскучали.
А станица заснула не вдруг. Гремела музыка в клубе. Уборщица Макарьевна бегала за самогоном, таская четверть за четвертью. Рыбакам отказа не было, платили они натурой: лещом да синцом. Гульба разворачивалась. Гремела музыка; кто-то пьяный валялся на сцене; Сатана с кем-то дрался, его связали; девки пришли — словом, гульба разворачивалась.

6

На бригадном стану в эту пору собирались спать. Но вдруг на правом берегу запел сигнал машины и замигали фары, призывая. Видать было и слыхать.
Дед раньше в землянку ушел. Матвеич и Славик глядели на тот берег, переговаривались.
— Может, съездить? — нерешительно сказал Славик.
— На чем? Лодки — в станице.
— Байду завести.
— Была нужда.
— Люди зовут.
— Какие люди? — спросил Матвеич. — Любарь нам ничего не приказывал. Мало ли кто... Может, не к нам вовсе. А тебе б только ездить.
Он попал в точку. Славика уже ломало похмелье. Днем и вечером выпито было немало, теперь подступала болезнь, а ночь лежала еще впереди. Водка стояла у Любаря под кроватью, но трогать ее нельзя. А на том берегу, вполне возможно, друзья приехали, а может, купцы. Продать им нечего, но все же тянуло поехать. Как говорится, чуял нос, чесался.
— Может, люди приехали в дело, — стал убеждать Славик. — Может, купцы какие, договориться хотят. Не зря столько сигналят. Или родня. Твоя, например. Ведь может быть? Вполне.
Матвеич подумал, помялся. Ехать на тяжелой байде в ночи не хотелось. И он решил:
— Чешется — поезжай. Рыбы у нас все равно нету. Если на завтра, договорись. А я подожду тебя.
— Поеду... Люди сигналят, значит, в дело.
Славик, толкаясь веслом, отвел байду от берега, на ощупь завел движок и осторожно, приглядываясь во тьме, прошел горло затона. А уж потом, на широкой воде, включил полный газ и, запахнув телогрейку, устроился на корме, у руля, целя к огням машины. На воде было зябко, а тут еще с похмелья знобило. Но верилось, что там, на берегу, у машины будет выпивка. Опрокинуть стакан какого-нибудь «пойла», а потом — спать.
Славик подвел лодку к берегу, ткнулся в песок и спросил:
— Что за шум, а драки нет?
Яркий свет фонаря, вспыхнув, ударил ему в глаза. Щурясь, он сказал:
— Не дури. А то кирпичом по твоей фаре.
Луч света пробежал по лодке, от кормы до носа, и погас.
— Ты, что ли, Славик? — узнали его.
— Ну, я...
— А где Любарь?
Вопрос был обычным, но что-то насторожило Чугуна, и он ответил уклончиво:
— Уехал.
— Вылазь, потолкуем.

Славик узнал говорившего, тот был своим милиционером, из райотдела. Он узнал и по тону понял, что приехал зря: не будет выпивки.

— Чего мне вылазить, — начал он злиться. — Говори — и поеду. Рыбы нет. Все сдали.

— Тебе трудно выйти?.. — позвали его из машины. В кабине зажегся свет. — Иди сюда.

Славик нехотя сошел на берег.

— Иди, иди! — подогнали его. — Лезь сюда!

— Нечего мне там... — начал было Славик.

— Лезь! — перебил его командный голос.

Подгибая голову, он влез в «рафик», уселся на скамейку. Против него, понурясь, сидел донецкий купец, которому нынче продали рыбу. Днем он был шебутным, говорливым, сейчас — раскис.

Незнакомый, но по ухватке милиционер, в гражданском, спросил донецкого покупателя:

— А ну, гляди. Этот был?

Мужик поднял голову, сказал:

— Вроде был.

— Рассчитывался не с ним?

— Чего ты мне лепишь? А? Чего лепишь?! — психанул Славик. — Какой расчет?! В глаза я его не видал! Много тут всяких мыкается! Тому на уху, тому... Дай да дай! Пошли вы все!

— Помолчи! — строго сказал штатский. — Не спрашивают, молчи. Значит, тот. Поехали на ту сторону.

Славик понял: попались. Причем не своим, а залетной милиции: ростовской или другой. Молча выйдя из машины, он прыгнул в лодку, сел на корму, приказал:

— Отпихивайтесь.

Поплыли. Во тьме ровно стучал мотор. Светили, притухая и вспыхивая, огни цигарок. У Славика похмелье разом прошло. «Влетели... — думал он. — Впоролись. Донецкий раскололся, а мент — не свой. Будут лепить. А грузили много, тонны полторы. Конечно, в таких делах всегда бригадир в ответе. Он договаривается, деньги берет. Но все равно хорошего мало».

Матвеич догадался, зажег на катере огонь. Славик, как взял на него курс, так и шел. И на полном ходу врезался в берег, не попав в горловину затона. Двигатель смолк, и в тишине ясно слышно было, как покатились по лодке, громыхая все разом.

— Ты чего?! Ты чего делаешь?!

— Это он специально! Утопить хочешь? Я тебе...

Ругались, возились во тьме. Славик и сам улетел от руля, с кормы, ударился о переборку.

— В бога... В креста... — матерился он. — Ага! Специально ребра себе ломаю, чтоб вам досадить. Черти вас носят по ночам. Дома не сидится. Отпихивайтесь!

Кое-как оттолкнулись от берега, завелись и осторожно, на малом ходу подошли к стану. Ругались и в лодке, и на берегу. Славика лаяли, и он в долгу не оставался. Матвеич ожидал их и тоже встрял в ругню:

— Ты чего, Чугун? Пьяный? Я же зажег специально. Не побились? Он еще не знал ничего и был заботлив.

Приезжий милиционер спросил:

— Где весь народ? Кто тут есть?

— Народ... — усмехнулся Славик. — Я да Матвеич, да Дед спит в землянке. Вот и народ.

Прошли в землянку, включили неяркий свет. Дед проснулся, заворчал:

— А то кровати не найдут, свет зажгли. До утра будут шариться,— но, завидев милицейскую форму, смолк, сел в постели.

— Этот был? А этот? Узнаешь?

Донецкий покупатель согласно кивал головой:

— Они... И еще были...

— Рассчитывался, деньги платил кому?

— Нет его. Тот вроде помоложе.

— А вы его знаете?

— В глаза не видели! — твердо открестился Матвеич.

— Не знаем, не знаем... — вторил ему Дед. — Тут много всяких шалается.

— А где главный ваш? — спросил приезжий милиционер. — Как его?.. — поглядел он на местного сержанта.

— Любарь. Любарев, — ответил тот.

— Где Любарев?

— Домой уехал, — с ходу сбрехал Славик.— Жена заболела. А завтра в колхоз пойдет сети получать. Сетями бедствуем.

Приезжий недоверчиво хмыкнул, спросил:

— А может, он приедет?

— Конечно, приедет, — с готовностью ответил Славик. — Куда он денется. Послезавтра обещал. Можете тут располагаться, у нас две койки свободные. Завтра невод поможете тягать.

Приезжий покачал головой:

— Много болтаешь, — и взглянул на местного сержанта.

Тот плечами пожал. Он с самого начала был против этой горячки: ночью куда-то мчаться, как будто не будет дня. И Любарь никуда не денется. Но московский ломил по-своему. Теперь вот сидели среди ночи у черта на куличках, в какой-то земляной норе.

— Ладно... — решил приезжий. — Бригадир появится, пусть немедленно едет в райотдел. Перевезите нас, — поднялся он.

— Понравилось на байде кататься, — усмехнулся Славик. — Сейчас я вас с ветерком...

— Не дури, Чугун, — предупредил его местный сержант, — а то доиграешься.

Сержант злился: длинный день лежал позади, езда, тряска, считай впроголодь; потом рыба, дурацкие поиски Любаря. А Любарь — мужик битый и с начальством живет хорошо. Еще неизвестно, как все повернется. Эти приезжие вечно свои порядки наводят, себя хотят показать. Вот и мыкайся с ними по ночам. Сейчас Чугун повезет и перевернет. Да не у берега, а посередке. Какой с алкаша спрос. А вода — лед. Не выплывешь.

На волю, во тьму, он шел нехотя, покашиваясь на приезжего и матерясь в душе: «Стерва московская... Зануда... Приезжают люди — как люди. И к ним с уважением, и они... А этот... Накупать бы его, чтоб знал». От одной мысли передернуло. Не дай бог... Сразу — конец.

— Ты, Чугун, осторожнее... — предупредил он, ступая в лодку. — Гляди... А то спьяну...

Но у Славика в голове было уже иное. Он быстро перевез непрошеных гостей, а вернувшись в землянку, с ходу нырнул под кровать бригадира, вынул бутылку водки и оправдался:

— Такое дело... Надо обмозговать. Любарь не будет ругаться.

Он налил себе, выпил. Матвеич тоже не отказался. Дед, с кровати не поднимаясь, цедил сигарету.

— Серьезное дело... — задумчиво произнес он.

— Как менты повернут, — сказал Матвеич. — Мент — залетный, купец раскололся. А грузили мы тонны полторы. Могут защемить.

— Любарь выкрутится, — заверил Славик. — Все в ментовке свои. Сколь они рыбы перетягали. Машинами. И городские кормятся, вплоть до генерала.

Это было правдой. Милиция брала рыбу и себе, и другим. Даже вертолет прилетал порою из города за свежими судачками для генерала.

— Не знаешь ментов, — усмехнулся Матвеич. — Родня до черного дня. С потрохами продадут. На то они и менты, такая порода.

— Любарь с ними в завязке, — убеждал Славик. — Тоже их может наколоть. Надо с утра в станицу смотаться, предупредить.

— Чего предупреждать, утром прибудет.

— В станице телефон. Может, сразу позвонит. Нет, встану пораньше и поеду.

Пили. Прикидывали так и эдак. В конце концов Дед сказал:

— Утро покажет. Спать надо. Завтра работать.

Легли, свет потушили.

Во тьме Дед сказал, вздыхая:

— Раньше в станице Нижнечирской я жил, тоже рыбалили. Отец мой и меня приучал. Поймаем, сдаем. А нынче побесились все: ищут да хватают... А у нас в Нижнечирской...

Старик уходил, как в сон, в далекое свое детство, юность. Там ему было хорошо.

А на воле, в ночи, над теплыми водами займища, над баклушами, мочажинами, полоями гремел слитный лягушачий хор, стоял стон водяных быков. Это был зов весны.

Небо лежало в звездах. В гладкой воде затона отражаясь, пылало серебро огней, ярче небесных.

7

Славик-Чугун собирался рано встать, но проспал. Разбудил его Мультик, приехавший на рассвете.

— Клопа давишь?! А мы гуляли! И про тебя я не забыл. Похмелись.

После ночной гульбы Мультик был помят и черен. Нос его словно напух и сизел большой спелой сливою.

— Клавка твоя была, — докладывал он Чугуну. — Ее Сатана зажал, а она ему по лысине.

Дед с Матвеичем уже поднялись. Грелся на плите завтрак.

Подъехал к стану Любарь. Матвеич поспешил навстречу. Он любил новостями людей удивлять. И теперь, пока бригадир из лодки выходил да чалился, Матвеич рассказывал о вчерашнем. Он говорил с опаской, оглядкой, словно кого-то нужно было побаиваться и здесь.

Любарь все выслушал, прошел в землянку. Он был выбрит, и пахло от него одеколоном ли, духами.

Завтракали. Мультик повествовал о гульбе:

— А Клавка твоя потом нажралась. Моя Зинка...

Славик-Чугун толковал про милицию. Матвеич его поправлял, уточняя.

Любарь переоделся, выпил водки и сказал:

— Кончай базар. Никому мы ничего не продавали. Мы сдаем всю рыбу на приемку, как и положено. Откуда он взял рыбу, у кого, сам поймал или как, это пусть милиция разбирается. И нечего талдычить об этом, чтобы я не слыхал. А то любите языки распускать...

На этом все разговоры кончились. Поплыли работать.

Сделали первый замет. Любарь обычно стоял у лебедки. Здесь легче, и сверху, с неводника, все видать: дуга поплавков-балберок на воде, берег, по которому тянут «пятной» конец невода, а порою держат с трудом — полая вода сильна. Нынче Любарь поставил на лебедку Матвеича, а сам пошел тянуть верхний урез.

По бедра в воде. Стылость пробивает резину, ватники, шерстяные носки и портянки, обжигает ноги. Тянешь урез и тянешь. Холодом сводит пальцы. Недаром у рыбаков болят они и пухнут, вечно в язвах и трещинах, а к старости, как у Деда, костенеют в суставах, становятся словно клешни, ложку в них не удержишь.

Заброс был удачным: лещ, рыбец, много синца. Полную байду рыбой «налили».

Любарь сказал Чугуну:

— Смотайся в землянку. Привези перекусить, завтракал плохо.

— И водки? — зябко передернул плечами Славик.

— Вези.

Невод перебрали, приготовили к новому замету. Славик-Чугун привез сомовьи копченые балыки, своего изделья, шемаечку — ее тоже делали для себя, сухим посолом. Когда-то было много в Дону этой прогонистой серебряной рыбки, оплывающей жиром, нежное мясо ее тает во рту. Много было, да сплыло. Лишь Дед помнил иные времена: донских осетров да севрюг, громадных белуг по пять и более центнеров весом, стерлядочку — рыбку золотую. Все это было и ушло.

Вставал ясный день, солнечный и теплый. Поднялись от воды, в затишек. Выпили, закусили и разлеглись подремать.

Любаря водка не брала: голова была ясной, чуть познабливало. Дрема не шла. Он лежал, закинув руки за голову. Рядом, в глинистой стене обрыва, суматошились скворцы. Они жили там в норах, веселый народ. Звенели жаворонки. Тянуло с берега сладковатым духом молодой зеленой травы.

Душа была неспокойна. Любарь маялся и не мог решить: ехать ему в поселок или нет. Вроде надо бы все узнать. Но не хотелось. Может, обойдется. Такое — не впервой. Каждый год попадаются один ли, двое. На старых бригадирах таких дел, как на кобеле блох. Штрафы, «товарищеский» суд, кому не везет — срок «условный», иной раз и «химия», отработки. Так ведется всегда. Любаря бог пока миловал, с милицией в дружбе жил. Должны помочь и сейчас.

Любарь достал из сумки водку, сделал пару глотков. Проснулась зависть ко всем. К Деду, к Матвеичу, к Славику-Чугуну... Подремывают, и душа не болит. Барыш — поровну, а отвечать — бригадиру.

Дед поднялся, спросил:

— Не спишь? А я дремал. Даже сон привиделся. Вроде старые времена. Станица моя, Нижнечирская, с отцом рыбалили... Я — совсем мальчонок...

Лысая голова с венчиком редких седых волос. В черном провале рта один зуб торчит, единственный. Глубокие морщины. Не верится, что когда-то был молодым и даже мальчонкой.

— Разве ныне работа... — качал головой Дед. — Лебедка, сети капроновые, стоят и стоят. А мы — с нитяными. Отжимай их, суши.

— Пора тебе и на отдых, — сказал Любарь.

— Пора... — вздохнул Дед. — Вот Володька доучится...

Он содержал двух внуков, детей непутевого сына.

Любарь вздохнул, и Дед понял его, сказал:

— Обойдется... Впервой ли... Такая уж наша судьба.

И Любарь, ухватившись за слова Деда, горячо заговорил:

— Конечно... Платили бы по-человечески, и на черта тогда все это: рискуешь, прячешься да боишься всех. А сдавать бы честно и получать как люди.

Он снова потянулся к водке. Глотнул и резко поднялся.

— Кончай ночевать, мужики! Пошли!

Славик-Чугун и Мультик, початую бутылку углядев, тоже к ней приложились. Обычно на работе Любарь своих ребят сдерживал, потому что, дай им волю, день и ночь будут пьяными валяться. Но сейчас промолчал.

Подошли к воде, стали неводник цеплять. А в это время наверху, с горы, засигналила машина, сбегая вниз по извилистой, крутой дороге.

Стояли и ждали ее. Любарь узнал красный «Москвич» двоюродного брата и пошел навстречу. Брат с ходу развернулся и, не бросая руля, высунулся из окна.

— Поехали, надо... Привет, мужики! — крикнул он всем другим, помахав рукой.

— Кто сказал? — спросил Любарь.

— Поехали, — повторил брат. — Все расскажу.

Любарь глотнул на дорожку водки, приказал:

— Матвеич, ты — старший. Возьми пару помощников, ловите и все сдавайте. Я приеду.

Он сбросил клеенчатую робу и брюки-ватники, оставшись в свитере и спортивном трико.

Поехали. Брат объяснил коротко:

— Вроде чего-то копают. Велели тебе передказать, чтоб позвонил обязательно.

— Сволочи! — стал ругаться Любарь. — Менторезы! Подлянки! Хапают, глотают ртом и... Дай и дай! А как тебе надо, сразу в кусты. Пить-жрать, так все — кореша, братушки. А теперь — в линьку. Но если на то пошло, я могу кое-что припомнить. И кое у кого зачешется. Погонов, звезд нахватали, дипломов... Рыбка все делала... — кипела в нем злость, не было ей удержу.

Брат молчал и вздыхал до самого поселка. А там привез Любаря к дому, повторил:

— Сразу звони. Он сам велел. Я — на работу. Вечером забегу.

Дома была лишь дочка. Она сидела за уроками. Поздоровалась и снова уткнулась в книжку. Любарь прошел к телефону. Во всей округе лишь у него телефон стоял. Номер набрал —занято, повторил — снова короткие гудки. Наконец ответили.

— Это я — Любарь. Чего там?

— А то не знаешь. Дело-то вонючее. В областном управлении знают. В общем, так, заглохни, чтобы тебя не нашли. Куда-то уехал, далеко. Через неделю звякни.

Любарь положил трубку. Вроде отлегло на душе. Хотя и хорошего мало. В такую пору бригаду бросать не с руки: самая работа. Но ничего не попишешь. Надо делать как велят.

Он почуял усталость, прилег на диван и сразу уснул. Сон его был тревожен. Привиделось ему что-то страшное. Он пытался крикнуть, но лишь застонал.

Дочь услышала, подошла к дивану. Любарь снова застонал и дернулся, словно пытался подняться, и боль исказила лицо его.

— Папа, папа... — позвала дочь и тронула его за плечо.

Любарь сразу проснулся и облегченно выдохнул.

— Что с тобой?

— Снилось что-то страшное.

— А что?

— Не знаю... — попытался вспомнить Любарь. — Страшное какое-то.

Он окончательно проснулся. После тяжелого виденья лицо дочери показалось ему таким милым, что он разулыбался. Дочь не поняла его.

— Ты чего? — спросила она.

— Да так... — ответил Любарь.

В гараже он заправил и прогрел машину, а когда вернулся, дочь собирала портфель.

— Подвезти?

— Нет, мне за Ленкой зайти.

Любарь вздохнул и поехал. А потом вдруг вспомнил, что жене ничего не сказал, решил позвонить ей из телефона-автомата.

— Будут меня спрашивать, — сказал он в трубку, — я улетел в Новосибирск. Николай заболел. Поняла?

— К тебе уже приезжали сегодня, — ответила жена. — Ни свет ни заря. Доигрался?

— Кто приезжал?

— От кого хоронишься, те и приезжали.

— Ну, а ты им чего?

— А чего я им скажу? Шлюх твоих адреса им давать? Я тебя упреждала... Мое сердце чуяло...

Любарь повесил трубку. «Говорила да чуяла...» — эти речи слыхал он тысячу раз, уже наизусть выучил.

Пора было уезжать, не маячить в поселке.

Пост ГАИ на окраине, перед мостом, миновал он с холодком в сердце. Проехал, поднялся на мост, на высокий задонский берег, и погнал машину. Асфальтовая дорога была пустынна, проселочный грейдер, на который свернул он вскоре, — вовсе безлюден. Жилья тут не было. Попадались порой брошенные хутора, летние скотьи базы, и все.

8

Езда была недолгой, добрался за час. Позади теперь остались свой район и область. Здесь все чужое, пусть ищут. Для них — чужое, для Любаря — свое. Он много лет здесь рыбачил: летняя — «жарковская» путина, потом подледный лов — все это здесь, на Цимле, в Кочкарине.

Хутор Кочкаринский лежал у подножья холма, прячась от ветра. Полтора десятка домиков тянулись вдоль берега и полотна железной дороги. Хутор — Кочкаринский, разъезд — Кочкарин. Два пассажирских поезда недолго стоят здесь, остальные бегут мимо обдутых ветром холмов, неказистых домиков, кирпичной станционной постройки и просторного, насколько хватает глаз, Цимлянского моря. Зимою море во льдах, весной и осенью штормит под ветром, летом быстро теплеет и начинает цвести малахитовой зеленью и пахнет тухлиной.

Вот и весь Кочкарин: десяток неказистых домов, железная дорога, рыбацкие суда под берегом, до горизонта — вода. Знающие люди зовут этот хутор Донской Калифорнией. Но золото тут ни при чем.

Здесь Любарь когда-то начинал рыбачить, в давние теперь годы, молодым, у знаменитого Дьякона, косточки которого теперь уже сгнили. А Любарю почти сорок лет, дочка взрослая. А тогда — молодой, холостой. Гуляли напропалую, похмелялись шампанским.

Он спустился с горы, медленно ехал по единственной дороге, вдоль которой стояли дома: Мосол с Мосолихой, Гена Мармуль, Цыганка, тетка Вера — продавщица, Коля Деревянный — всех он знал как облупленных, и его тоже знали. Здоровались, и он кивал головой.

— По дому соскучился! — крикнул Гена Мармуль, он в огороде возился. — Наташка только пошла. Газани — догонишь.

Любарь «газанул» и догнал. Наталья подходила к воротам.

Пять лет прошло с той поры, как увидел ее в первый раз: в меру грудастую, крутобедрую, «батничек», джинсовая юбка в обтяжку. Идет — словно играет. И неизвестно чем дразнит больше: ловкой одежкой или тем, что под ней, живым.

В ту пору рыбой торговали совсем открыто. Донецкие перекупщики никого не боялись. Однажды приехала Наталья. Поднялась на катер, спросила, как и все:

— Рыбчик есть?

— У нас все есть, — с улыбкой ответил ей Любарь.

— Какой?

— Как и люди, разный.

Тогда она больше приценивалась, знакомилась.

— Приезжай, приезжай... — кружил возле нее Любарь, маслил глаза. — Мы таких любим, джинсовых.

Она скоро приехала, остановилась у бабки Карасихи, тесто завела, напекла пирожков, нажарила цыплят табака — пальчики оближешь,

Улыбчивая, приглядная, в первый же вечер она поехала с Любарем кататься на катере, на зеленые острова. Тогда и слюбились. А назавтра опять пирожки пекла, кормила рыбаков. Они по доброй еде скучали, перебиваясь мужичьей готовкой.

Прожила Наталья несколько дней и уехала, набрав рыбы. Приехала снова и снова. У Любаря был медовый месяц.

А потом неожиданно она купила в Кочкарине невзрачную хатенку, устроилась на станции работать, стала жить. На хуторе решили, что Любарь тому виной: мол, хочет баба его к рукам прибрать, увести от жены. И посмеивались: много таких у Любаря было. Оказалось много, но не таких. Наталья не зря оставила город свой, работу и даже дочку у своих родителей.

Кочкарин извечно жил рыбой: брали у рыбаков, солили да вялили, а потом продавали заезжим перекупщикам, проводникам с поездов, пассажирам — кто как умел. Наталья этих умельцев обставила в один миг. Одевалась она — на зависть — во все заграничное, ее на хуторе звали Наташка-джинсовая.

И сейчас на ней была хорошая джинсовая юбка, светлая легкая курточка. Губки — подкрашены, лицо — ухоженное. В светлом дне, под ярким солнышком она цвела по-весеннему: не баба — лазоревый цветок.

Любарь посигналил, Наталья обернулась и стала отворять ворота. Хатенка у нее была неприглядная, какую купила, в такой и жила.

Поздоровались.

— Здесь будете ловить? — спросила Наталья.

— Нет. Это я в гости. Соскучился.

Он обнял Наталью, прошелся руками где положено.

— Все тут на месте? Опломбировано?

Наталья вывернулась, сказала с усмешкой:

— Все бы тебе проверять. Я — вольная птица. Вчера Деревяиный свататься приходил. Сберкнижку принес.

— Ну, и сколько у него там?

— Да я не глядела. Еле прогнала.

Деревянный — была кличка хуторского бобыля, запойного. Он подолгу держался, потом запивал.

— А я еще не обедал... — вспомнил Любарь.

— У меня лапша, курятина, все еще горячее.

Внутри Натальина хатка была приглядной: яркий палас на полу, красивые накидки, цветастые шторы. И пахло всегда хорошей едой, духами.

Наталья быстро поставила водку, салат из свежих помидоров и огурчиков.

— Вырастила, огородница... — посмеялся Любарь.

— Привезли.

Ей все привозили: продукты, любые тряпки.

— Я сейчас на дежурство. Ты не уедешь?

— Нет.

— Хорошо. Вечером надо загрузить. Я договорилась с ребятами. Они часов в семь подойдут.

Любарь кивнул головой. Он выпил стаканчик водки, с удовольствием похрустел огурчиком, помидорчиком разговелся и стал жадно хлебать душистую домашнюю лапшу. Бульон был пахучий, как и положено, когда варишь не магазинную страсть, а настоящую домашнюю курочку.

— Загрузимся, — пообещал Любарь. — Мотороллер не сломала?

— На ходу.

— Тогда все. Лады.

О рыбе шла речь. Наталья лишь поселилась на хуторе, взялась за дело всерьез. Люди солили в погребах да сараях, в железиых бочках. Наталья пригнала технику, замуровала в земле объемистую бетонную чашу. Там и солилась рыба, в крепком тузлуке. Местные покупали мешок-другой. Наталья брала тоннами: синца, рыбца, чехонь и прочую

бель. Брала, валила в тузлук и через неделю сбывала своим людям. Дело было поставлено четко: в тузлук — и увезли; одна солится, другая уже готова.

На берег, к рыбацким судам, она не бегала, мешки на горбу не тягала.

Другие бабы, задрав юбки, лезли на катера, по трапам, одна вперед другой. Лезли, ругались, бывало, и дрались.

Наталья лишь говорила заранее, сколько возьмет. В сарае стоял мотороллер «муравей», на нем привозили. Рыбаки ее уважали за то, что брала оптом, не торгуясь, снабжала водкой, доставала любые дефициты: из еды, из одежды, вплоть до японских магнитофонов.

На хуторе сначала удивлялись, завидовали, потом поняли: за Наташкой-джинсовой не угнаться. Любарь тоже не сразу привык, когда Наталья заказывала по полсотни, а потом по сотне ящиков.

— Куда тебе? — удивлялся он. — Сдурела.

Наталья цедила холодно:

— Тебе какое дело. Я плачу.

Все было верно. Постель постелью, но никаких поблажек в цене она не просила. Любарь сначала удивлялся, потом зауважал свою подругу, а потом привык.

Шли годы. Хутор стал гордиться Наташкой-джинсовой. Кое-кто ей завидовал и ждал, когда она попадется. Но место было глухое, участковый милиционер — пожилой и свойский, привыкший к бесплатной выпивке и иным дарам, своих кормильцев берег.

Любарь жил с Натальей по-домашнему, обстиранный и ухоженный. Он проводил здесь и «жарковскую» путину, и осень — до ледостава. А потом зиму — до весны. Его товарищи по-холостяцки ютились на катерах, мерзли там осенью, в тесных кубриках, летом задыхались от жары, валялись на грязных постелях, питались кое-как. А Костя приходил на катер рано утром, чисто выбритый, пахнущий одеколоном. Приходил, кричал: «Подъем, орлы!» А вечером убывал.

Наталья заторопилась на станцию, сказала: «Я рано приду». А Костя хлебал лапшу: одну тарелку, потом другую. И сразу в голове затуманилось. Он лег и крепко уснул. Снилась ему работа: вода, невод, рыба.

Очнулся Любарь к вечеру. В доме — тихо, и за стенами — тишина. Вышел во двор: у берега, неподалеку стоят три рыбацких катера. Он подался к ним.

На катерах людей не было видно, но трап спущен и из кубрика слышны голоса. Там играли в карты, в «трынку». Люди все свои были, хоть и чужого колхоза. На печке — четверть самогона, от дыма — темно.

Поговорили о рыбе: где идет, а где ее нет. Любарь выпил, взял карту. Игра не пошла. Сотню проиграл и бросил. Азарт не приходил, думалось об ином.

— Про ментов у вас не слышно? — спросил он.

— Как грязи, — ответили ему. — Бригада ростовская да курсанты-соски из астраханской школы. Иловлинские погорели и вроде кто-то из ложковских.

В кубрике было душно, и Любарь вышел на палубу, ожидая катера с рыбой для Натальи. На душе — тоскливо. Люди работают, план делают, деньги. А он — и не привязан, а сиди.

Солнце садилось за гору. На вершине холма четко виделся крест. Там похоронен Дьякон, учитель Любаря, первый бригадир. Знаменитый Дьякон, ростом в два метра, лапа — звериная, патлы до плеч и голос на всю Цимлу: гу-гу-гу-гу...

Были времена... Рыбу государству считай не сдавали. «Горючки не дают, сетей не дают... — гудел Дьякон. — Шиш им, а не рыба. Мы шахтеров должны обеспечить, подземных тружеников».

Обеспечивали. Вот тогда в карты играли! Сейчас Владик-Спортсмен выиграл за ночь пять тысяч, так об этом три года уже рассказывают. А тогда добрые рыбаки деньги не в карманах держали, а в трехлитровых банках. Да не рублям их набивали, а четвертными и выше.

Берет Дьякон банку, идет играть. Проиграл, приходит за новой.

Сейчас пару ящиков водки купят и гордятся. А тогда Дьякону привозили бочку «пойла», а то и две. И держался он долго. Здоровье бычье, враз не разбанкуешь. Но потом стал сдавать. Как поется: «Ко мне приходит белый конь...» Вот он и стал понемногу на этого коня садиться. Белая горячка.

Шлюхи, шампанское, карты... А потом — всех коленом под зад. Бочка «пойла». Тихим становится. И вроде уже не здесь, в другом мире.

— Сердце нудит, — жалуется. — Свербит, а не достанешь... — пригнется к Любарю, еще молодому, и глядит в глаза. — Понимаешь, Костик, свербит. Когда здесь свербит, — чесал он под мышкой, — или там, даже на кабаржине, везде можно подерябать. А как же туда... — драл на груди рубаху и стучал кулаком. — Туда не долезешь, а оно свербит, Костик, — и заглядывал в глаза. — Лишь жаканом туда достанешь. Понял, дурачок? И не будет больно, а лишь сладко... — шептал он, и блаженная улыбка растекалась по лицу. — Жаканом, жаканчиком, жаканушкой...

Он доставал ружье и гладил стволы.

Любарю становилось страшно. Он убегал, уезжал в поселок, а когда возвращался, Дьякон был все тот же. Он времени не замечал, спрашивал:

— Ты где бродил? Целый час жду, не с кем выпить.

— Трап ходил поправлять да чалку проверить.

— Это правильно. За катером надо следить, — хвалил Дьякон. — Ну, давай выпьем.

Бочка была объемистой, пили.

Дьякон застрелился под осень. Из ружья, жаканом, прямо в кубрике. Разулся, в сердце наставил — и конец. Здесь его и схоронили, на самом бугре. Пьяные все были, не захотели на кладбище. На вершине холма закопали, поставили крест.

Любарь тогда катер принял, его назначили старшим.

А крест на вершине холма уже падал два раза. Делали новый. Помнили Дьякона.

Солнце зашло. Любарь дождался катера, с которым Наталья договорилась. Ребята смеялись:

— Дожился Костя. Рыбы своей не имеет, барыгой заделался.

Он посмеялся вместе с ними, пригнал мотороллер, перевез рыбу. А потом пришла Наталья и сказала:

— Нас на день рождения приглашают. Поехали?

Костя обрадовался, даже не спрашивая, куда и к кому. Кстати была гулянка, веселье, чтобы не лезли в голову дурные мысли о завтрашнем дне.

Отмечали день рождения Натальиной знакомой в здешнем райцентре. Вернулись поздно и спали считай до полудня. Потом Наталья убежала на дежурство, а Костя пошел по хутору, провеяться и заодно похмелиться. Долго ноги бить не пришлось. Гена Мармуль позвал его из своего двора:

— Ныряй ко мне, — и сообщил доверительно: — Самогон делаю, баба поручила, завтра же пасха. Вот я гоню и сразу пробу снимаю. Госприемка...

Годами был Гена нестар, но уже конченый человек: отечное лицо, темные подглазья, вечно пьяный. Он, как и все на хуторе Кочкаринском, рыбой занимался: покупал, продавал. Зимою стояли рыбаки у него на квартире. Из двух ребятишек один был явно чужой, не в масть, как говорится. Для Кочкарина это дело обычное. «Дети — наше общее богатство», — гласило рыбацкое правило.

Самогон Гена гнал в сарае. А пробовать его пристроились рядом, на солнышке. Хорошо здесь было: высокий холм укрывал от ветра, и далеко во все стороны синела вода.

Но долго не посидели. От станции спешила Наталья и, Костю увидев, позвала:

— Иди...

— Чего тебе?

— Иди, говорю!

Он вышел к ней. Наталья повела его к дому, торопливо говоря:

— Нынче облава будет, проверка. Самогон будут искать. Надо рыбу прикрыть. А то вчера кинули.

— Любарь! — кричал сзади Гена. — Приходи! Из вишневой бражки будем варить!

Засолочный чан с рыбой в Натальином дворе был укрыт надежно: стоял на нем дощатый курятник, люк — в сарае. Обычно его прикрывали. А вчера на гулянку спешили, закрыть не успели.

В сарае Костя достал черпалом из чана десятка два рыбин и развесил их, вроде для вялки. В бочонок плеснул рассола. Это были обычные хитрости. Увидят рыбу — вот и находка, можно и штрафовать, если есть нужда.

Люк закрыли, присыпали землей, сверху всякого старья навалили. Чужие — не найдут, а свои — не будут искать.

Милицию ждали к вечеру. Она не появлялась. Спать не ложились, долго смотрели телевизор, прислушивались: не едут ли, не идут? Любарь о своем думал. И Наталья нынче была неспокойной, выходила во двор, потом ругалась:

— Уж приехали бы скорей да отвязались. Ждать их...

— Хапать надо меньше, — сказал Любарь. — Хватаешь дуром. Вот влетишь. Это тебе не ящик рыбы...

— С ящиком бы я еще связывалась... — зло ответила Наталья. — Ладно. Последняя путина — и все.

— Зарекалась свинья дерьмо есть... — посмеялся Любарь.

— Дурачок... Ничего не понимаешь... — тоже засмеялась Наталья и добавила серьезно: — Все. Хватит, — подсев к Любарю на диван, она приласкалась, шепнула: — Ищи себе другую подругу. Хочешь — Таису, я ей хату продам и тебя вместе с хатой.

Любарь не знал: верить, не верить. Хотя чего тут особенного, приехала, пожила пять лет и на жизнь себя обеспечила.

— Сколько у Коли Деревянного на сберкнижке, — вспомнил он вчерашний ее рассказ, — ты могла и не глядеть, вся Цимла знает: восемь тысяч. А вот на твою настоящую книжку я бы поглядел, сколько там.

— На сберкнижке дураки деньги держат, — спокойно объяснила Наталья.

— А умные?

— А умные там, где надо.

— Все понял. И куда же ты? Назад, к своим шахтерам?

— Знаю куда, — сказала Наталья и пообещала: — Потом, может быть, как-нибудь и приглашу в гости.

— А хапнула ты много, — задумчиво сказал Любарь. — За сотню тысяч вылезет.

— Ты, Костик, свои деньги считай. И не будь дураком. Вон у вас был Владик-Спортсмен. Он пробыл две путины, квартиру купил трехкомнатную и машину.

— Он в карты больше грабанул, — хмыкнул Любарь, — у пьяных.

— Как-никак, а сделал. А вы машинешку купите — и счастливы. Остальное сквозь пальцы течет.

Она поднялась и вышла на улицу, ожидая облавы. А Любарь думал о ней, и Спортсмена-Владика вспомнил, и кое-кого еще.

— Ты только не болтай никому,— потом сказала Наталья,— про то, что я уезжаю.

И тогда Костя поверил ей: действительно уезжает. И правильно делает: лучшие времена, свободные, были позади, теперь начали зажимать.

9

Милиция в тот вечер все же приезжала. В два-три дома зашли, возле станции, забрали рыбу, самогон и куда-то подались.

Об этом узнали утром, назавтра. И в то же утро, совсем неожиданно, объявились на хуторе родная Костина мать и сестра ее, тетка Мария.

Костя сидел во дворе, покуривая, когда прошел поезд и люди, на нем приехавшие, потянулись тропкой вдоль полотна железной дороги. Людей было больше обычного — все же праздник, пасха.

Костя курил, поглядывал и вдруг увидел мать. Она шла осторожно, вперевалочку, сумка в руке. Следом за ней поспешала тетка Мария. Тетка была старше, полнее, тяжелее на шаг.

У Любаря сердце оборвалось. «За мной! — сверкнула мысль. — Значит, конец».

Старые женщины были одеты тепло: в черных старинных «плюшках», в пуховых платках. Не торопясь, осторожно шли они, оступаясь порой на щебенчатой россыпи, мимо домов, мимо Любаря в глубине двора. Тетка Мария держала в руке букетик неживых цветов. И лишь увидев эти цветы, Костя понял, зачем они здесь. Нынче пасха была. В этот день на кладбище родных покойников поминали. А чуть поодаль за хутором Кочкаринским, под бугром, в долине, в старые времена лежала станица Ильменевская. Ее давно залило водой. Построили гидроузел и затопили станицу. Но поминать родных люди на берег приезжали.

Поняв это, Любарь взял бутылку водки, кое-какую закуску и вывел машину. «Ругаться мать будет,— подумал он, но потом решил: — Ладно... Сколько лет машина в руках, а сроду мать не возил». Как-то раз заикнулась она, еще давно, он отмахнулся. И — все.

Догнав неторопливо бредущих мать и тетку, он посигналил, остановился.

— Садитесь, довезу.

— Ты откель? — удивилась мать.

— По делам... — уклончиво ответил Костя.

— Такой праздник... — осуждающе покачала она головой. — А ты как бирюк шалаешься... Ни детей, ни жены...

— Будет тебе... — остановила ее сестра. — Праздник, уж не ругай. Бог его нам послал. Мы, сынок, идем мамушку да папу проведать. Видать, в последний раз. Автобус да поезд везет, а еле добрались. А бывало — пёшки, легкой ногой. Годы нас подкосили, сынок.

Они и в машину садились с оханьем. Мать пободрей, а тетка дышала тяжко.

Поодаль от хутора, на высоком обрывистом мысу, зеленеющем молодою травою, уже было людно. Стояли машины и подъезжали новые.

Костя никого здесь не знал: ни старых, ни молодых. Станицу затопили в те времена, когда он на свете был ли. Но вышел из машины и попал в круг своих: обнимался да целовался, христосовался. Молодые были веселы, старые не прятали слез, радуясь, что дал господь свидеться, и горюя о тех, кто уже не придет.

— Гордевны нет... Нет нашей Гордевнушки...

— Аникей Прокофьич ждал, так ждал. Да не свелел господь, в три дни прибрал его. Упокой душеньку... Царствие небесное...

Здоровались. Расстилали скатерки, раскладывали еду. Солнечно было и ясно, и словно расцветала земля яркой пестрядью пасхальных

яиц — голубеньких, желтых и красных, синих и рябеньких — и высоких куличей в белых шапочках сахарной глазури.

Расселись, налили вина, помянули.

Стали бросать в воду крошеный куличик, яички, бумажные цветы. Легкая волна прибивала цветы к мусору плавника, к желтой пене. Просторная вода лежала широко, а где-то под ней — станица и кладбище.

Косте вдруг пришло на ум, и он сказал:

— Погодите, не кидайте зря. Я сейчас.

Он кинулся в машину, помчался в хутор и через короткое время пригнал водой тяжелую рыбацкую байду и легкую алюминиевую казанку.

— Поехали... — сказал он. — Надо на кладбище? Вот и поплывем.

— Смысленое мое дите... — охнула тетка.

Костя завел движок байды — посудины широкой — и отрядил за руль молодого мужика, а сам, с матерью и теткой, поместился в «алюминьке». Просторная вода лежала покойно, легкая рябь переливалась вдали и рядом. Другого берега не было видать.

Мать с теткой родились в станице, выросли, и если б сейчас привела их судьба на развалины, на горькое пепелище, без улиц и домов, они все равно угадали бы родину по материнским ее морщинам: пригоркам да ложбинам. Даже не глазами, сердцем узнали бы хоженое-перехоженое. Но теперь лежала вокруг немая вода, и веяло от нее зимней стылостью. Там и здесь, и в дальней дали одинаково плескались легкие волны.

Старые женщины озирались испуганно. Костя помог им, он рыбачил здесь из года в год, ставил сети зимой и летом, и через серую воду видел все: займище, на высоких пеньках которого рвали сети; прежнее русло Дона, по которому весенней порой тянула рыба на икромет; мели, богатые кормом, где рыбьи стада жировали, и ямы, куда уходили, чуя непогоду. Знал он Ярмарку — станичную площадь, кожзавод, водокачку и монастырь. Все было ведомо.

И теперь, наклонясь к матери и тетке, сбавляя газ, он кричал:

— Ярманку проходим, правим на кожзавод. Где кладбище?

— По правую руку... — неуверенно сказала мать. — Греби к монастырю.

Костя повернул лодку и прибавил ход. Тяжелый баркас, далеко отстав, следовал за ними. Мать с теткой глядели на Костю с каким-то испугом, он, словно колдун, видел все.

— Тут монастырь,— кивнул Костя и поглядел на берег, будто отмерял расстояние,— прямо под нами.

— Стой, стой! — крикнули разом мать и тетка. — Тута, у монастыря.

Костя выключил мотор, еще раз поглядел на берег, прикидывая местоположение, и сказал уверенно:

— Монастырь. Тут неглубоко. Раньше сети рвали. А теперь — все...

Старые женщины поглядели на гладкую воду. Она была серой, по-весеннему мутной — ничего не видать.

— Господи... — горько сказала мать. — Мамушка, папа... Иде вы? Могилочки ваши?..

Она заплакала в горести, и свершилось чудо. Перед глазами, полными слез, в радужной невиди всколыхнулась и расступилась глухая вода, и восстало все нерушимое, что лежало на сердце и в памяти: стена монастырская из дикого камня, рядом кладбище и дорогие могилы, опрятные, посыпанные желтым песком. Она видела их.

— Мамушка... Папа... Привел господь...

Все было, как бывает и будет у добрых людей до веку в родительское поминовенье: яички на могиле, куличик, бумажные цветы. Кладбище, а рядом — станица. По тихим улочкам ее она успела пробежать до самого дома. А когда возвратилась, то все уже кончилось. Сомкнулась вода, и по глади ее плыли бумажные цветы.

— Чего вы ревете... — по-доброму, жалея стариков, сказал Костя.— Там уж, — глянул он через борт, — ничего нет...

Мать вытерла слезы, ответила спокойно:

— Может, и так... Но сердце, оно не в кузне деланное. Это у вас другой адат. От всего отчурались...

Костю кольнула догадка: это она про кладбище, про могилку отца, которую он опять не пошел убирать. Но мать вовсе не о том думала и упрекать никого не хотела. Она себе говорила да сестре в раздумье:

— А може, так оно и надо?.. Легочко на душе, а мы, дураки, слезы точим...

Они были очень похожи, две старые женщины, в седине, в нездоровой уже полноте, в печали.

Потом, на берегу, вспоминали по-доброму старинные годы, жизнь, которая когда-то текла здесь. И снова будто расступалась вода: станичные вихлявые улочки спускались к Дону, к пристани и парамоновским ссыпкам — амбарам. Был когда-то богатый купец Парамонов, по всему Дону стояли его хлебные ссыпки, от Ростова до Казанской. Виделось все: майдан, где шумели Никольские осенние ярмарки, выгон, где встречали с пастьбы скотину, а вечерами хороводились.

Подружка моя,
У нас милый один.
Ты ревнуешь, я ревную.
Давай его продадим!

Ах, подружка моя,
Как мы будем продавать?
И не стыдно ли нам будет
На базаре с ним стоять?!

Эти припевки людям старым дишканить было уже несручно. А вот песни играли.

Конь боевой с походным вьюком
У церкви ржет, кого-то ждет!

Заводили старики, Арсений Ерофеич да Василий Парфеныч, односумы, полчки, вместе воевали, бородатые, как и положено казакам-староверам. Станица по старой вере жила, по праведной.

Подпевали бабы и молодежь:

Ко-онь боево-ой...
Да с по-хо-о-о... да с походны-ым...

А разъехались к вечеру. Для матери и тетки нашлась попутная машина. Костя был рад, потому что в дороге мать не стерпела бы и завела всегдашние разговоры: «Когда ты кинешь это рыбальство... Люди добрые при доме живут, при семье, а ты шалаешься...» И прежде он материнских речей не любил, а нынче и вовсе не до них было. Но, слава богу, нашлись попутчики. Костя пригнал на хутор лодки и не сразу добрался до Натальиной хаты, потому что хутор праздновал Христово Воскресенье.

А Наталья скучала во дворе. Костя был хмелен и весел, от калитки запел:

Приехал казак из чужбины далекой
На своем, на боевом коне!

Он нынче казаком себя чуял. День прошел в разговорах о былом, о станице и старых временах.

Наталья разом остудила его, сказав негромко, с оглядкой:

— Я дежурила. Звонили, спрашивали тебя.

Костя не враз понял.

— Кто?

— Сказали, ты знаешь.

— С тобой говорили, а я должен знать?

— Сказал: он знает, — твердо повторила Наталья.

Костя начал понимать. Голова была хмельной, но соображала.

— Ну, а ты чего?

— Чего я...

— Как ответила?

— Приезжал, говорю, и куда-то подался. Ты же уехал, я видела.

— А кто тебя за язык тянул? Приехал-уехал... Сказала бы — нету.

— Скажи — нету, опять нехорошо. Я ж не знала, что ты хоронишься.

— А откуда ты взяла, что я хоронюсь?

— А чего ты психуешь? Сказал бы, как надо отвечать, если будут искать.

Костя сел подле Натальи, спросил:

— По голосу не угадала?

— Нет. Молодой вроде мужик. Ты погорел, что ли?

Он вздохнул, не ответил.

— Чего молчишь?

— А чего говорить... — вспыхнула в душе хмельная обида. — Менторезы поганые. Тварье... Заглоты...

Костя поднялся и пошел к Генке Мармулю, у того стоял служебный телефон, линейный, в поселок с него можно позвонить и куда угодно по железнодорожной линии.

Мармуль уже спал, пьяный. Жена возилась в кухне, сказала:

— Звони. Этот черт нажрался и четверть разбил. Завтра проснется, я похмелю его.

Костя прошел в дом. Через коммутатор соединили его.

— Ты звонил? — спросил он, услышав знакомый голос.

— Я.

— Чего?

— Появись. Надо.

— Где?

— В отделе.

— Больше ничего не желаешь?

— Надо, — повторили настойчиво.

— А мне не надо! — закричал Костя. — Понятно?! Не надо мне! Это тебе надо! Тебе!

— Гляди, — ответил голос и смолк.

А Костя, взбеленившись, начал матом орать в замолкшую трубку. И не сразу опомнился. А когда прошла волна хмельного гнева, бросил трубку и вышел на волю.

Начинало смеркаться. Вечерние сумерки обступали хутор, полегоньку туманя далекий и близкий берег сизою мглой. Просторная вода становилась вовсе бескрайней, затопляя мир. Там и здесь и в дальней дали зажигались бакены, словно редкие звезды. Твердь земная обрезалась, оставив лишь глинистый курган и у подножья его десяток домиков хутора, тонувшего в светлой весенней ночи.

Костя неторопливо вернулся во двор. Наталья ждала его.

— Ну, что? — спросила она. — Дозвонился?

— Дозвонился, — ответил Костя. — Пошел он... — и уселся рядом с Натальей, обнял ее.

Бабье тепло и дух успокаивали, но были так ненадежны.

С вершины холма к подножию, к хутору вела набитая и в сумерках видная дорога. И на ней в любую минуту могла появиться милицейская машина.

— Нынче не было никого? — спросил он.

Наталья поняла, что речь идет о милиции да рыбнадзоре, ответила:

— Вроде не слыхать. Может, пасху празднуют. Но должны появиться не нынче так завтра.

— Так... — решил Костя. — Погостили. Пора уезжать.

Он поднялся, Наталья сказала:

— Ты хоть поужинай, — и спросила: — Много продали?

— Много, мало... — раздраженно ответил Костя. — Как всегда. Это бакланьё заелось. Зажралось. Глотать они все умеют, а дела коснись — сразу в кусты. Нет... Они у меня поработают, они отработают кормежку. А то навешали лычек, звезд, корочек нахватали. Сазаньи лбы! Как навешали, так и снимут эти звездочки.

— Только не надо психовать, — поднялась Наталья. — Ты это любишь. А ты поспокойней, потихоньку, и все перемелется. В первый раз, что ли...

— Ладно. Поехал, — остановил ее речи Любарь.

— А если опять спросят?

— Был, да весь вышел. Вот и весь ответ.

Наталья вздохнула, подняла глаза и увидела звезды.

— Поздно уже. Никого сегодня не будет. Оставайся. А утром поедешь. Коньяк есть хороший.

Костина тревога невольно передалась ей. Не хотелось одной оставаться.

— Поеду, — твердо сказал Костя, взглянув на холм и светлеющую в сумраке дорогу. Он еще не знал, куда ехать, но в хуторе не хотел оставаться. Натальины уговоры лишь раздражали его. — Поеду, — повторил он. — Открой ворота.

Наталья послушно отворила ворота, пропустила мягко урчащую машину. Услышав Костино «пока», не ответила.

10

На воле становилось зябко: от Цимлы, от воды ее наносило холодом, словно лежали там, нетаянно, ледовые поля. На хуторе было тихо. Ночной поезд где-то вдали набирал ход. Скоро он прогремит здесь и умчится.

Наталья вошла в дом, щелкнула выключателем. Заиграл на белой скатерти разноцветный перелив крашеных яиц; искрилась сахарно-снежная корочка пасхального кулича; нарядная бутылка коньяка ждала своего часа в окружении хрустальных рюмок. Праздник прошел, а все осталось нетронутым. С утра — на работе, потом Костю ждала. Теперь он уехал. Впереди — долгий вечер. Телевизор включить, ужинать и глядеть, а потом — спать.

Одной время коротать не хотелось, и, набросив на плечи легкую курточку, Наталья побежала к соседке Лизе-Цыганке, позвала ее посидеть да выпить.

Лизу дважды приглашать не пришлось, она сразу согласилась, на ходу ругая своего мужика.

— С обеда храпит. Праздновать еще вчера начал. Теперь храпит. Хоть рот ему затыкай.

Цыганкой ее звали на хуторе не только за смуглоту, худобу да слабость к серьгам да кольцам. Была она говорлива, умела польстить. Наталья вынимала из холодильника свежую зелень, помидоры, огурчики, нарезала копченый язык, окорок. Лиза-Цыганка вздыхала завистливо:

— Ты, Натаня, живешь... За тобой не угонишься. Ресторан! — причмокивала она.

Выпили. Пошли обычные тары да бары: о рыбе, о ценах, о бабьих грехах. Цыганку понукать не было нужды: она пила, ела и тараторила не хуже репродуктора, оставалось лишь слушать да кивать. Вроде за этим и позвала соседку Наталья. Но нынче не ложилась на душу Лизина трескотня. Хотелось о жизни поговорить и, может, поплакаться. Портрет дочери висел на стене, на нем то и дело замирал взгляд. Сегодня дочь казалась какой-то скучной, старше своих лет. «Не заболела бы...— подумалось Наталье. — Весна, будет раздетой бегать». Дочка жила здесь летом, купалась, загорала, остальное время — у деда с бабкой.

Соседка поймала Натальин взгляд и поняла его.

— Большая... Вся в маму, красавица. А отметки какие?

— Хорошо пока учится, — ответила Наталья, и вдруг иное пришло на ум. — Ты говорила, сестра твоя здесь хочет хату купить?

— Хотят, хотят... На лето — отдыхать. А там — пенсия на близу, вовсе свободные. В городе им надоело, на свежий воздух желают

— Я буду продавать.

— Чего? — не поняла соседка.

— Хату.

Цыганка разом онемела и смотрела, еще не веря в удачу.

— Чего глядишь? — усмехнулась Наталья. — Вечно, что ли, я здесь буду? Дочка растет, мать с отцом стареют. И жизнь идет, — добавила она, вздохнув.

— Мне, мне... Мы берем... — еле выговорила Цыганка. — Я — первая. Или ты шуткуешь?

Ей, конечно, не хата была важна, в общем-то развалюха, а засолочные чаны, погреба, потому что сестра ее приедет не просто свежим воздухом дышать. Порода у них известная, недаром кличка — Цыгане.

— Нам, нам продашь, — твердила Лиза. — Мы цену дадим.

— Продам, — твердо пообещала Наталья, хотя еще нынче думала об отъезде довольно неопределенно.

Решенье пришло будто бы внезапно, когда сидела и слушала трескотню Цыганки. Взгляд дочери со стены, с портрета, тоскливое чувство сегодня, вчера. Костю не хотела отпускать, соседку позвала, томясь одиночеством, хотя и Костя, и Лиза-Цыганка — все это люди чужие.

Позднее, проводив за ворота соседку, Наталья вернулась в дом и, шагнув к зеркалу, стала разглядывать свое еще молодое, без морщин лицо, гладкую шею. Пока жаловаться было грех. Но время не обманешь. Скоро придет пора увяданья.

— Уезжать надо... Пора... — сказала она себе.

И отраженье с ней согласилось, кивнув: пора.

Дело сделано. Исполнено все, зачем приезжала сюда. Денег хватит теперь и на жилье, и на машину, и на все остальное. Пока молодая, человека надо найти хорошего, потом его не купишь. Хороших не покупают. А на хуторе, сколько веревочке ни виться, будет конец. И даже не в милиции дело. Мармули, Цыганка, Кланя — кто из них счастье нашел на хуторе, в этой Донской Калифорнии? Денег в каждой хате хватает, а проку от них? Водка, скандалы, драки... Сколько спилось... Лишь на ее, Натальиных, глазах. В тюрьму попали по пьянке, повесились... Надо уехать. Тем более что времена приходят иные. У Любаря все — знакомые и друзья. Даже милиция, рыбнадзор. А попался, и никому не нужен. Прячься по углам. Не дай бог... Так что надо уезжать, не дожидаясь беды.

Наталья включила телевизор, недолго поглядела его, а потом легла и заснула, спеша к завтрашнему дню.

А ночью ударил заморозок. Утром в ведре с водой, оставленном на улице, был лед почти в палец. Цимла, конечно, не замерзла, даже закраины не схватились. Мутная у берегов вода, поодаль и насколько видел глаз, синела, отдавая сталью.

Утром над хутором кружила пара журавлей, их резкое курлыканье слышали все, кто был на воле. Наталья тоже смотрела, как кружат большие птицы. Потом они потянули прочь, через просторную воду, на запад, где небесная синь вдали светлела, переходя в нежную лазурь. Проводив глазами птиц, Наталья оглядела свою хатенку, хутор, его домишки, голые деревья садов — все по-весеннему неухоженное, неуютное, не жаль и расставаться.

В доме, за утренним туалетом, она провела времени более обычного, словно была уже не здесь, на богом забытом хуторе, а в завтрашнем дне. И на улицу вышла городскою картинкой: в джинсовой юбочке,

в желтой кожаной куртке, причесанная и подкрашенная — любо глядеть. Такой она и встретила непрошеных гостей.

Во двор вошли четверо, все в гражданском. Трое молодых и пожилой, в очках, рябоватый. Молодых Наталья и раньше встречала, они были из города. Пожилого видела впервые.

— Рыбки не продашь? — спросил молодой, усмехаясь.

Наталья, сразу поняв, в чем дело, в тон ему ответила:

— Удочек нет.

— А мы поищем, может, и есть...

Пожилой предъявил удостоверение и ордер на обыск.

Все это бывало и прежде: милиция, документы и даже синяя бумажка ордера были Наталье знакомы. Она поискала глазами: нет ли своих людей, из районной милиции, рыбоохраны. Но во двор входили еще двое чужих и Лиза-Цыганка с мужем. «Понятые...» — догадалась Наталья. Это уже не было похоже на обычные рейды.

— Глядите... — сказала она равнодушно, но в груди что-то колыхнулось, сдавливая дыхание.

Так было всегда: надеялась, но боялась.

Всей оравой вошли в незапертый сарай. Наталья и пожилой милиционер остались у порога. И хоть очкастый был, подслеповатый, но углядел сети и ящики из-под рыбы и спросил:

— Почему сети? Ящики? Ловишь?

— С бригадиром живу, — ответила Наталья спокойно. — Он ловит.

— Муж, что ли?

— Сожитель. Я — женщина одинокая, молодая, вот и живем, — объяснила она, пристально глядя в рябоватое лицо. — В сарае все его: сетки и прочее.

К Наталье приходило спокойствие: обычный рейд, какие бывают каждую весну. Она хотела в дом уйти, но вдруг узрела недоброе: двое молодых милиционеров взяли тяжелые ломы-пешни и начали прощупывать земляной пол сарая, с размаху втыкая тяжелые ломы.

И чем ближе они подходили к горе ящиков, что грудились возле стенки сарая, тем сильнее стучало Натальино сердце, отзываясь на каждый удар: тук-тук! тук-тук! Било в грудь и виски. «Продали... — колотилась мысль в голове. — Продали... Какая-то сволочь...»

Когда сдвинули ящики, стали там искать и ударили в гулкое: бум-бум! в глазах у Натальи потемнело, и она, держась за притолоку, стала оседать к земле, хватая раскрытым ртом воздух.

— Господи! — кинулась к ней соседка и мужу крикнула: — Помоги!

Три года назад вот так же умерла Шура-Кадачиха. У нее искали рыбу и нашли. Она охнула и упала замертво с почернелым лицом. Потом врачи сказали, что сердце разорвалось.

Наталья оказалась крепче. В доме, куда привели ее, она тут же очнулась, но осталась лежать на диване, приняв лекарство.

Ахала и ужасалась Цыганка, кидаясь от Натальи во двор и обратно.

— Вытаскивают... — громким шепотом сообщила она. — В ящики все складают... Машину пригнали, повезут перевешивать в магазин...

— Пускай... — легко отвечала Наталья, уже все решив: «Кто-то продал, донес, может, та же Цыганка».

Но пусть не радуются. Она за себя постоит... За себя, за дочку, за жизнь, которая впереди...

— Пускай... — повторяла Наталья. — Это меня не касается.

Она и потом, когда все кончилось, милицейскому начальнику отвечала теми же словами:

— Это меня не касается.

— То есть как? — не понял ее милиционер. — На твоем дворе, в твоем сарае...

— Это не мои сараи, — отрезала Наталья. — И не лепите мне чего не надо. Я вам сразу сказала, еще перед обыском: сараи не мои. Живу

с бригадиром рыбколхоза Костей Любаревым, и в сарае — все его. Я туда не касаюсь. Там — сети, там — вентери. Все мне припишете? Ящиков полный сарай, невод, моторы... Это что, мое?

— Ну, сети, положим... — замялся милиционер. — А рыба?

— А вот чьи сети, того и рыба! — зло ответила Наталья. — Это и дитю понятно! А вы — милиция — и вовсе понимать должны.

Охнула соседка. Молодой милиционер сказал:

— Рыба-то в тузлуке свежая. А Любарь где? Он сейчас наверху рыбачит.

— Вам лучше знать, кто где рыбачит. Вчера он здесь был и тот день. Вон они не дадут сбрехать... — кивнула она в сторону соседей. — Лишь ночью уехал.

Цыганка и мужик ее, под милицейскими взглядами чувствуя себя неловко, подтвердили:

— Был Костя... Был...

— Ничего не стану подписывать,— отказалась Наталья.— И не суйте мне ваши бумажки. Я за чужие грехи отвечать не намерена. Он жил как хозяин, все подтвердят. Сараи его, снасть вся его, и дела его. А я не лезу в такие дела. Пять лет тут живу, — поднялась она в наступленье, — хоть одно есть у меня замечание? Может, поймали с рыбой, у поезда? Или барыгам продала? Не было. А теперь хотите навялить?

Лицо ее разгорелось. Нешуточный гнев сверкал в глазах. И пожилой милиционер дрогнул, стал расспрашивать о Косте: что да как. Расспрашивал и записывал.

Незваные гости пробыли до самого вечера. А как только убрались они, Наталья стала готовиться к отъезду.

11

Костя оставил позади хуторские дома, поднялся крутой дорогой на холм. Премудрая Натаня, Кочкарин с его заботами, милицейские облавы — все это было не нужно и не ко времени, хватало своих хлопот.

Хутор остался дремать над просторной водой Цимлы, скупо расцвеченной во тьме красными и белыми огнями бакенов, створов, спешащих в ночи буксиров с тягою, груженых теплоходов, а Костя погнал машину вперед, к поселку, торопясь и спеша, словно вырываясь из западни.

В конце пути на мост через Дон он въехал не сразу. На той стороне сиял электричеством стеклянный домик поста ГАИ. По весне там дежурили круглосуточно. И ехать открыто мимо, словно доложить: «Вот он — я», конечно, не стоило.

На площадке перед въездом на мост Костя подождал и пристроился позади двух холодильников-трейлеров. Расчет оказался верным: дежурный гаишник трейлеры остановил и пошел к ним проверять документы. Костя проехал незамеченным.

В поселке, по темным улицам, он подрулил к родительскому дому. Мать спала, и, видно, крепко спала, умаявшись за долгий день.

Открыв гараж, Костя поставил машину. Теперь оставался короткий путь до колхозной караванки, а там, лодкой, водой — в бригаду.

Он приехал к землянке далеко за полночь. Ночь стояла безлунная, звездная. На берегу и на катерах — темно. Заглушив мотор, Костя услыхал сиплый говорок Форкопа.

— Это кто? Ты, Любарек? Я тебя издали угадал. По мотору. Этому дураку говорю: слухай, Любарек бежит. А он косоротится. Иди, Костя, согрейся. Выпьем с тобой. А то весь день с дураками.

Во тьме, в тишине, Форкоп звякал посудою и говорил не переставая:

— Дома бабы вылупили глаза. Лезь, говорят, на трубу, сажу чистить. Дуры, говорю, во-первых, не сажа, а сапуха, кацапы поганые. А во-вторых, я эту сапуху туда не пихал.

Костя, усмехаясь и успокаиваясь, слушал Форкоповы привычные речи.

— Дома — дураки. И на воде с дураком связался. Вот он — инженер, науки изучал. Математику. А мне математика не нужна. Ты за веслами научись по-доброму сидеть.

Форкоп во тьме булькал и звякал, наливая питье в стаканы.

— Как рыба? — спросил Любарь.

— Рыбка есть. Мы с дураком сплыли и взяли пять ящиков. Хотя он — дурак и лодку держать не умеет. Давай выпьем.

Костя почуял голод, пошел на камбуз, в ларь заглянул, издали, с кормы, спросил:

— Ребята на месте?

— На месте, — ответил Форкоп. — Все спят.

— Как у них?

— Тонны три сдали. Кидали два раза.

Костя принес колбасы да луку, поставил чайник на плиту. Уселись за столиком, на палубе, выпили. Форкоп подобрел, позвал напарника:

— Иди глотни, надолба.

Тот разом оказался на катере.

— Ментов не было? — спросил Костя.

— Чужих не видно. Свои — мыкаются.

— Чего мыкаются?

— Как всегда, бакланят.

— Меня не спрашивали?

— Вроде нет.

Костя выпил, поел, и сразу потянуло его на сон. Расхотелось и чай пить.

— Пойду спать, — сказал он. — Чайник на плите.

— Заварю... — ответил Форкоп. — Чифирну, и поплывем. Кинем разок и поедем. На караванке никого нет?

— Вроде не было.

Костя закурил и пошел на берег. С катера неслось обычное:

— Дурак ты и есть дурак. Додумался. Я тебе сто раз говорил: деньги не балычат. Мы его и за четвертную загоним. А ты — на балык. Вставай, не дреми. Копеечку надо зарабатывать. Ты же грамотный, газеты читаешь. А там пишут: весенний день, он целый год кормит и поит. Понял, надолба?

Двери землянки были закрыты, и под низкою крышей томился крепкий настой табачного дыма и пота, сохнущей одежды и рыбьей чешуи. От печки тянуло теплом. Похрапывали.

Любарь сразу уснул. А очнулся с головой ясной и трезвой. Брезжило утро. Двери землянки были распахнуты. По полу тянуло живительным холодком. На душе было спокойно, и о том, что позади, думалось безмятежно: «Ну, попался, так что ж... Не впервые такое, и с кем не бывает. И грех жаловаться: ребята из милиции прежде не подводили. Не подведут и теперь. Что-нибудь да придумают...»

Кот Рыбалкин — рыжая бестия — подошел к кровати, помурлыкал: вставай, мол... Костя поднялся, включил приемник. Заиграла веселая музыка, в кроватях заворочались.

У землянки Дед цедил свою утреннюю цигарку. Он был в ватных брюках и свитере. А утро вставало теплое, с туманом над водой.

— Приехал? — здороваясь, спросил Дед.

— Приехал, — ответил Костя. — Ничего, перемелется. Не впервой.

— Это точно, — вздохнул Дед. — Такая наша жизнь. Только и гляди: не меня ли ищут, не меня ли ловят.

— Я, Дед, вот чего думаю, — откровенно сказал Костя. — Рисоваться мне все равно надо поменьше. А если уйти вверх? Там были места. Старые тоня. Можно малую приволочку кидать.

Дед задумался, а потом стал кивать седой головою.

— Можно, можно... На Красные яры уйти, — указал он пальцем вдаль. — На Платов проток, на Монастырскую россыпь. Там есть уловистые места. Татарка, Харсеев, Кутерьма. Не ходят туда, поближе норовят.

— А мы пойдем, — решил Костя. — Подале от глаз.

Вышел из землянки помятый со сна Матвеич и удивился:

— Проспал... Вот это да! И тебя не слыхал, когда ты приехал. Сплю и сплю.

— Снотворного, видно, принял бутылку-другую, — усмехнулся Костя.

— Нет, выпить, конечно, выпил. Но это что-то другое. Чего-то напало. Тебе Дед говорил? Сдали неплохо. Тот день почти три тонны. И вчера не меньше. Накладные — в тетрадке, я все сложил.

Матвеич докладывал обстоятельно, он любил докладывать. А Костя не слушал его, он был уже мысленно на воде, представляя, как уходит катер с неводником и лодками вверх по течению, оставляя позади станицу, обжитые места. Вверх и вверх. И пусть ищут его.

В землянке, за столом, он был весел. Достал, как обычно, водку из-под кровати:

— Кому похмелиться? — и налил себе.

Следом к бутылке потянулся Славик-Чугун.

— Большому кораблю... — пробасил он.

— Большой и падает с большим грохотом...

Позавтракали. Пошли к катерам. Кот Рыбалкин, пышный хвост держа на отлете, спешил по трапу впереди других. Углядев и поняв, что невод кидать не будут, Рыбалкин забрался в рубку, на обычное место свое, за штурвал, и улегся там, временами поглядывая через стекло вперед.

Костя стоял у штурвала. Дед рядом покуривал.

Прошли и оставили позади станицу. Поднималось солнце, освещая пустынные задонские холмы, светлую молодую зелень их. Уходили вверх и вверх.

Дед рыбачил теперь лишь на весенней путине, давно не был здесь и потому жадно глядел, угадывая, конечно, знамое, но уже и подзабытое.

— Тут, по-старому, Чебачий проток назывался. А дальше — Узяк-ерик. А через него, по весне, ход на Межонку. Тама любил рыбалить покойный Митрон.

Костя слушал, рыжий кот Рыбалкин подремывал, понимая, что впереди долгий ход.

А в кубрике Матвеич, Славик-Чугун да Мультик лениво играли в карты.

— Уходим... — вздыхал Матвеич. — А зачем, куда?..

— Куда идем, не знаем... — пропел Славик-Чугун, шлепая картой.— Там дороги далеко, барыги не доберутся.

— Зачем барыги? Там рыба сроду не жила, — сказал Мультик. — Чего толкать будешь барыгам? Себя?

— Я им не подхожу. У меня — мослы вонючие. От ментов спасаемся.

— И от рыбы... — гнул свое Мультик. — Две тонны да три... Плохо, что ли? А в том году где десять тонн прихватили? На Харлане. А мы от него бежим. А он еще себя не показал.

Матвеич, опасливо пригибаясь к столу и на дверь поглядывая, проговорил, коротко вздыхая и морщась:

— Костя боится, вот и уходим. А наверху, точно, делать нечего. Там тоня старые. Никто их не чистил. Карши ловить, приволочки рвать — и весь доход. А время идет. Туда-сюда, и запретка. Люди ловят, сдают, а мы при своих интересах.

— Лапу будем сосать... — громко сказал Славик и, поднявшись, достал бутылку из ящика.

— Любарь возникнет, — предупредил его Мультик.

— А я тоже возникнуть могу. Работы нет, катаемся. Чего делать? Лишь эту дурынду глотать.

Он налил себе, выпил. За ним потянулись остальные. Лениво раздавали карты. Стучал движок. Катер шел вперед и вперед, не сбавляя хода.

— Будем хорониться... — вздыхал Матвеич, поглядывая на дверь.— Путину прохоронимся и останемся при своих интересах. А чем семьи кормить?

— Там ни барыг, ни баб, ни пойла... — сокрушался Мультик.

Костя заглянул в кубрик, водку увидел, неодобрительно хмыкнул, но приложился к бутылке и снова ушел к Деду, в рубку.

12

В привычных местах, где таскали невод из года в год и все было ведомо, на берегу ли, под водой, — и там, случалось, ловили принесенные рекой коряги. В новой стороне первый же замет принес неудачу: зацепили один пенек да другой, изодрали полотно и даже урез порвали, потом долго чинились.

Второй день тоже пропал зазря.

Когда-то в этих местах донское русло ушло к горе, отделив от себя старицу сначала песчаной косой, потом островом, заросшим вербой да тополем. От старицы можно было уйти к Тропленским озерам и Красным ярам. Прежде здесь рыбачили, теперь забредали лишь случаем. Старые тони никто не чистил, не хранил, и худая память Деда уже не держала приметы: где невод кинуть, где тянуть его к берегу, а где опасаться.

Промучились в новых местах два дня, переругались и пошли восвояси.

На свое становье причалили, словно вернулись в дом родной. Уютен и покоен был речной залив. Кудлатые вербы, тополя обступали поляну и землянку, скрывая от ветра и чужого взгляда.

Время было не позднее. Пошли на тоню, кинули невод и с трудом подтянули его: кипела рыба в тесном кутке сетчатых стен. Подвели железные лодки-байды, черпали рыбу зюзьгой, грузили. И разом забылось все: вчерашние беды, ругня. Так бывает всегда при удачливой, доброй работе.

Подъехали покупатели, один да другой. С опаской, но нагрузили их, приказав уезжать не напрямую, а в объезд, Клетским грейдером.

Взбодрились хохлячьим самогоном, закусили колбаской да салом, стали рыбу сдавать на заводскую приемку.

К землянке, в затон пришли затемно. Варить было поздно. Нажарили яичницы с колбасой да салом и сели на палубе, за низким столиком при свете прожектора.

Вчерашние беды и неудачи остались позади. Говорили о нынешнем добром улове, о завтрашнем.

— Тоня должна отдыхать!

— Особенно Лебедёнок, он не любит, когда его каждый день доят.

— Скажи, Дед, в старое время...

Выпили и галдели.

На свет и шум, словно воронье на добычу, подворачивали к становью, чуя дармовое «пойло», ночные рыбаки-«бракуши»: Куцавелий, Хрипун да Водяной. За ними прибыл Форкоп с новым помощником. Лишь заглушив мотор, он объявил:

— Нового дурака нашел, такого вы не видали. Физкультурник. Падать и убегать умеет.

Из лодки, из темноты, вслед за Форкопом и вправду вылезло чудо: заросшее, небритое, в зимнем пальто с воротником, надетом на голое тело.

— Новая мода! — объявил Форкоп. — Костюм-тройка: трусы, майка да фуфайка. Вот в чем жены из дома выгоняют.

Всяких на воде видели и удивились лишь на минуту.

— Одеть бы чего...

— Я гардероб с собой не вожу, дураков одевать. Стакан ему влейте — и все дела.

Мужик поднесенный стакан выпил. Молча вздыхал.

— Жуй закуску! — приказал Форкоп.

— Не могу... — прошептал мужик, страдальчески морщась. Даже от вида еды его воротило.

— А я говорю — жри, — настаивал Форкоп. — Надо работать, а ты уже дышишь через раз. Жабрами едва шевелишь.

Матвеич принес рубашку, сказал:

— Одень. Добрая.

— Твоя баба вряд ли добрую даст... — не поверил Форкоп. — В этой рубахе уже трое сдохли.

Опорожнили четверть самогона, достали новую. Дед пошел отдыхать, Матвеича с собой позвал, но тот отказался.

— Захорошилось... — посмеялись над ним. — Гляди, на танцы сбежит, в станицу.

Галдели.

Табачный дым, сдуваемый речным дыханьем, привычная палубная теснота, вино, пьянящее голову, легкость тела — все это вместе было приятно Любарю, приносило душе тот желанный покой, о котором мечталось. Он думал, что и там, в поселке, в милиции, все успокоилось, сумели друзья уладить. Так и должно быть. Нынче — удачный день, сдали и продали хорошо. И завтра будет улов. Два раза кинуть невод, пораньше кончить и уехать в станицу. Нынче отоспаться, а завтра — поехать. Сильное тело Любаря уже через день-другой просило бабьего тепла.

Галдели. Ругались. Но голос мотора на воде все же расслышали.

— Кто-то гонит...

— Не спят...

Лодка подошла, ткнулась к самому берегу.

— Любарь здесь? — спросили из нее.

Костя шагнул от борта к рубке, в тень, и промолчал.

— Здесь... — ответили за него.

На палубу вылезли два милиционера. Встретили их шумно.

— Рано — прибыла охрана!

— Садись! Наливай!

Ребята были свои, поселковые. Но, против обыкновения, к столу они садиться не стали, искали глазами Любаря и нашли.

— Поехали, Костя.

Сказано было по-свойски, но тоном понятным.

— Куда? — спросил Костя.

— Сам знаешь, поехали.

— Мне там делать нечего, — отрезал Костя.

— Ты чего — мальчик? Сказано — значит, поехали.

Костя все понял и прыгнул на соседний катер.

— Хрен вам! — крикнул он в бешенстве. — Никуда не поеду. Мне там делать нечего!

— Поедешь, Костя...

— Хрен вам! — снова крикнул он, пьянея от злости. Ведь его, Любаря, самого Любаря, какие-то щенки, как мальчишку, за ухо хотели взять... — Бакланьё поганое! Понавешали лычек, погон! Как повесили, так и снимете! Запомните и другим передайте! Со мной игрушки плохи! Кормить вас да поить — лучший друг! А теперь — поехали... Хрена! — кричал он. А увидев, что милиционеры идут к нему, сунулся в рубку, схватил ружье, которое по весне всегда наготове висело, и закричал: — Не подходи!

И долбанул из одного ствола, никуда не целясь, но поверх голов. Рухнули на палубу милиционеры и другая братва.

— Я вас, сволочей! Понавешали звезд! — кричал Костя. Ненависть сжигала его. — Не поднимать головы! Всех постреляю!..

Он прыгнул в лодку, оттолкнулся от борта, с ходу завел мотор. Кто-то шевельнулся на катере. Костя выстрелил из второго ствола и, газанув, разом ушел во тьму, к проходу. Ожидая ответных выстрелов, он пригнулся к мотору, пряча голову. Но сзади, на катере, лишь крикнули:

— Любарь! Дурак! Чего делаешь! Вернись! Любарь!!!

— Хрен вам... — шепотом проговорил Костя, направляя лодку в проход, а потом на течение, вверх и вверх.

Пробежав по воде километр-другой, Костя опомнился. Горячка спала, волна бешенства, накатившая там, на катере, улеглась. Он сбавил ход, огляделся, прислушался: конечно, никто за ним не спешил, не собирался догонять его.

Ночь обступала лодку, реку, округу. Позади, где остался затон и катера, свет не брезжил. Займищный лес лежал темным тяжелым облаком, небо было светлее.

Проход к старым озерам — Некрасихе, Лопушину, Линеву — Костя угадал вовремя. Повернул лодку, пробежал десяток метров протокой и ткнулся в берег.

Лодка мягко наползла на песок и встала, смолк мотор. Тихая ночная жизнь, испуганная ночным вторженьем, замерла. Лишь гулко, отчетливо колотилось Костино сердце. А сам он, на корме у руля, распрямился и увидел во тьме наведенные на него зеленые огни. Сердце сдвоило удары и замерло. Костя невольно вскрикнул, но тут же по урчанию понял, что это глядит на него кот Рыбалкин, невесть как попавший в лодку.

— Черти тебя занесли... — выругался Костя, но потом погладил прыгнувшего к нему кота и усмехнулся: живая душа была рядом. Он закурил и стал ругать себя за глупость и дурь: кому он что доказал этой стрельбой... Пустое ружье лежало в ногах, бешенство улеглось. А те два выстрела теперь будут записаны в протокол. Менты умеют писать, когда надо. Такие слова они выучили: «при исполнении...», «применение огнестрельного...» Наплетут — сразу к стенке ставь.

По-доброму надо бы вернуться, пока не поздно. Вернуться, покаяться и помириться с ментами. Рыба, господь с ней, теперь от нее не отвертишься. А вот ружье — это хуже. Это бы нужно уладить сейчас.

Но гордость, проклятая гордость мешала. Как вернуться? Как просить их, эту мразь поганую? Он их всегда презирал. Покупал за ящик рыбы, за «пойло», глядел, как жадно они все хватают, и презирал! А теперь им кланяться? Они будут выламываться, цену набивать, хотя не стоят гроша. А надо льстить им, просить, унижаться. Даже думать об этом было горько.

Любарь нагнулся и пошарил рукой в кормовом отсеке. Есть на свете бог! Рука нащупала сумку, а в ней — бутылку. Кто-то приготовил или припрятал «пойло». Оно так было теперь кстати.

Прямо из горлышка, с бульканьем, жадно выглохтал Любарь добрую толику поллитровки, минуту-другую ждал, пока набитой дорогой пройдет и ударит в голову хмель, кровь бодрее побежит в жилах и отмякнет душа, в ней засветит теплый огонек надежды, который так нужен был Косте в этой весенней темной ночи. Так было всегда, так и теперь случилось. Эта минута пришла. Костя закурил, погладил кота Рыбалкина и усмехнулся, вспомнив, как валились менты на палубу.

Потом он стал прикидывать: где ночевать ему, куда податься. Подсказала хмельная удаль: «К подруге, в станицу». Пусть ищут его здесь, а он будет с бабой. Костя рассмеялся и сказал коту Рыбалкину: «Поехали... Будешь лодку стеречь. А может, тоже... Там много кошарочек, — погладил кота и добавил: — Мы не пропадем».

В это время послышался звук лодки. Она шла снизу, от стана. Костя напрягся, определяя мотор и лодку. Это шел не милицейский «Крым», а казанка. Но все равно он прыгнул на берег, подтянул лодку в сень вербы, а сам остался сидеть на корточках, в любой момент готовый кинуться и исчезнуть в займищной уреме.

Лодка подбежала и повторила давешний Костин маневр, сбавив ход и свернув в протоку. Смолк мотор, и послышался сипящий голос Форкопа:

— Любарек... Ты где?

Костя не ответил.

— Где ты? Не боись. Ментов нету. Это я...

Костя откликнулся:

— Чалься...

Не включая мотора, Форкоп подгреб к берегу.

— Это я... Я сразу понял, куда ты кинешься. Я же слушал. Они там — халды-балды, а я говорю: сиди не сиди, а работать надо, денежку зарабатывать. И поплыл. Они там галдят, протокол на тебя собираются писать. А я слинял. Без дурака. Его там оставил. Пойла тебе привез. Давай выпьем.

Они выпили. Как всегда, самогон у Форкопа был крепкий и вонючий.

— Натаня тебя продала... — продышавшись и закурив, выложил Форкоп. — Ее прихватили, нашли рыбу, больше трех тонн. Она все на тебя повесила. Баба ушлая. Они все, стервы, такие. Мои вон... Что — бывшая, что — сейчас...

— Не может быть... — отказался верить Любарь. — Я там ни одного хвоста не держал. Все ее...

— Повесила на тебя. Протокол весь на тебя. Видно, с ментами снюхалась, на лапу им и на тебя свалила. Шея, мол, крепкая, бугаиная. Менты не брешут. Так что тебе надо...

Любарь его не слышал. Лишь в первое мгновенье он не хотел верить, а потом ясно понял: все правда. Облава была, кто-то Наталью продал, ее прихватили, и она скумекала: все свалить на него. Без особых раздумий и угрызений совести. Какая совесть... Спали в одной постели, ели за одним столом, а были чужими. Он приезжал-уезжал, а у нее — свои заботы, своя жизнь. Припекло, Наталья все свалила на него, а сама уедет чистая. Деньги есть, положит на лапу. Приглядная, переспит с кем надо. И все дела.

Осознав до конца и поэтому не особенно сетуя и вроде даже понимая Наталью, Костя стал ко всему безразличным и вялым. Он послушно пил самогон, внимая сиплому говорку Форкопа, непонятно зачем поехал с ним сеть кидать. Сидел на веслах, подгребаясь.

Кинули сеть, проплыли, подняли хороший улов. Шла чехонь, даже во тьме посвечивая прогонистым серебряным телом.

Потом снова мчались куда-то. Костя не понимал и не хотел понимать, куда плывут они.

В конце концов оказались в тесной, крохотной землянке с железной печкой и кроватью.

— Не боись... Тут не боись ничего. Живи хоть год... — втолковывал Форкоп. — Харчи, пойло... Спи тута. Я буду надбегать.

Костиной душе и телу был нужен лишь отдых, спасительное отрешенье. Он упал на кровать и заснул.

13

Проснулся он поздним утром, разбуженный настойчивым мяуканьем. Кот Рыбалкин за дверью землянки повещал, что новый день давно пришел и пора заняться обычными делами.

Костя поднялся и, выйдя на волю, оглядел свое пристанище.

Землянка-копанка скрывалась в отрожье глубокого буерака, полного вешней водой. Обступала буерак густая займищная урема: тополя да вязы с легкой весенней зеленью, промеж них — багряный и сизый вербовый тальник. Над маковками деревьев, вдали, виднелись холмы Задонья.

Костя понял, где он находится: протока, старые озера, меж ними и Доном — займище, теперь, по весне, затопленное. Землянку копали какие-нибудь городские «бракуши», прячась от инспекции. А теперь Форкоп ее приглядел.

День разгорался ясный. Светлые солнечные пятна играли под деревьями. Костя умылся с бережка, прогоняя сонную и похмельную одурь, потом пошарил в землянке, сыскал Форкоповы припасы: тушенку да засохший хлеб. На железной печке стояла в бутылке похмелка: Форкоп не забыл оставить.

Собрав все харчи, Костя вышел на волю и здесь, у воды, на зеленой редкой траве, позавтракал. Кот Рыбалкин глядел на его трапезу, презрительно щуря глаза. От консервов да черного хлеба он, конечно, отказался. «Гляди, парень, — попенял ему Костя. — Как бы тебе не похудать».

Завтракал он не торопясь. Похмелялся, медленно жевал. Спешить было не к чему и некуда. Отспешился. Теперь осталось одно: ждать Форкопа. Что скажет он, какие вести принесет. А Форкоп прибудет лишь ночью. Значит, впереди долгий день. Нужно было коротать его.

Кот Рыбалкин, подняв трубою хвост, терся возле ног, о себе напоминая. Любарь посмеялся над ним: «Все бы тебе свежатины...» Но поискал и нашел в землянке удочку, червяков накопал и поймал на завтрак Рыбалкину две рыбешки.

В займище было покойно и тихо. Безмолвные тяжелые цапли медленно проплывали над головой; где-то вдали, на озере, над чистой водой, кричали, бранясь, сварливые крачки; полосатая сысподу кукушка тихим, ныряющим лётом проскользнула раз и другой, то там, то здесь начиная свой вещий кукушечий счет и обрывая его. А может, просто чей-то век был коротким. Золотая иволга, слепя опереньем в редкой листве, то кричала, сердясь, то выпевала долгую нежную песнь.

Костя, оставив удочку, пошел по весеннему, светом пронизанному займищу. Мягко пружинил под ногой прелый лист прошлогодний, пробивая его, тянулась к свету молодая трава: чистотел, одуванчик, стрельчатый пырей, морщинистый шершавый филовник, конский щавель; над головой, смиряя солнечный жар, зеленела свежая листва. В займище было светло и просторно. Диких голубей воркованье, синичье треньканье тишину не пугало.

Шагал Любарь неторопливо, обходя рукава да ерики; кое-где он брел, поднимая голенища высоких сапог. Садился под кустами, курил и снова шел, избегая просторной воды озер, где его могли заметить.

Понемногу он миновал займище и увидел впереди, за открытой луговиной, приманчиво желтые песчаные бугры. Они янтарно сияли в солнечном свете.

Пéски — так звал их местный народ. Песчаные бугры-кучугуры. Костя много раз видел их издали, с задонских холмов: волнистая, сияющая в солнце равнина, уходящая к горизонту. Видел, но лишь издали. Теперь спешить было некуда, можно и ближе взглянуть.

После тихого зеленого займища, но с ропотом листвы, птичьим пеньем, пески лежали безжизненно-мертвыми. Бугор и падина, бугор и падина. Сутулые, желтого песка кучугуры расходились вправо и влево и впереди, насколько хватало глаз, теснились друг подле друга, понемногу расплываясь и теряясь в далеком мареве. Песок и песок. Редкая ость травы-резанки с жестким листом, старый колос ее. Редкий молочай зеленеет, кустик-другой невзрачной травы-свистухи. И все. Словно под ветром зыбятся, волна за волной, желтые пески.

Обморочно-тихие: ни птицы здесь и ни зверя. Ящерка греется, прикрыв глаза. Тощая, облезлая по весне лисица-корсак, оставив в вонючей норе корсачат, охотится за ней. Другой ведь поживы нет.

Солнце поднимается, греет. Тишина. Мир иной, но приманчивый. Чем-то тянет он, зовет в глубь песков. Бугор за бугром. Волна за волной. Все глохнет, пропадает. Тишина и покой. И тело просит покоя.

Костя лег и уснул, разморенный на солнцепеке, прямо на песке. Он спал и проснулся в тишине. Ничто в мире не шевельнулось, не дрогнуло, лишь солнце безмолвно катилось по небу, меняя на земле свет и тень. Он проснулся, но остался лежать. Медленное, по каплям, течение времени было впору теперь, потому что, может быть, завтра ждала его иная жизнь, взаперти, без солнца и неба, без вольного духа, каким дышал он всю жизнь. Даже нынешний вечер, приезд Форкопа, ничего доброго не сулил. И потому грех было торопить время.

Лежать и лежать, чуя тепло земли и солнца. Подняться и брести с песчаного бугра на другой. Где-нибудь снова заснуть. И проснуться. Снова идти.

Костя встал и поглядел в даль желтого, волнистого пространства. Ему вдруг подумалось, что если он уйдет туда и скроется, то в мире никто не заметит его исчезновенья. Жена будет привычно грешить на гулящих баб, у которых он время проводит. О детях нечего и говорить. Мать месяцами его не видит. Пьяный Форкоп приедет, плечами пожмет и будет туго соображать: был здесь Костя Любарь или все это лишь пригрезилось его вечно хмельной голове. Посоображает, выпьет с досады и махнет рукой. Лишь кот Рыбалкин будет искать хозяина и кормильца. Вот и все.

Костя усмехнулся этой мысли. Но чем-то она его царапнула больно. Тишина, покой песчаных холмов сразу показались тягостными. Он привык к многолюдью. Подумалось, что Форкоп мог уже и приехать с какими-то новостями. Не найдет его и увеется. Потом дожидайся.

Обратный путь занял гораздо меньше времени. Костя спешил и шел напролом, торопясь к землянке. Но там не было ни Форкопа, ни следов приезда его. Оставалось одно — ждать.

Так, в пустом ожиданье, прошел день. Надоело лежать, дремать, спать; и кот Рыбалкин уже сыто воротил нос от Костиного улова.

Подступил вечер. Форкоп не появлялся. И на своей лодке уехать было нельзя: бензиновый бачок пуст. В займище, под купами деревьев, быстро стемнело. Под крышей землянки и вовсе хоть глаз коли. А свечки ли, лампы Любарь недоискался. Да и к чему теперь огонь?

Как бывает в вечернюю, ночную пору, стало грезиться не больно доброе. Форкоп мог в запой удариться — дело обычное — и забыть о Косте. Утонуть мог или разбиться на мотоцикле, он — наездник лихой. Сколько ждать его? А если не ждать и выйти на веслах, значит, руки вверх поднять. Этого не хотелось. Теплилась надежда в душе, что все обойдется. Все же друзья в милиции. Сколько попито с ними, сколько гуляли... Если совести хоть капля осталась, выручат. Да и опасаться должны: он может кое-что рассказать. А знает немало.

В ожидании, среди печальных мыслей, Костя забывался сном и грезил наяву. Ночь тянулась томительно долго. Плескалась рыба в затопленном водой буераке, с треском ломились через тальник и фыркали у землянки кабаны; горластые совы ухали и стонали где-то неподалеку. Крепко заснул он лишь на рассвете и поднялся уже белым днем. Сон утомил: в голове и теле не было обычной утренней свежести. Не отдыхал он, а маялся.

Завтракать не хотелось, и он долго курил возле воды и лодки, разглядывая берег, словно ища на нем какие-то следы. Исчез кот Рыбалкин, не мяукал, не терся возле ног.

Любарь сидел в оцепененье, пока не тронули его слух далекие детские голоса. Сначала подумал он, что это ему грезится. Но прислушался и поверил, и пошел на звук.

Он пробирался через чащобу займища, обходил топкие места. Голоса звенели. Он уже стал различать девчоночий высокий тенор и мальчишечий, совсем детский, но басок.

Выказать себя он не решился, оставшись в засаде на займищной опушке и разглядывая картину, в общем, обычную: девочка-подросток и мальчонка приехали с отцом на мотоцикле и устраивались на дневку. Мальчик шнырял в кустах, девочка готовила завтрак ли, обед, раскладывая на траве нужное. Отец их пристроился с удочкой на берегу озерца. Мальчишка подбегал к нему, что-то говорил и снова уносился к своим делам. Девочка хозяйничала и уже звала «к столу». Дело было обычное. Но Любарь пристально, с какой-то жадностью следил за детьми и отцом, наблюдая их трапезу. А потом испугался и ушел, потому что непоседливый мальчонка стал обследовать округу.

Вернувшись к землянке, где объявился кот Рыбалкин и, мяукая, требовал еды, Костя стал удить рыбу. Клевало хорошо, и он наловил не только коту, но и себе. Развел костерик, уху варил, но все время слушал, как перекликаются вдали детские голоса, естественно вливаясь в птичий переклик займища.

К вечеру, когда голоса смолкли, Любарь пошел к чужому становью, движимый чувством непонятным, но властным. Хотелось туда пойти — и все.

Теперь он вышел из кустов не таясь: некого было опасаться. Залитое водой кострище, примятая трава — и ничего более.

Любарь сел возле пахнущего мокрой золой пепелища и снова услышал детские голоса. А потом стало видеться ему и вовсе далекое: покойный отец и сам он, мальчонкой. Где-то здесь, в этих краях, сено косят. Косит, конечно, отец, но вместе живут, в шалаше. Вроде и недалеко дом, десяток верст всего или чуть более, но для мальчишки — это путешествие на край света, в чужие края — и доныне память. В Рубежное зачем-то ездили, тоже отец брал с собой, в Назмище, в старые хутора, которых теперь уже нет. Немногое осталось в памяти: хаты, крытые чаканом, плетни, журавцы колодезные, холодное молоко в глиняной крынке, пахучее сено в телеге, где засыпал он утомленный. Тряская дорога баюкала, а голову берегла отцовская рука. Как давно это было... Родителя лицо уже стирает непрочная память, туманится лик. Но детская радость и благодарность к тем рукам, его охраняющим, уж до смерти не уйдет. Где-то таится в глуби, но жива. Тронешь ее — проснется.

Смеркалось. Птичье пенье стихало в займище. Костя сидел возле кучки пепла, и уже казалось ему, что это он здесь сегодня был с дочкой и сыном. Прошел быстрый день. Сын теперь заснул утомленный, но и во сне ему видится эта поляна, зеленое займище, весенняя воля. Видится во сне и потом припомнится, когда он станет взрослым. Это память благодарного сердца. Век ее долог — вся жизнь.

Так хорошо было в этих грезах, душа отдыхала. Звук далекого самолета назойливо ввинтился в вечернюю тишину, в сладкий бред Любаря. Он даже вздрогнул, отчетливо понимая, что были здесь не его, а чужие дети. А ему всю жизнь некогда. «Тебе всю жизнь некогда...» — осуждающе качала головою мать. Она могла бы кое-что и погорше сказать, да сдерживалась и лишь вздыхала.

Могилу отца прибрать — некогда; мать к родным местам отвезти на провед — тоже некогда. О детях что говорить... Дочка выросла. Видал ли ее? Сыну шесть лет. Вовсе растет чужой.

У землянки, возле воды, Любарь развел костерок. Не хотелось идти под низкую крышу, во тьму. Что-то пугало там, в чужом жилье. Какие-то недобрые тени прятались по углам. Он принес старую телогрейку, кинул у костра, прилег.

Вчерашнее и завтрашнее, Форкоп и милиция — все это уходило в сторону и словно забывалось. Все это казалось незначащим рядом

с мыслями об отце, о матери, о детях. Грелся бы сейчас возле него сынишка, дочка подбрасывала сухие ветки в костер — ничего больше и не надо. И с женой бы поладили. А мать пусть все это видит. Дал бы бог хоть на час такое. И больше ничего не надо.

Любарь поднял к небу глаза. Где-то там, наверное, этот бог, если его не придумали. А если там, то уж давно не смотрит на таких, как Любарь. Словно мать, порою лишь вздыхает да отводит глаза. На что глядеть?.. На ящики «пойла»? На пьяную дурь, которой гордились? Танцы в станичном клубе: хриплая музыка «по заказу», пьяный гвалт и рев, пьяные бабы, для пущего веселья кино задом наперед — вот вся радость. Летние забавы: на катерах катать каких-нибудь шалав. Добрые разве поедут? Недаром гуляет помолвка: «Чем с рыбаком, лучше с хуторским кобелем». И снова «пойло» да «пойло».

Спать он все же пошел в землянку и среди ночи проснулся от страха. Что-то осязаемо тяжкое подступало. Кажется, смерть.

Он очнулся во тьме, и явь была страшной. Со всех сторон тянулись к нему леденящие душу виденья. Это смерть подступала — расплата за все.

Через силу, со стоном, он сумел подняться. Рванулся, закричал, упал с кровати, по земляному полу ползком выбрался из землянки.

За порогом встретила его ночь, треск сучьев и шорох: какой-то зверь убегал, испуганный. Скоро все стихло. Кот Рыбалкин объявился и стал мурлыкать. Любарь погладил своего сотоварища, и ужас понемногу отступил, сердце успокаивалось, руки уже не тряслись и не страшно было шагнуть во тьму землянки, за куревом.

А закурив, Костя вспомнил о початой бутылке, которую он оставил в лодке, в кормовом отсеке. Не забытье и не хмель ему были нужны, а одно лишь успокоенье. И водка, друг надежный, как всегда, успокоила, обогрела. Даже о смерти стало думаться безо всякого страха. Может, и пора умирать. Сколько туда ушло его годков, с кем вместе рыбачил. Сгорали от «пойла», тонули в холодной весенней ли, осенней воде. По пьянке лишь упади за борт, и вся амуниция — ватники да сапоги-забродни — свяжет и утянет на дно. Смерть была вроде привычна, а теперь не так уж страшна. Но не хотелось умирать одному, в этой землянке или подле нее. Учует воронье, лисы. Они на падаль охочи. Да и свой брат-рыбак еще неизвестно как схоронит. Что в пьяные головы взбредет. Рыбаки любили хоронить: можно ведь пить и плакать. Дьякона хоронили, Хоря, Тузика, Барлыгу. Как-то зимой в Кочкарине прямо за столом умер приезжий донецкий купец. Вожжались с ним целую неделю. Сыскали гроб, уложили покойного в холодном сарае. Пили за упокой, ходили в сарай прощаться. «Да как же ты, наш дорогой... Может, выпьешь?..» Лили водку на окаменелые уста. Таскали гроб с покойником на станцию, пытаясь всунуть его в проходящий поезд: «Пусть на родину едет!» Их гнали. Снова волокли покойника в холодный сарай. Снова — пили. И снова — к поезду. Роняли, из гроба вываливали. Потом его забрали родные.

А как Дьякона хоронили. Вспоминать тошно...

Мяукнул кот и сунулся в руки, словно пугаясь чего-то. Костя поднял глаза и застыл: в серых утренних сумерках из вербовой чащобы глядел на него человек. Костя сразу узнал его: это был отец, в серой рубахе навыпуск, в фуражке; он глядел и молчал, а потом вдруг исчез, растворясь в сером же сумраке.

Костя дух перевел. Но снова мяукнул кот. И, обежав глазами поляну, Костя увидел отца. Теперь тот стоял, прислонясь к белокорому тополю, и потому ясно был виден. А потом снова исчез. Но Костя знал, что пропал отец не совсем и должен появиться где-то рядом. Костя оглядывался, туда глядел и сюда. В ранних утренних сумерках, зренье напрягая, Костя все же увидел, угадал отца: тот стоял в камышах, словно прятался, а потом вовсе пропал.

Костя озирался испуганно: где отец теперь появится и что ему нужно?

В талах было пусто; под тополями — никого, землянка зияла черным входом; над водой, в камышах лежал слоистый туман. Костя перевел дух, допил водку. Потянулась рука к сигаретам.

Громко мяукнул кот. Костя глянул на него и оцепенел. Взгляд у кота Рыбалкина был совершенно осмысленный, человеческий, и все там было написано: не нужно слов.

Костя встал и сказал коту: «Пошли».

Три дня спустя Костю Любарева отыскали на поселковом кладбище, где он прятался меж могил, обросший седой щетиной, на себя непохожий. Большой рыжий кот тревожно мяукал рядом с ним.

14

Лечебница для психически нездоровых в больничном городке стоит за кирпичной стеной с воротами и сторожкой вахтера. Вдоль высокой стены тянутся к небу пирамидальные тополя. Тесный двор лечебницы: дорожки, цветочные клумбы, скамейки — все скрыто от глаз чужих кирпичным забором, глухой тополевой стеной. Высоко над зеленью — летнее небо.

На втором этаже, в палате для тяжелых больных — «наблюдаловке» — есть два окна, конечно, зарешеченных. Неба в них летом не видать, лишь зеленая листва тополей.

Двенадцать кроватей стоят друг подле друга, разделенные узкими проходами. Кровать Кости Любаря — во втором от окна ряду, у стены.

Долгий больничный день тянется бесконечно. Утро ли, полудень, вечер — все одно: стены да потолок, два окна с решетками и дежурный санитар-наблюдатель в дверях сидит, вытянув ноги.

До обеда движется день словно бодрее: врачебный обход, за ним — уколы, таблетки. В других палатах, где народ здоровее, там бродят по тесному коридорчику, ходят курить в туалет, помогают санитаркам нести еду с пищеблока, и разносят ее в больших термосах-кастрюлях по другим отделениям: детскому, женскому, еще одному, мужскому, по слухам — более страшному: там курить не велят и две наблюдаловки отделены железной стеной-решеткой на запоре. На здешней запоров нет. Лишь санитар поперек двери ноги вытянет, изредка, по очереди выпуская своих подопечных покурить в туалете, где вовсе нет окошек, глухие стены и свет электрический.

Костя Любарев очнулся от тяжкого дневного сна и лежал, не открывая глаз. Сновиденье, в котором он жил еще минуту назад, было странным. Привиделось Любарю, как всегда, прошлое: Дон, лето, берег зеленый, два катера, сцепленных борт к борту, веселая гульба. Ящики с «пойлом», бабенки молодые. А в кубрике на кровати лежит мальчонка, годика три ему или четыре. Мальчишка нездоров, раскраснелся и тяжко дышит. А на берегу и на палубе пьянка идет: магнитофонные песни, бабий визг, шум и гвалт. А мальчишка притих и лежит. Глаза прикрыты, но не спит.

И ведь на самом деле было такое: была пьянка и больной мальчик в кубрике, сынишка одной из баб, — все это было когда-то в жизни, а теперь вдруг приснилось. Но в нынешнем сновиденье мальчонка оказался сыном родным.

Шла пьянка, все там были свои: Славик, сизоносый Мультик и бабы знакомые. А мальчишка — сын. Даже костюмчик его, красный спортивный костюм с белыми лампасами на брюках.

Пьянка идет. Сам Костя на палубе. А сын в кубрике. Тяжко дышит, не спит.

Проснувшись, Костя лежал и, не открывая глаз, твердил себе:

«Не было такого... Не было тогда сына в кубрике... Не было...» Открывать глаза и встречать чей-то взгляд не хотелось, потому что знал Костя — будет осужденье во взгляде. Сынишки там не было, в кубрике, а теперь скажут — был, и ничего не докажешь. Никому ничего не объяснишь.

Он лежал и успокаивал себя: «Не было сына в кубрике». И понемногу будто понял, что явь — дело одно, а сон — вовсе другое: неправдашнее, зыбкое — мало ли что привидится.

Когда он наконец осмелился и приоткрыл глаза, сразу понял, что боялся не зря: глядели на него санитар и соседи, и даже с дальней койки приподнялся кто-то, чтобы увидеть. Костя зажмурился и отвернулся к стене: тяжело на сердце ложилось людское осужденье, тем более что не его сын хворал тогда в кубрике. Но как теперь доказать?

Который раз уже такое случалось: снилось что-то прошлое и чужие грехи ложились на душу. Хватало своих грехов. А тут чужие наваливались, как сейчас. Ведь не было сына в кубрике. Чужой там лежал мальчонка. Хотя и его было жаль до слез.

Санитар слез не видел, и Костя лежал притаившись, боясь, что позовут врача ли, сестру. И снова будут колоть. Колоть и колоть... И таблетками пичкать, заглядывая в рот, проверяя, проглотил ли. А кончится все одним — железною клеткой. Туда отправился старик с дальней койки, от окна. Потом молодой парень, сосед, художник. Его все называли художником. Он хорошо рисовал, но одно и то же, изо дня в день: треснутый череп, открытый мозг, страшный большой паук, обхвативший человечью голову и сосущий ли, пьющий ли мозг его. И безумное от боли лицо человечье. Он рисовал такие картины каждый день, требуя бумагу и карандаш ли, краски. Многие неспокойные там исчезали, в клетке. Теперь близился Костин черед.

Он лежал, плакал и забылся в слезах.

Громкий веселый смех пробудил его. Хохотали в соседней палате. Там помещались молодые солдаты срочной службы, «сачки» из воинской части, направленные для проверки. Им чего не смеяться: скоро их «комиссуют», отпустят домой или, на худой конец, в часть вернут. Тоже — не беда.

Костя поднялся и сел в кровати, чтобы увидеть в проеме дверей, за неподвижной фигурой дежурного санитара веселые молодые лица.

За окнами, за стенами лечебницы наливался зноем летний погожий день. Давней кладки кирпичные стены еще хранили прохладу; в открытые окна тянуло уличным жаром.

Подле самой стены, возле окон росло абрикосовое дерево. Молодые ветви его поднимались ко второму этажу. В окне палаты, где лежал Костя Любарев, весною был виден абрикосовый белый цвет, потом — зелень и зреющие до желтизны плоды. Теперь же, когда абрикосы сошли, только листва.

В поселке, дома у матери, в саду росли четыре абрикосовых дерева. Сажал их еще отец. И теперь, глядя в окно, на зеленые ветви, Костя вспоминал материнский дом и сад. Казалось ему, что, попади он теперь из больничной тесноты, духоты, от всех этих таблеток, уколов, от своих и чужих печалей и слез, попади он в материнский дом с его тишиной и зеленым покоем, и сразу все кончится: уйдет тревога, телесные и душевные боли оставят его, и придет исцеленье.

В соседней палате солдаты повеселились и смолкли. Болезненный стон пронесся коридором, потом еще один. Стонал и стонал человек. Это была обычная процедура, леченье. Одни ее переносили легко, другие стонали, впадая в забытье. Это было привычно для всех. Лишь новенькие с опаской прислушивались да в приемном покое родные больных тревожились, когда через запертую дверь доносились до них приглушенные стоны. Но родных успокаивали.

Приемный покой был местом для всех желанным: оттуда выпускали на прогулку, на хозяйственные работы, там проходили свидания

с близкими. Низкий столик, три стула, окно с решеткой, дежурная медсестра.

Костя Любарев приемного покоя боялся. Там он не мог сдержаться и плакал при виде жены ли, матери, другой родни, чувствуя себя во всем виноватым. И долго не успокаивался. Лечащий врач к свиданьям допускал его неохотно, чаще отказывал для пользы больного. Жена стала ездить редко. Но мать каждую неделю привозила передачи и, не смея перечить, горестно кивая головой, выслушивала отказ в свиданки. И уезжала, раз от разу все менее на что-то доброе надеясь.

А вот в столовую Костя любил ходить. Даже в худые времена, когда водили его под руки, он все же стремился туда, стараясь занять место возле окошка. Он завтракал ли, обедал и глядел на волю. Для других больных прогулки и хозяйственные работы были развлеченьем, для запертого в палате Кости — лишь это окошко, из которого видна была часть двора, огражденного высокими тополями да кирпичной стеной. Часть двора: две скамейки да клумбы с цветами. Порою какие-то люди сидели на этих скамейках или прогуливались по двору.

Нынче в обед, удачно заняв место и бросив во двор рассеянный взгляд, Костя увидел что-то необычно рыжее. Он пригляделся и обомлел: мать сидела на скамейке, а рядом, у ее ног, степенно разгуливал кот Рыбалкин. Костя сразу его узнал, рыжего, пушистого и хвост — трубой. Рыбалкин важно прогуливался, туда да сюда, а потом прыгнул на скамейку и замер. Глаза его были нацелены вверх, к окошку второго этажа, где сидел теперь Костя.

Конечно, это был кот Рыбалкин, и Костя обрадовался ему, помахал рукою.

Дежурная медсестра подошла и спросила:

— Что случилось?

— Ко мне приехали, — сказал Костя. — Мать и кот Рыбалкин.

Сестра посмотрела в окно и удивилась.

— Правда, кот. Кота привезли на свидание.

Подошла санитарка, кто-то из больных поднялся; разглядывали кота.

Рыбалкин, словно чуя взгляды, спрыгнул на дорожку и стал важно разгуливать, распуская пушистый хвост.

— Это наш кот, рыбацкий... — стал рассказывать Костя. — Бригадный кот. С нами всю путину проводит. Рыбу ест только живую, к снулой не подойдет.

— Котя-ара... — протяжно сказала санитарка.

А Косте вдруг иное пришло на ум: как мать везла сюда Рыбалкина и зачем?

Старая женщина сидела на скамейке, внизу, согбенная, маленькая, словно усохшая за эти несколько месяцев. Голова втянута в плечи, а за плечами — горб. Рядом — большая сумка с харчами. Она возила много: молоко кислое и пресное, каймак, яички, рыбу, свежие и малосольные огурчики, помидоры, зелень, яблоки, абрикосы — словом, все, что было в саду и огороде и чего не было. Сумка с харчами да еще этот кот Рыбалкин в добрый пуд весом. Как она тащила?..

Жалость и горькое чувство вины обжигали сердце. Подступали слезы. Костя чуял, что сейчас он заплачет, а потом ему станет хуже, и свиданья не будет. И он не сможет сказать матери тех слов, что на душе у него. А матери они так нужны, пусть только слова.

И вдруг в этот последний миг перед темным и тяжким, на много дней в слезах, забытьем, приподнявшись со стула, он увидел девушку в белом платье, с длинными косами за спиной. Это была его дочь.

Как она изменилась за эти месяцы!.. Выросла, расправилась и из угловатой девчонки превратилась в юную прекрасную женщину. Это она, конечно, она надумала привезти в больницу кота Рыбалкина, старого друга. Спасибо ей...

— Это моя дочь! — крикнул Костя, поднимаясь из-за стола.

Ко многому привыкшая, столовая лечебницы продолжала неспешный обед.

— Это моя дочь... — повторил Костя. — Ко мне приехала.

— К вам, к вам, Константин Иванович... Обедайте, обедайте...

Врачиху, наверное, медсестра позвала. А может, случай привел ко времени. Она присела за Костин стол и Костю усадила и, глядя внимательно ему в глаза, стала говорить и спрашивать:

— Ну, хорошо... Только успокойтесь. Вот они приехали, видите, даже с котом. Просят свидания. Придет мать, придет дочь. И что вы им скажете? Будете плакать, прощения просить. И они будут плакать. Или по-другому? Вот что бы вы хотели им сказать, давайте подумаем.

Слезы и боль — все это отступило в Костиной душе, и пришло воспоминанье об очень далеком. Костя улыбнулся и задумчиво, вспоминая, стал говорить. И казалось ему, что дочь и мать уже рядом...

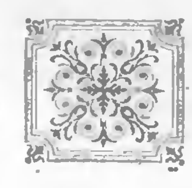
— Как выросла... Впору замуж... А чего же... Скоро и выйдет... Жизнь идет. Дедом буду. А как сейчас, помню, восемь месяцев ей было, первый зубок прорезался. В кроватке стоит... Страшненькая... — он засмеялся. — Щечки висят, вот так... — показал он, оттянув щеку. — По-суслачиному щеки висят, нос курносый, волосенки редкие, прядками... — он помнил ее лицо, по-младенчески безобразное, но дорогое. — Первый зубик прорезался... Угукает, толкует чего-то. За палец ухватила и тянет. А вот глаза сразу такие были, серые глазищи, большие.

Слушала врачиха, слушала медсестра.

А за окном, во дворе, на крашеной зеленой скамейке сидела старая женщина с седою, трясущейся головой, а рядом — юная девушка звонко смеялась, балуясь с рыжим котом Рыбалкиным. Она смеялась и говорила:

— Бабаня, ты погляди, что он делает...

Смотрели на них из многих окон трехэтажной просторной лечебницы, огражденной кирпичным забором и высокими тополями



ФЕДОР СУХОВ



ПОЙМИ И ПРОСТИ

* * *

Невеликий горбится пригорок,
Над пригорком — зори по утрам.
И как перст великого укора,
Оскверненный сиротеет храм.

Виновато потупляю очи:
Это как, когда это стряслось?
По кладбищенской понурой роще
Нестерпимый шастает мороз.

Вижу — из могил своих выходят,
Руки простирают мертвецы...
Вроде месяц багрянеет, вроде
Лошадей выводят под уздцы.

Кованые грохают копыта,
По земле заледенелой бьют,
Покидают давний, позабытый
Кем-то уготованный приют.

Наши прадеды и наши деды
Убирают косточки свои.
Говорят, здесь будет парк Победы,
Будут петь слышнее соловьи.

Приподнимет праздничное лето,
Свой багряный располощет стяг, —
Знать, и вправду — всякая победа
Праздник свой справляет на костях.

На слезах загубленного люда
Сколько пролито горючих слез!
Потому и шастает так люто,
Нестерпимый буйствует мороз.

* * *

Все-то, все испохаблено,
Все-то, все-то порушено,
Не дорога — ухабина
Под блескучей каплюжиной.

Под нестихшею моросью
Волчьей пастью — яружина,
Неразгаданной хворостью
Все-то, все занедужило.

Гляну на поле — на поле
Крылья черного ворона.
Всяк все тащит, все хапает,
Все-то, все разворовано,

Все-то, все-то растащено
Посредь дня светлоликого,
Тихо-тихо растрачено
Ради ворона дикого.

Ради черного пиршества,
Столованья великого,
Дескать, все-то, все спишется
Посредь дня светлоликого.

И никто не осмелится,
Супротив не обмолвится,
Ведь не зря мелет мельница
И не зря звонит звонница.

А уж если отважится,
Скажет слово крамольное, —
Над ветлою коряжистой
Грохнет гневная молния.

Над поникшею вербою
Гром железно протопает.
. . . .
Над порушенной верою
Приподнимутся тополи.

Над глубокой яружиной
Встанет горькая яблоня, —
Все-то, все-то порушено,
Все-то, все испохаблено.

* * *

Как я выжил? Почему я выжил?
Почему не умер я, не сгиб?
Поднимаюсь выше все и выше,
Вижу взрыва атомного гриб.

Хиросиму вижу, Нагасаки,
Колыму я вижу, Воркуту.
Хриплым лаем давятся собаки,
Рвут кромешной ночи темноту.

К потайному приближают следу,
Обостренный не теряют нюх.
Неуемно шествует по свету,
Ветер рвется с севера на юг.

С полночи торопится на полдень
Этот ветер, этот крутовей.
Все-то ведает он, все-то помнит
Мой неугомонный соловей.

Проволоки ржавое железо,
Неусыпный лагерный конвой,
В хлеборезке — ножик хлебореза,
Парня с оголенной головой.

Арестантскую его одёву
Помнит мой залетный соловей.
Припадаю к ветру-листодёру
Воспаленной памятью своей.

Неутихшею своей обидой
Слышу шорох повзрослевших лип.
. . . .
Списанный давно, давно убитый,
Почему не умер я, не сгиб?

* * *

Зое Крахмальниковой

Пою я твое воскресение,
О Господи, подвиг твой славлю!
Избавь меня от искушения,
Я сам-то себя не избавлю.

Поставь поскорее стопы мои
На путь, что протоптан тобою,
Пусть дождь твои пажити вымоет,
Своей обласкает любовью.

Обрадует озимь. По озими
Рассыплется белым горохом,
Рассеребрится березами
По нашим российским дорогам.

Березовой чащицей топчется
По косточкам сгибшей полыни...
И вправду — дымящейся рощицей
Протопал серебряный ливень.

Твоими перстами, о Господи,
Припал на овражины лисьи,
Возвысил над всеми погостами —
Ивана-да-Марью возвысил.

И вроде бы нету забвения,
Нет ночи кромешной, нет хмари,
Лишь только твое воскресение,
Явленье Ивана-да-Марьи.

ВЛАДИСЛАВ АРТЕМОВ

ОПТИНА ПУСТЫНЬ

1

Не узнал себя в парнишке сельском,
Так была душа его светла!
За рекой под городом Козельском
Золотые светят купола.

Возвращайся, брат, души
не мучай, —
Через град и ад, через пустырь,
Через воды, через лес дремучий,
Через бор...

И вот он — монастырь!

2

И ворча, надев на рясу ватник,
Покрестившись,
в три часа утра
Отпирал ворота мне привратник
С лысиной апостола Петра:
— Эка, друг, чело твое вспотело,
Хслода, а ты в дороге взмок...

— Да грехи тащил, такое дело,
Вон их сколько, еле доволок!

3

Соберутся черные монахи,
Опытны, внимательны, тихи,
И пойдут и «охи» тут и «ахи» —
Спору нет, весомые грехи.

И с суровым видом, с недовольным,
Станут их крестить они крестом,
Изгонять их звоном колокольным,
Изводить молитвой и постом.

4

И с досады затевая драки,
Наблюдая издали за мной,
Будут бесы грызться, как собаки,
Выть за монастырскою стеной.

Ничего, не страшен этот лай нам,
Был я ваш, да то-то и оно —
Здесь святым я причастился
Тайнам,
Так что лаять на меня грешно!

5

Будет служба долго-долго длиться,
И меня отпустит боль моя.
Стану я с монахами молиться
О стране и воинстве ея...

6

Сгинь же тьма, и отступите страхи!
Никому пропасть здесь не дадут.
Пойте, пойте, черные монахи,
Святый Боже! Как они поют!..

Голоса то жалобно, то грозно,
Я таких на свете не слыхал,
Плачу я, что я пришел так поздно,
Радуюсь, что я — не опоздал!

7

Мир дается правдой, а не силой,
Я в руках пересыпаю прах...
Как же долго, Господи, помилуй,
Довелось нам мыкаться впотьмах.

Кто же, кто же,
кто тут победитель?!
Смерть пророчат нам, а я смеюсь —
Возроди хотя б одну обитель,
Встанет из руин — святая Русь!

Родина, из пустоты, из праха
Воскресая в правде и в любви,
Ты рукою кроткого монаха
В трудный путь меня благослови!

Знаю я, прощаться будет туго,
Каждого с поклоном обниму,
Что же делать — выйду я из круга
И шагну во внешнюю, во тьму.

Визг кругом, бушует жизнь,
как море,
Взбаламучен человечий век.
Помолись о мне, отец Григорий!
Помолись, отец Мельхиседек!

8

Мы терпели гибель не случайно,
Испытанья не даются зря —
В муках зреет радостная тайна,
Чтобы в мир ворваться, как заря.

Не один святой из дали давней
Видел и пророчил наперед:

«В неурочный час,
Пройдя страданья,
Русь святая — Пасху запоет!»

□ □ □

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН

КРАСНОЕ КОЛЕСО

ПОВЕСТВОВАНЬЕ В ОТМЕРЕННЫХ СРОКАХ

Узел II

ОКТЯБРЬ ШЕСТНАДЦАТОГО

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

РЕВОЛЮЦИЯ

22

Человека, долго переносящего невзгоды, опасности, как бы он с ними ни сжился, как бы ни запретил себе думать о жребии ином, — неприметно для него самого истомляет тяга расслабиться, тоска испытать сочувственное внимание да и оценку своих заслуг. Даже мальчишка, целый день пролазавший по деревьям, пробродивший раков, требует вечером у семейного стола такого признания и удивления. И самый молчаливый терпеливый труженик после дня, недели, месяца нужи и стужи ждёт признания и заботы хотя б от единого человека — от своей жены. Тем более дуплится такая телесная и душевная нехватка в нутре фронтовика, всякий день не уверенного даже в длении собственной жизни.

Воротынцев, постоянно стянутый на делаемое дело, сам не предполагал, до чего уже подкатила в нём такая жажда. Растянясь на полке обыкновенного — во всём необыкновенного! — мирного вагона из Киева в Москву, предпочувствовал он в себе всплеск этой жажды. Но дома, в Москве, где естественней всего было её утолить, покатилось нестояще, и не открылось рассказывать своё заветное. Кое-что внешнее, с краю, обломил в вагоне Фёдору Ковынёву. Ехал в Петербург — а найдутся ли здесь заинтересованные, требовательные, понимающие люди, чьим центром проверяющего и благодарного внимания он усядется и отдастся рассказам? — сам страдая снова от сути их и сам наслаждаясь, как освобождаются ноющие кости от пространданного в глухоте, как оправдаются заклятые военные неудачи тем, что это дружественное общество на жилке ума воспримет их и переработает?

И вот на Монетной, на пятом этаже, как будто сошлось такое общество, и намерены были слушать его, и задавали вопросы, — да может быть только из вежливости, а на самом деле зачем им слышать, когда все интересы их — партийные? От послу́шанья их самих что-то опала

Продолжение. Начало в №№ 1—3 за 1990 год.

охота высыпать тут своё сокровенно-горькое, загубливалась возможность рассказа и здесь. Ведь **эти**, пока не было войны, над военными смеялись, вот уж не стали бы слушать. Пока Воротынцев сверх Академии набирался артиллерийской тактики на лужском полигоне, да иппологии, да вольтижировки, — **эти** считали «патриот» позорной кличкой. Где-то, может быть, на другом этаже другой улицы сейчас собрались те, кому Воротынцев вёз ворох своего наболевшего, — да как найти их!

Да вообще всякое внутренне-несомненное теряет в звучании, в громком назывании, в пересказе, и лишь между близкими вполголоса передаётся верно.

Так что лучше бы всего Воротынцев сегодня ничего бы не рассказывал. Но отчасти неприлично было отказаться, все ждали, и особенно перед Шингарёвым как же? С Шингарёвым они начали, не договорили — ему-то и надо было выразить дополна. Шингарёв очень тронул своим задумчивым воспоминанием о Столыпине. Его открыто-восприимчивое лицо, его незаграждённый взгляд ждали узнать. А внезапная стычка о Столыпине дала Воротынцеву взбодриться — и он настроился к этому обществу не снисхожденья просить, а вызывающе, — и швырнуть им, чего на самом деле эти вещи стоют, о которых они так легко рассуждают, в своей воинственности несравненной, в своём нечувствии. А и Верочка ничего не слышала толком, и ей отдельно он не соберётся рассказать. Но и это б всё ещё не сложилось в нём до конца — не появись тут эта маленькая профессорша в кружевном воротничке, однако с мужским пожимом маленького лба — и неотрывно-одобрительным взглядом к полковнику.

И эта профессорша — окончательно перевесила, неизвестно почему: они и словом не обмолвились, и не просила она его ни о чём. От одного только присутствия её вдруг стало Воротынцеву свободно, уместно и нужно — вот именно здесь сейчас всё рассказывать. Вот именно тут-то его и ждали!

А тем временем все и пересели, приготовились. Павла Николаевича больше не ожидали, а Минервин остался послушать полковника.

Но — как отбирать? но что рассказывать? Что в его фронтовых днях было воистину главное, даже кричало, с полуслова понятное товарищам по полку, — здесь, в просвещённом кадетском обществе, выглядело бы эпизодами мелкими, бессвязными, пожалуй даже свидетельством неспособности обобщать. Как *отсюда* видится — война до того долга, однообразна, заколеблена в малых пределах, что только и можно её воспринимать в самых общих чертах. А обобщи, посвязней и повыше, так ничего и не останется, так наверно им и из газет известно.

Но полковник как раз с румынского фронта. Все фронты застоялись, а этот один действует — так что там?

Румыния? Вот потому немцы туда и ударили, что новый, открытый и незащищённый фронт. 300 тысяч войска — а посыпалось как гнилая труха. Румынскому королю неймётся Трансильванию захватить, но со спины боялся Болгарии и долго договаривался, как союзники от Салоник начнут, а мы через Дунай в Добруджу. Союзникам что ж: лишняя страна — гуще свалка. (Впрочем, *здесь* о союзниках поосторожнее!) Но у нас — где была голова? Все твердят, что успех нужен на главном фронте — а движемся на второстепенный. Кто-то думал тем усилиться, пододвинуться к Босфору. А пошёл Макензен через это королевство маршем да нашу Дунайскую армию и подвинул наоборот, от Босфора подальше. Забрали немцы румынскую нефть, забрали лошадей. О румынском участке? — пересказать нельзя, представить невозможно! Назвать бы опереттой? — так слишком кровавая, слишком много маршевых рот мы гоним туда на затычку. А послать нам туда надо не меньше четверти миллиона. А железные дороги их ничего не пропускают, даже нормальных санитарных поездов — и отправляем раненых в товарных вагонах из-под прибывшего провианта. Или в дачных вагонах, без уборных и с выбитыми стёклами. А в устье Дуная ещё и холера. На днях вот Констанцу сдали.

Да не ждали от него рассказа свободного, как ни сложится, что на себе ни вынесет, ждали подтвердительных фактов к уже известному, в Петрограде лучше всего, смыслу: что неисчерпаема, нескончаема, непробиваема тупость Верховной власти и Верховного Главнокомандования, но неизменен, светел и несокрушим дух русских воинов, простых солдат и офицеров, на которых и может полагаться в своих расчётах либеральное передовое общество. И о Румынии, и о Галиции ждали от него не столько живых картинок с чёрными фугасными столбами и лошадьми вверх копытами — а таких эпизодов, чтобы на светлом фоне народного героизма выступали бы чёрными заляпами ошибки только самого Высшего командования и особенно министров, которые всё и губят, и посему с этой властью нельзя победить.

Так и для самих армейцев это было самое естественное направление срывать досаду! Кого ж и ругали в офицерских землянках, если не тыл, не Ставку, не штабы фронтов и армий, не корпусных и не дивизионных! Такого — сколько угодно мог Воротынцев рассказать.

Хоть и с того, что 1914 год мы начали даже без наполеоновской нормы — 5 орудий на тысячу штыков. Да на первые недели, на предстоявшую тогда трёхмесячную короткую войну мы гнали полки в переполненном составе — в роте по 4 офицера, фельдфебели на взводах, сверхсрочные старые унтеры в строю за рядовых, — а потому что на унтеров в мобилизационном плане даже не было отдельного учёта, так работало сухомлиновское министерство. И в те первые месяцы столько выбито унтеров, что вот третий год соскребаем кое-каких, подучиваем неумелых — командовать и вовсе неумелыми солдатами, ратниками да ополченцами. И кадровые офицеры тоже выбиты на три пятых, да одна пятая прикалечена, и разводнены морем прапорщиков-разночинцев, осталось кадровых в полку по пять-по шесть, как воевать? На ротах и батальонах — подпоручики, а то и прапорщики.

А эти новые прапорщики? Чуть грамотен, кончил-не кончил городское училище — за 4 месяца становится «их благородием». И иной понимает, что ещё не годен, и старается учиться, а другой возомняет, распоясывается, показывает свою власть над солдатами. От таких «нвродных» прапорщиков не сблизились офицеры с солдатами, но расчуждились.

А как присылают пополнения? Московским округом, хорошо известным Воротынцеву, стал командовать надменный генерал Сандецкий. И владела им дичь недоучивать новобранцев, как можно больше и скорей посылать на фронт необученных солдат, не умеющих ни стрелять, ни вперебежку. И особенно люто он изгонял на фронт недолеченных офицеров, где они и воевать не могли, а домирали от своих болезней. Врывался на медицинские осмотры и вмешивался. Вот один случай, не попавший в газеты лишь от того, что пострадавший смолчал. Освидетельствовался офицер, у которого от ранения были скрючены на правой руке четыре пальца. Комиссия постановила уволить его от военной службы, Сандецкий возмутился, приказал офицеру положить больную руку на стол — и трахнул по ней кулаком изо всей силы. Все четыре пальца — сломал, офицер лишился сознания.

Оживлённый переполох. Вот это попадало слушателям в цвет и в потребу. Что ж, клюйте. Всё — именно так, увы, и никуда не денешься. Говорят, великая княгиня Елизавета Фёдоровна стала обличать Сандецкого, но её отношения с царственной сестрой испорчены, а тут Сандецкий стал её самоё травить в Москве как немку. В конце-то концов Сандецкий ушёл — но куда? на Казанский округ, не много потерял, и мы не выиграли. А на Московский назначили Мрозовского — не такого бешеного, но такого же тупого.

Сколь многие в России заняты не службой, а личным благополучием. Высокие штабы — преувеличенно множественны, даже преобилие

переписки, личных адъютантов, офицеров для связи, лишних экипажей, досуг, еда, питьё, карты, а штабная угроза: в окопы пошлю! Вот картинка: при Гвардейском корпусе в вагоне живёт великий князь Павел Александрович. Жаркий летний день — крыша вагона покрыта дёрном и два солдата поливают её из леек. В таких штабах и планируют вялые операции, где губят по 50 тысяч человек, и такая мелочь в историю не записывается.

А — покрупней? Хотя бы всё та же Восточная Пруссия. Разве самсоновская армия — это всё, что мы там положили? Да в Пруссии с тех пор ещё несколько катастроф. Ренненкампф, на помощь другому медлительный, вскоре и сам уносил ноги из такого же мешка, да проворно, и орудия бросал. И ту же Вторую армию, только что снова сформированную, в тех же месяцах едва-едва не отдали под Лодзью в такой же мешок. (Кстати, это мы опять торопились спасать французов, теперь на Изере...) А затем—снова дважды на Пруссию, по тем же несчастным дорогам, с юга и с востока, ничего не изменив ни в тактике, ни в вооружении, опять мы напирали толпой, всё думая взять числом, напирали на свою повторную и третную гибель. В ту зиму растрепали в Пруссии 10-ю армию — положили 20-й булгаковский корпус, уж не считая отдельных полков. Так три раза совались мы в Пруссию неготовые, чтобы только выручить французов!

И за всё-то... за всё то... Ну, тут все знают и подсказывают. Рассыпано много наград высшим генералам. Вытащен из старья Куропаткин — на Гренадерский корпус, а там и на Армию, а там и на Фронт. Окостеневший генерал Безобразов, приятный Двору, вместе с Брусиловым перемалывает гвардию, но не спускается ниже корпуса. Как и генерал Вебель, не вылезающий из поражений. Как и генерал Раух: в Пруссии опозорился с кавалерийской дивизией — за это получил конный корпус, отобрал у него Лечицкий корпус — вознаградили Рауха от Верховного Гвардейским корпусом, а этот послал он на Стыри по болотам, австрийцам даже стрелять не пришлось, тонули наши и так. А Жилинский, это вы знаете, стал полномочным русским представителем при французской главной квартире. А Артамонов, погубивший самсоновскую армию, вышел из-под следствия чист, и Николай Николаевич поздравил его поцелуйно. И когда взяли Перемышль, то в череде празднеств не нашли коменданта пригожей Артамонова. А он, упустивши 20 тысяч пленных и сдавши крепость противнику, стал законно ожидать нового назначения.

А сколько имён неизвестных, тупых морд, забывшихся в своём чине, не проразумляющих, что такое долг. Какой-нибудь генерал Гагарин, командир Заамурской конной бригады, в пьяном виде изгаляется над своим командиром полка: «У вас нет пулемётов? Так вы пошлите две сотни атаковать австрийцев — и отберёте у них пулемёты!» А у каждого такого — тысячи в подчинении, и они их кладут, и беззвестно.

И не смерив первого военного полугода, всей невозвратимой потери офицеров, унтер-офицеров, кадровых солдат, истощения снарядов, даже нехватки винтовок, постоянного превосходства немецкой артиллерии — и в численности, и в калибрах, у нас почти только трёхдюймовая, у них много тяжёлой, — ничего этого не смерив, не оценив — к первой военной весне кроволитно потянуться в скалистые проходы Карпат, чтобы их переваливать в Венгрию. И при этом — даже не прикрыть как следует фланги наступающих корпусов.

Карпатская авантюра! — она жгла сердце чуть не ярей всего. Как невыносимо вспомнить: после взятия Перемышля — не сметя сил, попёрли, попёрли через горы, какие кручи одолевали пушками, брали штурмом перевалы, — какие рывки! какие потери! сколько крови!! И всё — зря!! Вот, развернулась Венгерская долина, только спустились — и тут же приказ: отступать! И с какой поспешностью, на те же опять кручи пятясь, заклиниваясь в ущельях, — какие потери опять!.. Списывали полк в один час... Таяли целые корпуса... Карпатские ущелья — кладбища удальцов...

Тем особенно невыносим приказ с далёкого верха, что необходимости его не знаешь, глазами не видишь, а только: зачем?? зачем же мы туда лезли?

А смахнул все наши Карпаты — макензеновский прорыв под Горлицей. От прорыва под Горлицей и покатилось всё великое отступление Пятнадцатого года — без снарядов, от современной армии отбиваясь штыками, а где и чуть не дубьём. Начальник дивизии благодарит командира батареи за отличную стрельбу и тут же грозит отрешить за перерасход снарядов. Отходили ночами, когда немцы отдыхали, отходили и среди бела дня, то и дело в угрозе окружения, а немецкая артиллерия молотила по нам. (А ещё ж, не забудьте: отдаём хлебные зрелые поля, и рядом тащатся вереницы беженцев в лохмотьях, с покорными взорами, их скарб щемящий на телеге, а лошадь падает — и слёзы над ней, и холмики похороненных детей.) Уходили из Галиции уже и без патронов, никак не отвечая. Пополнения, едва выгрузясь из вагонов, тут же попадали и в плен. Аэропланы в небе — только немецкие. И как мало бы этого всего — тогда ж пустили немцы на нас и газы, и морили сразу тысячами — в зелёно-жёлто-серых мертвецов, с выкаченными глазами, вздутыми животами, всё в той же Второй армии — 9 тысяч отравленных с одного разу. А мы — совсем не ожидали, совсем готовы не были, защищаться нечем, марлевые повязки на рот? целлулоидовые очки на глаза? — все гибли. И вся наша поздняя выдумка: зажигали хворост на бровке окопа, чтобы пламенем перекидывало газ через окоп.

Прежней русской армии, избывающей солдатским здоровьем, какая топала в Четырнадцатом, — её уже в Пятнадцатом не было. Вот так она руководилась Верховными. (Это — здесь хватают.) При спокойном бездействии благодарных союзников, жалевших для нас даже винтовок. (Ах, пардон, про союзников здесь нельзя, это — уже никому, никак не в цвет. Такое — нигде вслух не говорится, не называется.)

— Позвольте, но — как же тогда...

Мы и Шестнадцатый год начинали — ещё с тысячами безоружных в строю, лишних. Надаём таким сапёрного инструмента да ручных гранат, и вот — «гренадеры»...

— Позвольте, но как же тогда брусиловский прорыв?!

Дался им этот брусиловский. И прорыв этот, господа, а особенно его развитие, — не так уж славен. Два месяца густых боёв, крупных потерь — а взяли уездный Луцк да несколько заштатных городишек. Это не наступление, когда толкают, а не охватывают. Никакого решительного результата, вслед за тем мы и отходили. Весь успех Брусилова ничего не стоит, если посчитать, сколько он в последующие месяцы потерял, за четверть миллиона наверно. Этот прорыв как раз и показал, что наступать мы не умеем и сегодня. А сколько — глухих беспросветных наступлений, даже названьем отдельным не отмеченных? — в этом марте, к началу распутицы, у озера Нарочь, например?

Нет, господа, пока что совершённым в этой войне — России не похвастаться. Разве это — достойное ведение войны? От такого гиганта да при напряженьи всех сил — не такие бы успехи ждались.

Тяжёлая заминка в гостиной.

Да легко рассказывать, злорадно слушать о бездарности и путанице *верхов.* Но — сам ты? и кто из нас склонен рассказывать? — о путанице рассыпанной, а не менее губительной, об ошибках и несовершенствах среднего и малого боя, чем и наполнены будни. Неудачи местных боёв скрываются от соседей и от начальства, о них и не узнаёт никто вообще. Скрывают свой отход, подводя соседей. И в донесениях — «потери выясняются», когда уже знают их, но надо скрыть. Или «с боем взят», когда без боя (и «в моём присутствии» — значит, мне награду). Или рапортуют о вовсе не взятом.

Или к бою пришлют несколько ящиков гранат, а ящик с капсулями забыли в штабе. Значит — без гранат.

Или идём в атаку, даже не зная позиций противника — не сфотогра-

фировав с воздуха, не зарисовав с земли. Потому что атаки бывают — и не для прорыва настоящего, и не отвлеченье с другого участка. Атака — для отчёта перед начальством. Просто — посылают Елецкий полк и устилают им высоту.

А вот мортирный дивизион и полк полевой артиллерии после долгого голода получили снаряды и жарко бьют по деревне, которая у немцев. Телефонная связь прервана, с опозданием прибегают от пехоты ординарцы: да сучьи дети, вы одурели? Мы эту деревню ещё ночью прошли, мы уж в трёх верстах западней её бьёмся!

А другой раз вот так же — не по пустой деревне, а по своей передней пехоте или по своим разведчикам.

Или: роет, роет полк окопы и узнаёт, что выкопал — *позади* другого полка.

А это работа — рыть, да зря. Фронт состоит из работы и терпения ещё гораздо больше, чем из боя. Окопы — ведь это открытые ямы, и от дождей в них — всегда вода, а в землянках и в блиндажах всегда сырость. И это счастье, если есть чем их перекрывать, а в безлесной местности приходится сидеть на позициях необорудованных, или за 10 вёрст, не преувеличиваю, носить на себе брёвна пешком, и будешь носить, чтобы жить остаться. И каково узнать, что позиция оборудована «не там» — по ошибке начальства или по смене обстановки, — и надо переходить на новое место — и лес переносить на себе опять? Все инженерные работы делает сама пехота. И столько достаётся солдату ходить, что не хватает никаких сапог, изнашиваются до бродяг, плетут на замену лыковые лапти. Отдыха — никогда. Отводят в дивизионный резерв, но роты всё равно ходят еженощно за 6-9 вёрст на сапёрные работы в темноте. Так что солдат, прибывших необученными, — некогда и обучать. И до того уже находятся и натрудятся, что сама позиционная война кажется отдыхом. Но окопы — хорошая неподвижная цель, и в самый средний день относим по нескольку, накрываем шинелями, а зарыть в темноте.

Да и батарейцам — когда в зарядный ящик надо подпрячь десять коней, а то не вытянешь. Да и нам — когда грязь прилипает к ногам пудами, а надо — в перебежки. А там, в конце, вдруг окажется, что в проволочных заграждениях проходы сделаны — недостаточно широкие. И — толпимся на перестреле.

Или в горах — наступленье по пояс в рыхлом снегу. Раненые так и тонут.

Война — она идёт третий год, и за это время в разных местах отечества разные люди успевают и привыкнуть, и пожить, и поузнавать о событиях, и порассуждать о будущей победе, — а какому-то батальону или полку вдруг остаётся всей жизни — один-два часа. Присылают команду — атаковать, и непременно в лоб, и непременно через большое открытое пространство, и хорошо, если в атаку поднимают бежать не за версту. Другим — запасной час для проходки, занять чужой незнакомый участок, лишь оттуда атаковать. И вот этот час последней проходки, когда не отвлечёшь себя никаким ложным занятием, никакой посторонней мыслью, — а все дружно шагают к тому месту, где из каждых пятерых четверым придётся лечь, и только одна у каждого надежда — быть пятым. Нудная знакомая тоска. Да расчёт сколько-то пожить-полежать во время нашей артиллерийской подготовки, если она ещё будет. Как долго будет помнить жена, и вспомнят ли малые дети?.. А вся ваша атака, может быть — для демонстрации, боковая диверсия. А до противника — три четверти версты открытого снежного поля, чернеет его опушка леса, и там, под издых, у него конечно всё заплетено колючей проволокой, а прежде того — ни укрывьеца, и только надежда, что снежная пелена где-то скрывает и увалы, где-то можно будет провалиться с его взора и прервать атаку. Поползли вперёд разведчики и гранатомётчики — а дивизия звонит: почему батальон не поднят в атаку? — Надо переждать, пока они... — Приказано не ждать!

И эта виноватая прибитость пехотного офицера, не могущего не подчиниться. И прибитость лежащих пехотинцев, пока предсмертная их тоска не взорвётся в бодрящий отчаянный ужас атаки.

И никому бы не приведи Бог слышать это беспомощное жалкое «ура» из боевой кромешни — крик не торжества, но отчаяния, вымученный в перебежке. А снег усыпан, как мухами, упавшими людьми — и кто тут уже убит? а кто только пережидает? И только те тебе кажутся уцелевшими, кто достоверно с тобой рядом, остальные убиты.

Под Коломыей Заамурскую пехотную дивизию, в ротах по дюжине старослужащих, остальные неопытные бородачи-ратники, — так вот погнали в лоб на укреплённые позиции — и всю расстреляли.

Да ещё эти *крестики* на фуражках, беззащитные ополченцы, — сколько их положили!

Да бегущий в атаку хоть имеет утешение в выборе остановок, может обманывать себя зигзагом направления, кочкой, камнем, даже пучком сухой травы. Но телефонист, посланный исправлять линию под обстрелом, лишён и этого самообмана: его провод — его судьба.

Случаев всех не зарегистрирует история, не сохранится на все и участников. Да тому, кто способен понимать, не надо рассказывать ни всё, ни много, — тому довольно об одной деревне Радзанов, о высоте 58,6 с прекрасным обзором, укреплённой рядами колючки, которую разрушить ещё не было снарядов тогда. Ещё и подходы болотисты. Но пехотному полку приказано — взять! Командир полка находит невозможным и просит приказ отменить. Штаб дивизии настаивает. Выхода нет. Утром — атака. Потеряли триста человек, среди них — невосполнимых офицеров. А через несколько дней встречаются офицеры-драгуны — их полк на этом участке прежде был, уходил, вот вернулся. Рассказывают: так же без артиллерии эту же злосчастную высоту 58,6 они уже брали — и в конном строю, и в пешем, потеряли семьсот человек, не взяли. Мы — уходим. После нас против Радзанова ставят третий полк — и опять на ту же высоту.

Это называется — *мертвоприношение.* И навидавшись его достаточно, даже теряешь достойное уважение к ране, к смерти, к трупу. Совсем обыденно воспринимаются и окровавленные фуражки на одиноких крестах, и над целой братской пехотной могилой воткнутая сапёрная лопата — «солдаты такого-то полка». Как убитый лежит на боку и подвернул окровавленную голову под руку, будто ему холодно. Или — как отпевают скрюченного, не снимая с носилок. Ещё обыденней — полудюжина раненых в телеге с наставленными боками — как их перетряхивает, переламывает, выставленны и качаются толсто-обинтованные берегомые конечности, а из глубины — глаза, уже знающие своё непоправимое увечье, — вы такую картинку, господа, всё же поимейте в виду. И не все доедут до правильной перевязки без столбняка и гангрены.

Или поручают казачьему полку брать австрийскую крепость, на подходах во много рядов оплетенную колючей проволокой. Но во всём полку — десяток ножниц. (Их всё никак не наладят изготовлять: военное министерство не убеждено, не подсчитало. Сколько лишних солдат уложено из-за того, что ножниц не было!) Так как же? Шашками. Значит, с коней не слезая. А значит — ночью. «С Богом, ребята, вперёд!»

Не всегда неудача. Иногда и в январской воде по пояс, винтовки над головами, — атакуем пулемёты, и берём! Так — Сан переходили.

А иную позицию — взяли! Победа! Ликование. Вдруг — необъяснимый приказ: отойти на прежнюю...

Зачем же?! Зачем же брали? Зачем не подумали?..

Всю эту пирамиду награждаемых, возвышаемых, неотклоняемых генералов ты держишь на своей голове, как восточная женщина кувшин воды. Кажется: командир полка, и твоя голова свободна принимать решения? О нет! Почти нет движения скованной шее. И за малое самовольство, за отход на сто саженей вызывают в штаб корпуса для дачи показаний о *недостаточно доблестном поведении...* Кто переймёт, кто

перечувствует эту зажатость нелепым, непоправимым приказом?! Ты видишь в нём ошибку, просчёт, злую волю или пренебрежение — но ты скован, и честь, и гордость, и военное подчинение не позволяют тебе возразить. И в день последний, перед завтрашней твоею смертью, даже и некому переповедать, как это было.

Молоденькие гвардейские офицеры, собравшись, ищут форму протеста: господа! пойдёмте в безнадёжную эту атаку одними офицерами, а солдат не поведём!..

Или вот: не устаивал Рыльский пехотный полк на Стрыпе, выбит, подавлен. Надо спасти их, а нечем. Есть — драгунский Каргопольский полк. Как раз у них праздник — юбилей полка. Всю войну и близко не подвозят водку на позиции, даже и в морозном сиденьи выжимают трезвость. А тут — раздобыли драгуны, выпили, песни запели. Дело к закату, а подъехал начальник дивизии: «Будем рыльцев спасать, ребята!» И понимая, какая то будет атака: «Каргопольский полк умереть не должен! От каждого эскадрона оставить на развод по одному офицеру и по десяти драгун!» Жребием... На прощанье обнимались. Впрочем, хмель ещё в голове, ноги лёгкие. А тут стемнело. И по полю, покинутому пехотой, изрытому окопами, ячейками, воронками, опутанному колючкой, где и днём-то без ножниц не пройдёшь, тем более не проскачешь,— в темноте и молча пошли на рысях!! («С Богом, ребята!») Проваливались в ямы. Ломали ноги, рёбра. Опрокидывались. Повисали на проволоке. Ночная скачка в жуть, и лошади страшней, чем человеку, не зная опоры следующей ноге. Немцы заметили — поздно. Ракеты, прожекторы! А каргопольцы — на галоп!! И от прожекторов — растущие тени по полю и по небу — привидения!!! Кто — в опрокид, кто — растёт и близится! И немцы — не выдержали, бежали! Победа...

От боя бывает такое обалдение, во взятой горящей деревне, где ещё немцы на другом конце, солдаты стоят кучками, курят, не предохраняются, не слушают своего офицера — залечь, он силой по одному бросает их на землю.

Хуже всего, что укореняется и так уже всеми и принимается: чем больше потерь, тем, значит, лучше был бой, тем больше и начальства представляется к наградам. Даже когда и можно атаковать в обход — нет, гони через трясину! Командир 49-го казачьего полка радостно доносит штабу походного атамана: «Сотня шла на укреплённую позицию по открытой местности, под обстрелом и в конном строю. Надо было удивляться геройству этой сотни, шедшей по приказу на верную гибель — из преданности престолу!»

Вот от такой бараньей преданности мы и изливаем нашу силушку.

Да если мерить по презрению к смерти, то героев доподлинных много больше, чем этих фотографий во всех журналах вместе — «Воины благочестивые, кровью и честью венчанные» (у кого расторопней родственники), и много больше, чем отсыпанных георгиевских крестов. Осколком раненного в живот ведут под руки двое легко раненых, он бредёт согнувшись, придерживая двумя руками живот. Из встречной резервной колонны горько-весёлое подбодренье: «Неси-неси, не растеряй!», — и он находит отозваться: «Донесу, чай своё.»

В полку приходится устанавливать очередь наград, часто опуская истинные заслуги, хоть и не приведшие ни к какой победе, а в поражениях храбрость ещё разительней. Когда в полку из двух тысяч штыков осталось триста, и смены нет, и предупреждают — несколько дней не будет, но начальник дивизии уверен, что полк выполнит свой долг, позиции должны быть удержаны. А в штабе дивизии, в штабе корпуса перечёркивают и посланные наградные, оставляя место для Руководства да для писарей.

Да в победе и рана, и смерть легче, горчей — в бестолковости. Этим летом в одном полку наметили применить газы: с полночи трижды, через час, выпустить на немцев по 100 баллонов, а затем атаковать. Но завозились, первую волну пустили только в 3 часа ночи. Немцы об-

наружили — ракеты, сигнальные трубы, рожки, чугунные доски, разожгли костры. Тут наша метеостанция доложила, что ветер становится неустойчив, — но начальник дивизии приказал пускать вторую волну. И — подтравили соседний полк, выдвинутый вперёд. Стало с ветром ещё хуже — а приказали третью волну. Эта волна прошла немного, остановилась — и хлынула назад на свои окопы. А ещё: баллоны должны выноситься вперёд окопов, а шланги — ещё вытягиваться в сторону противника, но тут вопреки инструкции баллоны оставались в окопах, а шланги — на козырьках, а немцы открыли по нашим окопам сильный огонь и перебивали их, — паника, надевали противогазы впопыхах. Братская могила на 300 офицеров и солдат. Мало облегчения, что начальника дивизии отрешили.

Кто ранен — это Шингарёв. Во всю грудь он принял рассказ и выдвигается, как те несчастные, на укреплённую позицию без ножниц и не в обход. Откатясь на руку, облокоченную о стол, — высматривает меж тёмными глыбами светленьких зайчиков надежды.

И ещё какой-то появился в комнате новый: с неусыпаемым тревожным лицом, нервными бровями. Так и вонзился в рассказчика.

Но — и нельзя на себе не заметить несводимого переливчатого взгляда профессора Андозерской. Как будто в жизни не видела военных, он — первый. Весь рассказ его вбирала неприкрытым взглядом, не возразя ни движением губ, ни бровей против самых его резких и неожиданных слов. Очень свободно для неё рассказывалось.

Да и Веренька — неподвижна, мила, тиха, вся — в глазах. С детства слушать умела, как никто.

Но — *дух*? но—дух нашей армии сохранён же? — безмолвно горят глаза Шингарёва. Какая же страсть и взмыла его от сельского врача до первого парламентария? Если ему не верить в наш благословенный народ, если ему не верить в новоживотинцев, попавших на фронт, — для чего же тогда вся деятельность его? и вся Дума? Бывший врач теперь считает пороховые заряды, таксирует цены на хлеб, в Сорбонне и Оксфорде произносит кипящие речи от имени целой России, — но лишь пока он верит, что не расколется и не затмится *дух* новоживотинца.

Он — спрашивает. Но уверен, что знает ответ и сам.

Дух?.. Когда полки бывают по 300 штыков, а дивизии по 800? Когда вид выжженных деревень и костры из деревенских заборов уже не трогают даже крестьянского сердца? Но ищут, как уклониться от боя,— хотя бы раненых сопровождать? Или подстрелить пальцы? А каково непомерное множество пленных? Разве вы не знаете, господа, что мы уже отдали пленными больше двух миллионов? Чем дальше в эту войну, тем легче сдаются наши солдаты в плен, — рады, что живы останутся. Даже служат у немцев обозными, при пекарнях и кухнях. Впервые в эту войну то генерал Смирнов, то какой другой, издают приказ: по сдающимся открывать огонь, расстреливать забывших присягу; сообщать о сдавшихся на родину, дабы прекратить выплату пособия семье; по окончании войны все сдавшиеся в плен будут преданы суду. Конечно, никто нигде ничего подобного не осуществляет — но и самих приказов таких не знала прежняя русская армия.

Нет! Верней и точней! — остёр через пенсне находчивый думский фехтовальщик Минервин: *воля к победе* — ведь не утеряна? Веру в победу — ведь сохраняет армия? Рядовой солдат? И вот, полковник?

Экий же поворот... Когда мы горбимся в осклизлых окопах, отираем глину шинелью, или 48 часов на морозе, не спавши, в пулемёте смазка мёрзнет, надо греть его на огне, — у нас там общая фронтовая обида: *они* в России забыли нас! Такая затяжная война, кого не потянет отвлечься в мирные удовольствия, в рестораны, в элегантные туалеты. Шлют нам в утешение кисеты и конфеты, а сами...

Но нет! оказывается — не равнодушны! Даже: дайте победу! Даже: где ваша воля?.. И надо бы броситься к ним в обнимку: а мы-то грешили на вас!..

Но, по дурному ли свойству человеческого сердца, обнда не рассеивается, она остаётся, лишь поворачивается вокруг своей оси: господа либералы! господа русское образованное общество! (Это — не вслух.) Могу ли я верить? Да может быть я ослышиваюсь? Да всего 12 лет тому назад чей же это был крик, чей же это был вопль, что не нужна великой державе война, что преступно посылать на бойню нашу бесценную молодёжь с общественными идеалами? Что есть проблемы только внутренние, а снаружи можно хоть отступить, хоть проиграть, да поскорее! поскорее!! Из-за кого же мы проиграли ту войну, и чьи нервы, если не ваши, так поспешно сдали тогда, уроняя Россию? Как же могла страна воевать, когда всё образованное общество открыто (и для врага) *требовало* поражения? И когда наша несчастная пехота на своих телах для всего мира вызнавала новую тактику войны двадцатого века, ещё не пряталась в земле по одному, но в зоне огня *ходила ящиками*, и даже в ногу, — отчего же т о г д а вы нас не спрашивали о духе и воле к победе?

Ну, допустим, допустим, чьи-то надменные расчёты над неиспробованными японцами, да личные интересы ничтожного адмирала Алексеева, — Воротынцев, сидя на этой войне, переменил мнение и о прошлой. Но ведь с тех пор, в 907-м, и Германия тянулась к «русскому курсу», а мы отвергли, а мы предпочли неверную дружбу с Эдуардом. А почему же здесь, на западе, сокоснувшись — надо непременно пробовать силы? А почему *эта* война так нужна, и что такое мы можем в ней выиграть? Тогдашний удар по телу страны — вы думаете, не отольётся вам? За *тем* поражением, в далёкой войне, не могли не придти поражения поближе. Конечно, если считать, что Россия кончается нашим поколением, тогда можно позволить всё. Столыпин, такой вам ненавистный, не он ли вытащил нас оттуда, куда вы нас столкнули? Ах, господа (это — не вслух), да когда же всё повернулось, что вы теперь такие воинственные? А нас, младотурок, бранили либералами, а мы были всего лишь патриотами. Но поздно, господа! — когда осенил вас патриотизм, наша армия, наша армия перестала... как бы вам назвать?..

Андрей Иванович, на облокоченной руке, приниженный, придавленный косою тяжестью к столу: но всё-таки солдаты — не просто же гонимые жертвы? В шинелях серых соотечественники наши, они же всё-таки понимают цели войны? Задачи России и всеобщей свободы — не чужды же русскому солдату? Да и Дарданеллы — это не выдумка Петербурга, их требует экономика всего русского юга...

И Воротынцеву — неловко. Не отвечать неловко, но даже услышать этот вопрос от государственного мужа, кем восхищался весь вечер.

Ведь вот как хочется вам: всё Верховное — чем хуже, тем лучше. А чтоб армия — хотела воевать и побеждать, и желала бы Константинополя.

Но мы и перед войной запрещали произнести в армии хоть одно политическое слово — как бы не обидеть германского и австрийского императоров. А что говорить сегодня? «Немцы — вековой враг славянства»? Я думаю, мы перевалили в эпоху, когда такие контрасты уже не будут существовать. Да солдаты сердцем опередчивее нас: кроме как за газы — нет у них на противника зла. А ещё — австрияки некоторые «гуторят похоже на наше». Это здесь — легко произносится: вообще наступать до победы, вообще верность союзникам. Но всё, что ведаете вы, господа, об отечестве, — солдатам ведь никто никогда не рассказывал. Нет у них такого неотступного видения — «страна Россия», не так чтобы просыпались и засыпали с мыслью о России. У солдат совсем нет этого понятия — «победа», а только «замиренье», перестали бы стрелять, да и всё. И молодёжи и старым запасным — лишь бы выйти из боя, они уже не воюют как прежние строевые. Пехотинец пробудет от раны до раны на войне — ему и вспомнить нечего, он только служил мишенью. Его *дух* — это обречённость. Пехота Четырнадцатого года была самоуверенная, весёлая и крупная. Сейчас — безучастная, равнодушная

и мельче ростом. Вот почему я и говорю, что наша армия перестала, перестала...

Если верный сельский врач перестал наслушивать ужас приговорённых к открытой атаке — не в получасе одного батальона, но всенедельный, всемесячный рок целой крестьянской России... Единым оком — все эти прусские, польские, галицийские и румынские поля, а по ним — разбросанные убитые. Никогда уже не встанут принести жалобы и возражения. Нет семьи, где не молились бы за ушедших, нет церковушки сельской, где не служили бы панихид. Долготерпение — о да, на это мы и надеемся, — но может быть нам очнуться раньше?.. Земским врачам, парламентариям и офицерам — какое нам оправдание, если мы выживем через труп Ново-Животинного или Застружья? (Это — должен сам понять.) Если дух армии — *уже* упущен, если тела — уже передержаны, — куда ж ещё, ещё, ещё испытывать народное терпение? Если среди солдат — глухое, меж собою: обороняться — как не нять, а наступать — чо-й-то ноги не шагают. Не надо ждать, когда это вспыхнет наружу!

Вот их состояние выше усталости: застывшее недоумение. Так и умирают — недоуменными. Их дух третий год не поддержан никакими разъяснениями, никаким вдохновением, а только: надо умирать! Крестьяне очень верят в высшую справедливость. В эту войну они утратили её ощущение: они гибнут, но им непонятно — зачем. Они всё тянут не из страха — но через силу. Они взросли бы на любые жертвы, но должны видеть необходимость этих жертв. Наш народ — с таким хорошим сердцем, так послушен, — но мы этим послушанием злоупотребили. Они тянут, тянут непонятный им долг, — но будет ли это до конца? Вы говорите — народ не простит этой войны, — да, но не правительству, а — нам всем!

Профессиональному военному перед столь воинственной компанией этого почти вымолвить нельзя, это непонятно, а: *надо где-то знать меру даже и России!* Существует некая мера расширения. Она познаётся через плотность распирающего духа, через пропаханность и пророслость каждой квадратной сажени внутренней земли. Расширение — не может быть безграничным. Неужели Россия нуждается в расширении? Она нуждается во внутренней проработке. Кадровому полковнику — да, неловко вымолвить: война — всё же нужна не сама по себе, но для жизни государства?

И: что же правильно значит — любить свою страну?

Вот эти фотографии павших *воинов благочестивых,* которые вы все рассматриваете за утренним кофе между пятью газетами, — вы пропустите их через себя, вообразите, что они *через вас* протекли и всосались в землю бурыми пятнами. И поймите, что это — лучшие-лучшие-лучшие, кто не умеет отлынивать и хорониться. И этих потерь не восполнить России за два поколения!

Ощущаете ли вы, что такое ранение в живот? Да и когда грудь прострелена? Когда выворочена челюсть? Разрывной пулей вырвана щека? Отсечен угол черепа?

Кто этого не ощущает — почему он имеет право судить?

Я сегодня успел побывать на Марсовом поле на выставке лицевых протезов. Вы не были? — а это так близко. Сходите, господа, и почувствуете. Этому — нет названья на человеческом языке, и Гойя такого не рисовал. Лица, настолько искромсанные, разодранные, раздробленные, бескостные, ослеплённые, утратившие человеческий вид, — и так им жить теперь до смерти. Сходите, господа.

Да, офицеру о раненых лучше не думать, это расслабляет. Но вот — зайдёшь в перевязочную проведать своего героя, раненного два часа назад. Вечер. Землянка. Небольшая керосиновая лампа — высоко на полочке, сжигающая воздух. Тусклая полутьма, несколько топчанов вдоль стен, на каждом раненый. И вот этот чуть расширенный, полуосвещённый, безвоздушный гроб санитарной землянки — последнее виденье Земли, последний образ жизни! Чтоб увидеть лицо раненого — надо под-

иести к нему свечу. За два часа смелое молодое лицо стало неузнаваемо: глаза увеличились, и столько знания в них, рот провалился, щёки выжелтели. Ждёт, когда же причастие.

Да вот (няня рассказала): месяц назад, оказывается, приезжал в Петроград японский принц — и главные улицы изукрасились русскими и японскими флагами. И простой народ спрашивает: а зачем же мы с ними воевали? И стоило ли нам на японской войне убиваться? А через несколько лет вот так же будут и немцев встречать? (А между тем японцы презирают нас, что мы так плохо использовали уроки той войны.)

Я не знаю, может какая другая война, к которой мы бы внутренне подготовились... А к этой мы не были готовы. И сейчас — нельзя исправить дела никакими другими мерами, как... прервать... Я не знаю, может быть уговорить союзников мириться. А то, так... А то, так... (но этого уже решительно никому здесь не сказать) разбиралось бы Согласие с энтим четверным Союзом Центральных, а наша бы Матушка, наша бы Матушка... убралась бы, полы помыла, печку протопила...

Странно от меня это всё?.. Но только тот, кто и сам двадцать лет — частица деятельная этой армии и не пропустил ни дня войны ни той, ни этой, — только тот и может решиться. Профессиональный военный, офицер своего Отечества, должен для Отечества каждую войну изо всех сил выигрывать?.. А я не знаю — я ещё профессиональный?.. Сто пятнадцать недель, восемьсот дней вот так — самый воодушевлённый офицер не готов в таких дозах принять своё ремесло. Или я слишком чувствителен оказался?.. Это — такая усталость, такая однообразная смерть, такая тоска и обида, выело всё нутро, — и *жить* в этом ремесле дальше некуда. Колени слабеют — сесть. Руки виснут в плечах. Сваливается голова.

А что же — офицеры? Это — не народ? Да это — пружина и воля нашего народа. Вот — газ пришёл, уже все солдаты в масках, но надо по телефону предупредить следующую линию о газовой волне, и поручик Грушецкий, тамбовец, снимает маску, передаёт предупреждение — и отравился. Вот командир батареи подполковник Веверн не в силах открыть батарею противника, — так идёт сам через сторожевое немецкое охранение — там её найти, увидеть, потом вернуться и накрыть. И дело сделано. Вот, из укрытия наблюдательного не всё видно. И чтоб вести ответный огонь своей батареи — капитан Шнгорин встаёт во весь рост и командует. И через четверть часа убит осколком в висок — но дело сделано. Лучших-то — и убивают. Счастлив офицер, о котором говорят солдаты: «с нашим не пропадёшь». Счастлив офицер, за которым дружно пошли в атаку. Но и не тот ещё самый несчастный, у кого солдаты разбежались, но он хоть два пулемёта притащил на себе.

Наших кадровых строевых офицеров, начинавших эту войну, остался из семи один. И солдаты — в отчаянии чувствуют, что их новые офицерики — не разбираются в деле, а только губят всех.

Да знать надо было — поручика Скалона, штабс-капитана Ново-гребельского (и постоять над живым ещё, лицо уже бледно мертво, а ресницы вздрагивают), подполковника Чистосердова, и утерять их навсегда — чтобы понять: *русской армии больше нет.*

Перестала — существовать.

Надо было видеть капитана Таранцева, очумелого, одеревянелого, под пулями, в ста саженях от Радзанова: «Капитан Таранцев! лягте! в укрытие!» Чуть повёл головой: «Роты нет. Теперь всё равно.»

Сам ли ты ещё живой, если сдал деревню, и в ней, горящей, видно при пожаре, как немцы ходят и пристреливают твоих раненных оставленных солдат? Командир полка, у которого за год состав полка сменился четыре раза, так что иных солдат и видеть не успевал, а только посылал их в бой, а потом относили их, если было что относить, — до сей ли ты поры командир полка или уже убийца?

Если помнить, как учил генерал Левачёв: офицер должен быть беспощадно строг — только к самому себе. К другим офицерам — мягче. А к солдатам — ещё мягче.

Тому, кто с ними бегивал через эти пустые непереходимые вёрсты. Кто радовался внезапному увальчику — и вместе с ними утыкивался под спасительное его плечо. И под грохающим обстрелом слышал ухом через землю, как слабеет ход солдатского сердца, да и своего. По этому ритму тот мог бы сказать (но — кому? кадетам — нельзя, правым — нельзя, власти — нельзя, кому ж говорить?!), что наша лучшая сейчас победа и наша лучшая честь — это спасти русский народ, кто ещё остался. И только.

И — неважно, как будет называться тот мир, — без Константинополя, без Польши, без Лифляндии, меньше беспокойств. Только бы нам остаться *нами.*

Дошёл ты до такого наблюдения, нет ли, — дошла война до такой черты, что спасти Россию, спасти себя, какие мы есть, пока не перебиты до неузнаваемости, — это уже будет победа.

Даже если — через какой переворот?.. (Но это — не вам.)

...И сообщаю я вам, что службой я доволен, и начальство у меня хорошее. Так что обо мне не печальтесь и не кручиньтесь.

(Типографское солдатское письмо)

*
* *

Не надо нам, православный царь, злата-серебра:
Пусти нас, православный царь, на свою сторону,
На свою сторону, к отцу, к матери, на святую Русь.

23

А как только затянутая пауза дала повод думать, что рассказчик не склонен продолжать, — тот новый слушатель с подкидчивыми нервными бровями, гололицый, только с подштриховкою усов, — теперь в эту первую паузу первый же и врезался, не дав никому ни отозваться, ни возразить:

— Скажите пожалуйста, а каковы ваши наблюдения над противосамолётным станком Иванова? Вы видели его? Как он в работе?

Воротынцев своим мучительным рассказом совершил какой-то крупный шаг в самом себе. Вся эта наросшая кора сердца и тела как будто треснула — и открыла ему расщелину выйти. Теперь — ему нужно было сколько-то часов плавной неподвижности, — не говорить, не шевелиться, отдыхать, даже может быть просто научиться сидеть на стуле рассвобождённо, как все сидят, а он не умел — ведь он по привычке сидел, как легче ему сорваться по первой тревоге. Благодетельно открылась ему возможность омягчеть и вернуться к своему утерянному, забытому нормальному состоянию. И для этого очень нужно было, чтоб эта милая Андозерская продолжала бы сидеть прямо перед ним близко, глубоко одобряя его глазами, иногда и вспыхивая зеленоватым огоньком. И так — он хотел бы не участвовать пока больше в беседах. Вот и пришло то признание, которое так ждётся после невзгод. Вот и угадал он время и место, куда тащил и притащил свой тяжёлый воз, как будто свалил и освободился. И сейчас ни на какую политическую реплику он не хотел бы даже отвечать — если вот опять будут возражать ему о необходимости кадетской «скорой и решительной победы» или невозможности победить с *этим* царём, — с этим, не с этим — он уже выразил, надеялся, достаточно: что не побеждать надо, а скорее выходить из войны. Да кроме повторения ходов в этой компании уже ничего не могло возникнуть: говори им, не говори, что военная усталость через меру, — они будут всё своё: что только благодаря войне родина держится

спаянной, а то бы всё рассыпалось от недовольства царём. Они ещё больше встряли в войну, чем царь.

Но чего угодно он ожидал, только не этого вопроса о станке Иванова. Шея Воротынцева снова напряглась и он взнял голову: среди чужих петербургских — тут свой сидит, замаскированный в городской костюм? На любое ожидаемое возражение уже не хотелось поднимать душу, но на это?! —

— Замечательна быстрота перевода из походного положения в боевое и наоборот. Поэтому если идёт в колонне и появились самолёты — запряжка выводится в сторону и в несколько минут установка готова к стрельбе. И прочна. Лучше, чем Радзивиловича.

— А стреляет?

— Ну, стреляют все они не на полный угол возвышения. И прыжок выстрела сбивает наводку, так что нужно всякий раз ставить новый прицел. Поэтому...

Тот — с тревожными глазами, требовательный, вклювчивый, говоря быстро, со смыслом, обгоняющим неизбежную длинноту слов, переклонился к Воротынцеву, а Воротынцев к нему, и так они через полкомнаты заговорили плотно, а потребовалось что-то нарисовать — тот вытянул блокнот с ручкой и пробирался, нёс полковнику.

Как будто всё рассказанное было не для них двоих, и Воротынцев только притворялся, и вы там как хотите, а вот — самое главное. Наступила граница неловкости. Но исправил Андрей Иванович:

— Господа, господа! — подходил он с добродушным смехом (со смехом, а — не смеясь, с лицом серым как у контуженного, вставшего из земляной осыпи, глаза не собраны и собственный голос неверно слышится), — да разрешите прежде вас друг другу представить... Пётр Акимович Ободовский... Если хотите, тоже почти военный: недавно в Лысьвенском горном округе успокоил бунт рабочих с решительностью полковника, хотя без капли крови, одними речами.

Ободовский страдательно дёрнул бровями — к чему это всё? Ладонь его была горяча и суха.

— ...По русской нашей удивительности Пётр Акимович почти бросил горное дело и занимается одной артиллерией. При гучковском комитете создал комитет военно-технической помощи.

Вот сколько сразу. Да как же сошлось! Инженер да на артиллерии — почти как офицер-академист. И сотрудник Гучкова? — в первый же случайный вечер второй след его!

— Вы часто Александра Иваныча видите? Он...?

И захлебнулись бы над блокнотом, хотя неприлично было так пренебрегать обществом, но другой усердный слушатель Воротынцева, маленький профессор в стоячем кружевном воротничке, возвращала их в общую комнату:

— Скажите пожалуйста, а эмигрант Ободовский, из круга Кропоткина, не родственник ваш?

И голос её отозвался в Воротынцеве радостно: она не вставала, не уходила, не увела внимания. Ему бы хотелось: вот она бы, хорошо бы, знала всю его прежнюю историю, опалы. Вот для неё, к ней — его история была нужна.

Ободовский головой вертнул, не сразу понял:

— Кто? А. Да, я. Да.

И — к делу опять. И невольно втягивая опять Воротынцева, ну как этому инженеру откажешь? Но и Андозерская, не отставая, чуть посменваясь над ними:

— Простите, я из чисто теоретического интереса...

(Какой мелодичный голос у неё. И так мило поигрывают струны шеи.)

— ...Как же связываются убеждения той и этой жизни? Анархизм и артиллерия?

Анархизм? Никогда в жизни Воротынцев не видел живого анархиста. И этот инженер с заглатывающим вниманием... ?

Ободовский обернулся-дёрнулся, как бы ища защиты:

— Как прилипло. Кто-то пустил, и носится. За границей я имел счастье стать близок к Петру Алексеевичу, оттуда заключили, что анархист.

На помощь пришёл Минервин. Выдвинул сильно, бесповоротно:

— Дробление русской интеллигенции на партии носит случайный характер. А из корня мы выросли все из одного — служенья народу, мировоззрение наше едино. Служит кто как понимает, и анархизмом, и артиллерией.

Всё отвечено, дальше настаивать и неуместно. Но Андозерская, с головой ниже верхушки кресельной спинки, как девочка, приглашённая на взрослый разговор, — настаивала. При несильном тихом голосе у неё была владетельная манера спрашивать:

— Но всё-таки ваша эмиграция имела революционную причину?

— Да дело дутое, — озабоченно отмахнулся Ободовский. — А пришлось бежать.

Интересно вот что: оправдался ли термитный снаряд Стефановича? Вы — видели его действие?

А за Ободовского закончила жена — плавная, спокойная, тоже лет под сорок, объяснила Андозерской, Вере и кто ещё слушал:

— На полчаса опередил полицию. Только я проводила на вокзал, вернулась — пришёл околоточный, брать подписку о невыезде.

Она была одета не то что скромно, но близко к скудости. Умеренно-полна и мягка в движениях, в возмещение худощавой беспокойности мужа. А сохранилась — при тёмных волосах, покойной русской, даже сельской красоте, под сорок лет могла бы так выглядеть Татьяна Ларина. Ободовский бывал в Публичной библиотеке, жену Вера видела первый раз.

Вера — очень была довольна. Горда за брата. Всё получилось даже лучше, чем она задумала. Хотя по лихости он и сделал несколько политических бестактностей, но исправилось его ошеломительным рассказом, все слушали, не проронив. Вера и всегда считала брата выдающимся, лишь по прямоте своей и по кривизне путей восхождения не занявшим видного места. И с Андреем Ивановичем они друг другу понравились. И вот как свободно отвечал на вопросы Ободовского. И внимание Андозерской явно забрал.

Вот это деловитость! Воротынцев охотно отвечал. Не знал он о комитете военно-технической помощи! Такая встреча — неисчислимой пользы: тут можно многое посоветовать или просить иметь в виду, о чём с фронта не докричишься:

— Скажите, а как с траншейной пушкой? Будет ли у нас траншейная пушка? Когда?

— А уже первые экземпляры на фронте. Отличная пушка, великолепная! Сейчас налаживаем серию на Обуховском. Я думаю, к весне в каждом полку штуки по две будет. Да вот как раз Андрей Иваныч тоже следит...

Андрей Иваныч присел к ним потолковать — кому ж нужней? Он и Ободовского не в гости звал, откуда эти гости набрались, приват-доцент и профессорша — книги взять-отдать, дамы со сбора завернули, Петербург! Он и приглашал Ободовского за советом по делам оборонной думской комиссии.

— Простите, Андрей Иваныч, как раз по поводу траншейной пушки должен был мне сегодня вечером звонить инженер Дмитриев, и я имел смелость дать ему ваш номер телефона, что буду здесь, ничего?

— Конечно, пожалуйста, Пётр Аки...

Телефон — как раз и зазвонил. Вера призозовела. Спрашивали Андрея Иваныча. Уже пока трубку передавали — узнали резковатые нотки Павла Николаевича, самого. Квартира затихла, ловя отзвуки.

Шингарёв вернулся от трубки недоуменный: Павел Николаевич просит немедленно ехать к нему, а если Минервин ещё не ушёл — то и Минервина.

Что-то случилось! *Что-то случилось.* Оба лидера засобирались, слегка переговариваясь, а приват-доцент и кадетские дамы сильно заволновались. И старшая улучила Минервина выведать хоть толику.

Минервин сказал:

— Возьмём извозчика.

Шингарёв отмахнулся:

— Теперь извозчик до Бассейной — три рубля. На трамвае доедем.

Вежливость хозяина: Андрей Иванович предложил обществу не расходиться: может быть, вернутся скоро.

Активисты партии Народной Свободы и расположились дожидаться: интересно! важно! От старшей дамы тотчас и распространилось: изменник Протопопов предложил думским лидерам частную встречу! И надо решать тактику: идти на встречу или оскорбить его отказом? или поставить ему требования? или только понаблюдать и разведать? добивается забрать продовольственный вопрос? — не давать ему! А может быть, наоборот, его тайно подослали пригласить в правительство кого-то ещё? Манёвр!

Что Протопопов — очередной новый министр внутренних дел, Воротынцев ещё знал. Но почему и кому он изменник и почему тогда встреча с ним так важна?..

Шингарёв прощался с Ободовским. Так и не поговорили. Но Ободовский должен будет теперь задержаться, подождать телефона от своего инженера.

Андозерскую? — не предполагал Шингарёв ещё сегодня увидеть, вернувшись. Прощался пожатием руки.

И Воротынцев спохватился, как вырвали кусок из бока: начинается разъезд, и Андозерская сейчас тоже уедет, а он даже с ней не успел...

Тем временем принимал тёплую мягкую сильную ладонь Шингарёва. Лоб откровенный ясный, добрые глаза. И — с ним не успел. И с ним были пути что-то открыть? Но — уже не повидаться больше.

Да ведь теперь и Воротынцеву что ж и как же оставаться?..

А Андозерская сидела без движенья к уходу, как ни в чём не бывало — и взгляд её тоже никуда не уходил.

— А светящуюся шрапнель у вас применяют?

— Это — бенгальский огонь на парашютиках? Видел. Хорошо... Но вообще надо добиваться: в боекомплекте уменьшить шрапнель в пользу гранат.

— Это мы уже проводим. Но гаубичного усиления не ждите. Нужно больше использовать горную пушку как гаубицу.

А Андозерская ничуть не скучала. Так и сидела рядом, свидетельница их захватывающего разговора, слушала того и другого, внимательно переводя глаза, как если бы свойства гаубичности и утверждённый состав боекомплекта глубоко затрагивали её. (А может быть — учёному всё интересно?)

И радостно было, что она не отсела, не ушла, ещё не уходит, сидит рядом — и смотрит. Но тогда надо прекратить бы артиллерийский разговор, а тоже неудобно.

Через мостик этого милого взгляда к Воротынцеву что-то перетекало. И по нему же утекала часть его самого. Воротынцев менялся и освобождался под этим взглядом.

Никакого освобожденья не наступило, конечно: с его полком, с их корпусом и фронтом не изменилось на ноготок, и через три недели он сам вернётся и будет барахтаться во всём том же, и вскоре, может быть, настигнет его так долго щадившая смерть. Не освободился, но в этом женском соседстве чувствовал себя всё более облегчённым. Отделённым от своей же высказанной мрачности.

И так артиллерийский разговор при зеленоватом попыхивании приобретал восхитительный оттенок. И никак не хотелось прервать и подняться.

И жена Ободовского, наискось позади мужа, при их разговоре, не дававшем повода для улыбки, сидела с тихим дремлющим удовольствием, на пути к улыбке. Не ища быть замеченной, даже говорить.

И — Веренька была тут, остальные где-то. Всё понимающая милая сестрёнка, она всё время весело поглядывала, но вот — какое-то беспокойство стало пробегать по ней? Может быть, без хозяина неудобно оставаться, время? Не мог понять, занятый и без того.

Да всё равно не было сил подняться.

А разговор с Ободовским, пробежав черезо всё главное, ослабевал.

Да даже из уважения к Андозерской, мягко закованной в английский костюм, в самом центре разговора, — надо было тему изменить, постараться.

— А как по тем дорогам проходят тракторы Аллис-Шальмерс?..

И зорко углядев эту первую вялость их разговора, профессор Андозерская мягко и твёрдо вошла в него как килем в воду:

— Пётр Акимович, не сочтите назойливыми мои вопросы, но, — полунзвинительно губами, — я тоже — в пределах моей специальности. Всё-таки, революционеров мы привыкли чаще видеть разрушителями, и поэтому революционер-созидатель не может не привлечь внимания. Не откажитесь объяснить: с вашей нынешней деятельностью — как соотносятся прежние партийные убеждения?

— Партийные? — резко обернулся Ободовский, морща лоб под ёжиком приседенных волос и бледно-голубыми несвежими глазами увидев Андозерскую, как будто впервые тут севшую. При этом повороте — не одного лишь подбородка деятельного, но самой мысли через сектора-сектора-сектора, его как центробежной силой прижало к откатистой спинке стула, и он должен был переждать, ответил не вдруг: — Я же сказал, я ни в какой партии никогда не состоял. Потому что всякая партия есть намордник на личность.

— Так именно из-за насилия? — уточняла Андозерская.

— Именно, — моргнул измученно-энергичный Ободовский, в этом морге как будто и отдохнув на полмига украдкой, а много ему и не нужно, уже посвежели глаза. — По убеждениям я — социалист, но — независимый. В Пятом году мы с Нусей... помнишь, Нуся?.. «социал-демократами» даже ругались, ругательство у нас такое было в Иркутске.

Нашлось место Нусе — и она из своего полудрёмного удовольствия плавно вступила с объяснением:

— Там такие были горлохваты, так развязно себя вели. Так пятнали свою тактику. И хотя мы сами тогда готовы были идти в баррикадники, даже под пулями умереть...

Она — в баррикадники?.. Вот с этой мягкостью, ненастойчивостью?.. Невозможно представить.

...А между тем, да, в Иркутске доходило почти до баррикад. Интеллигенты и офицеры шагали по улицам вперемешку, пели марсельезу и дубинушку. Железная дорога бастовала, никакой публике билетов не продавалось, ехали одни солдаты: их сила была сильнее забастовок, и непослушную станцию они разносили в пятнадцать минут. Ободовский, застрявший на забайкальском руднике, добрался в теплушке железнодорожников тем, что всю дорогу говорил им политические речи и читал лекции по социализму. В Иркутске бушевали собрания и митинги. И на них — деловитостью, ясным умом, напором, сразу же без труда выделялся Ободовский. И его, никогда прежде не знавшего другой формы жизни, как работа горняка, в эти безумные недели выталкивало вперёд — делегатом, депутатом, представителем, выборщиком, в одно бюро, в другое бюро, председателем местного союза инженеров, и в какой-то секретариат, и в сам иркутский Исполнительный Комитет.

Самое приятное и было — вот это расслабление. От безопасности, от выполненного долга. Вдруг перестать себя ощущать летящим снаря-

дом. Просто сидеть, даже вопросов не задавать. Закурить? — разрешили. Закурить. Как будто слушать Ободовских. А на самом деле — пересматриваться с Ольдой Орестовной. Ловить её взгляда не надо. Он — вот он. Он — вот он.

Она же, всё это успевая, не дала себя уклонить иркутскими воспоминаниями, а направляла на выцеленную точку.

— Но ненавидя насилие, вы должны ненавидеть и всякую воинскую службу?

— К-конечно! — соглашался Ободовский. — И военную службу, и армию! Досталось и мне послужить. Вместе с мундиром надеваешь сердцебиение. Перед каждым генералом — во фронт, каждому офицеру — честь, без спросу не отлучись, думают — за тебя. Чтоб не попасть под униженье, под замечанье, держишься так напряжённо, нервов не хватает. И я только тем спасся, что откопал в уставе пункт, никто его не знал, что после производства в прапорщики можно хоть на другой день уволиться. И уволился!

И засмеялся облегчённо. Да давно это было — ещё до эмиграции, и до революции. Он спас из армии свои слишком отзывчивые нервы. И принципиально ненавидел военную службу, как часть насилия. Но, в том же Иркутске, по честности, не обойти восхищеньем генерала Ласточкина.

...Ему остались верными две роты. А весь гарнизон взбунтовался и пришёл на них, на верных. Раскалённая революционная масса вооружённых солдат, и с офицерами! Ласточкин вышел на крыльцо без охраны: «Стреляйте в меня, я вот он! А сдаться? Не могу: присяга и честь!» Что ж гарнизон? Гарнизон — перенял! Гарнизон закричал коменданту: «ура-а!» — и в полном порядке, лучшим строем ушёл!!

— Военная стать! — Андозерская повела головой, узнавая, любуясь, любуясь тем видом Ласточкина на крыльце, — Ласточкина, но по соседству взглядывая и на Воротынцева.

И он всё больше легчал и веселел. Как будто не он полчаса назад раскатывал тут самое безнадёжное.

А Верочка как будто немного неспокойна, отходит, подходит, старался не понять. Рано ещё. Сама уговаривала сюда...

Он — прикипел к месту.

Ольда Орестовна дальше хотела вести, да Ободовский уже схватил, куда она:

— Вы хотите сказать, ненавидя воинскую службу, надо же последовательно отвергать и войну?

Профессорская логистика школьная — то-то скука, наверно, на лекциях. Так прозрачно было Ободовскому, и так по-детски, на какое противоречие она его тянет.

— Вообще — отвергаю.

— Но тогда как вы можете руководить комитетом военно-технической помощи?

Усмехнулся. И вдруг — импульсом, с нерастраченным задором:

— Вот так! Армию — ненавижу. Но когда все струсили и бегут — понимаю коменданта Ласточкина! Могу — рядом стать! Я — против насилия, да! Против всякого насилия, но *первичного*! Не непротивленец — а *против*! А когда насилие произошло — чем же ответить, если не силой? — Перебежал нервный огонь по глазам: — Не обороняться — это уже просто слюнтяйство!

Ах, молодец! — Воротынцев засмотрелся.

А жена — так плавно, бессомненно:

— Что вы, господа, он никогда пораженцем не был! Он и на японскую рвался. После потопления «Петропавловска» надел траур на рукав, говорил: не сниму, пока не победим. Так ведь, Петенька? От сдачи Порт-Артура — заболел, есть и пить не мог. — Сочувственно коснулась мужниной руки. — Только уж после Цусимы и когда выяснились лесные концессии... И то хотел — мира, но не поражения... А на *эту* войну даже форму купил, ходил напрашиваться, только Гучков отговорил...

Ободовский наморщил лоб, посмотрел на собеседников — где ж они видят противоречие?

— Разве, любя свою страну, надо непременно любить и её армию?.. Чтобы защищать отечество — надо быть сторонником насилия? Я просто не переношу быть битым! Это — естественно? А когда бьют Россию — бьют и меня. Так вот я не даюсь быть битым ни порознь, ни вместе!

Но с кем он спорил?

Воротынцев? — ему и не возражал. Воротынцев покуривал, поглядывал, послушивал. Что надо — эта милая разумница скажет. И Ободовский скажет.

Андозерская? Она и спорила-то академично, а вот уже и вовсе рассеянно. Но, наверно, не привыкла уступать, всегда цепляется, — и поэтому что-то о логическом разрыве. Полуулыбнулась, махнула ресничками:

— Тогда вы должны испытывать к врагу сильные чувства?

Искала поддержки у Воротынцева.

А он замешкался. Сильные чувства?

— Да. Ненависть! — кивнул Ободовский.

— Ненависть? — понял Воротынцев. Подумал. — Странно. А я сколько воюю — никакой ненависти к немцам не испытываю.

Теперь — накатные морщины на лбу инженера. Как это?

В самом деле, как это? Воротынцев и не понимал. Но — верно, так. Как ведь и у солдат.

— Ни-ка-кой... Вспоминаю, что и к японцам не было. Воюю — Россию защищаю. Воюю — как работаю по специальности. А ненавидеть?.. Подозреваю, что и в немецких офицерах... тоже...

А как же, напомнила ему Нуся Ободовская, подстрел раненых в горящей занятой деревне?

Да, что-то он запутался... Или нет?.. Разодранное сердце, пыл драки... Ненависть? Да! Но — к высшим нашим, тем, по чьей глупости деревню эту отдали. А противник в свете пожара — как стихия... как адовы тени... Ненавидеть можно — живых, реальных.

Он понимал, что нельзя упустить сегодняшнего вечера: надо сказать Ольде Орестовне нечто особенное. Какую-то отметину положить, как любимый шрам. Но не нашёл — в какой момент? Не ошибётся ли в тоне? И как она это... ?

Подошла Верочка. Стояла за спинами Ободовских, не садясь.

Утихли споры. Слышались детские голоса из другой комнаты. Кадетские деятели — тоже в другой. Побрякивала посуда в кухне. Так мирно было. Ни взрывов, ни выстрелов, ни ловушек, ни мин.

Взгляд сестры показался брату тревожным, каким-то нововнимательным, — он отвёл глаза.

24

Теперь, под сорок лет, но даже и в тридцать, Нина Ободовская совсем разучилась ждать восхищения, уже не нуждалась привлекать к себе внимание, искать хоть толику своего отдельного успеха. «Замужество — это судьба», — давно приняла она, приняла, и не раскаялась никогда нисколько. Судьба — мужа, а её — прилитая, и так — хорошо, верно. Всегда была работа, дело и борьба, ни на что больше не оставалось и щёлочки. И когда сегодня предложил муж пройтись тут с ним ненадолго, недалеко, от Съезжинской до Монетной, то непривычной вольготностью оказалась для Нуси та сторона затянувшегося визита, которую можно было назвать «сидением в гостях».

Нина Александровна по рождению была Бобрищева-Пушкина и в юности присутствовала на коронационных торжествах молодого Госу-

царя: кричала «ура» ослепительному царскому въезду в Москву; в придворном платьи с треном, открытыми плечами и в кокошнике стояла при царском выходе в Большом Кремлёвском дворце; и взрослела, узнавая себя на балу московского дворянства в честь нового царя. В те годы она с жаром изучала генеалогию, реликвии и предания своего рода (хотя, в согласии с русскими романами, и разносила по избам лекарства, чай-сахар, белый хлеб и крестила детей крестьянских). Она была изрядной красоты, у неё часто сменялись обожаемые *пассии*, и поначалу совсем её не привлекал, а больше досаждал своей неумолимой критикой случайный в их доме сын портнихи, некрасивый остробровый вскидчивый нервный молодой человек, провинциал, репетитор, студент-горняк, от голода упавший в обморок на Николаевском мосту. Даже запершись с девушкою в тёмном шкафу для опытов с электричеством, он по убеждениям честности не разрешал себе лишний раз коснуться её руки.

В семнадцать лет, среди сменчивых увлечений, так трудно понять, кого истинно любишь! Но непредречённо для нас самих развиваются наши решения, и тот непоправимый выбор, который даётся девушке единожды, Нина истратила на безрассчётную безнаградную судьбу Петра Ободовского — и уже никогда не видывала знатных дворянских балов, да даже Петербурга, да даже России, а — глухие избяные сборища рудничных служащих, где соревновались пирогами и водкой, или скудные эмигрантские любительские вечера на средства кассы взаимопомощи.

У Пети с самой юности уже были прочные убеждения, у Нины — по сути никаких, и так получилось естественно, что она стала думать, как и он. Он не терпел ничего, что *принято* в обществе, и само высшее общество, особенно гвардейцев и правоведов, уже за то одно, как *смотрят* они на женщину, — и, пожалуй, единственный раз за жизнь поступился убеждениями, согласясь на церковное венчание, — просто потому, что обряд этот неизбежен. Для Пети мучительно было при этом исповедоваться (впрочем, понимающий передовой священник задал лишь два-три формальных же вопроса) и причащаться. Да Нина и сама, ещё в 17 лет, отказалась от причастия: «Не верю, что это — кровь и тело Христовы!» (Внушала мать: «Ниночка, теперь и никто не верит, но все же причащаются!») Не верила Нина и в таинство венчания, но сам обряд тянул, завораживал, был действительно открытием новой жизни и высшим праздником женщины.

На том уступки жениха и кончились. Он отказался делать свадебные визиты. Отказался от «романтических глупостей» идти на кладбище предков. Не любил сентиментальных воспоминаний жены, не любил их старого барского дома на Волхове, и само-то имение считал преступленьем, так что Нуся отказалась от своей доли наследства. (Да даже и своими руками работать на земле, самую связь с землёю Петя отвергал, сельского хозяйства не любил, как дела, куда вмешиваются внезапные неучитываемые силы: какие-нибудь град, засуха, и пропал твой технический расчёт.)

В молодой петербургской жизни ещё бывали у Нуси минучие досады: в 20 лет и даже в 25 хотелось же потанцевать! Но никогда не было ни платьев, ни туфель, а первый же на платье родительский подарок муж взял на общественные нужды, взаймы, но безвозвратно. Да и времени не стало ни на концерты, ни на лекции, какие грезились: уже гнулась Нуся днями и вечерами, умножая и деля цифры рудничных обследований, разнося их по карточкам, много путала, да и скучно, сидишь дома целый день, как на службе, а муж требует неуклонно. Неуклонно — но и нежно. И при малом огорчении на лице мужа Нуся готова была отказаться от чего угодно. Так и приучилась она жить — в радостном угождении. «Прости, Нусенька, что я тебя в чёрном теле держу. Это — первое время. А там станет посвободнее — будем всюду ходить», — но ник-когда «а там» не наступило за всю жизнь!.. Петя всегда как в котле варился, даже на студенческом балу у него были обязанности

кассира каких-то сборов, даже на первом пароходе во Францию он на море не смотрел, а учил французский язык, — где же что могло остаться для жены? Однажды вырвалась она на рождественский костюмированный бал — но куда что делось? была неумела в игре, не бойка на язык и, прелестно одетая японкою, не привлекла внимания. Мечтала читать с мужем по вечерам серьёзные книги — не дождалась и этого. «Ты хоть просвещай меня!» — прашивала она, очень нуждаясь в авторитете. Но возражал молодой муж: «Я слишком уважаю тебя как личность, чтобы навязывать тебе свои взгляды. Вырабатывай сама.»

Какие ж иные? как вырабатывай? Мужнины и приняла всё равно.

Предлагали Ободовскому остаться в Горном институте по окончании его — тесно, отказался. Звали в благоустроенный Донецкий бассейн — слишком легко там работать, отказался. Его манило на новое, он был природный пионер. Поехали в Сибирь, на дикий Головинский рудник, и это было ещё не самое изнурительное, скоро завёлся черемховский «Социалистический рудник», где каждый рабочий после года работы получал бесплатно пай и долю в управлении, — невероятная затея для 1904 года, от властей прикрыли его социалистичность мнимой компанией акционеров. Уезжая в Сибирь, Петя из подъёмной тысячи рублей тут же отдал семьсот на какое-то общественное дело, даже не спрося жену, не надо ли ей чего. Какого человеческого чувства он никогда не понимал, отталкивался — это скупости. На Головинском по несколько месяцев не получал жалованья, выплачивая рудничные долги, или получал — и из него расплачивался с рабочими. А уж «Социалистический» стал пропастью, только поглощавшей деньги, уголь же выходил плохой, никто его не покупал. С этим Социалистическим рудником Петя замучился до того, что в 32 года стал седеть, отказывало сердце и посещали приступы неврастении — до рыданий.

Пётр Ободовский был так устроен, что не только не уклонялся от ответственности, как очень склонны русские натуры, но напротив: лишь где видел ответственность, хотя б и в стороне, — туда кидался, впрягался и лез на рожон. Он знал, что всякое дело сметит и организует быстрей, точней и успешней другого смежного человека. И все другие тоже быстро угадывали в нём это свойство, и все дружно толкали его на самое трудное. На любом инженерном заседании, съезде, учёном совете несло Ободовского выступить со своими проектами, и проекты эти тотчас всех увлекали, за что его звали то сиреной, то златоустом, и всюду тотчас он был избираем в бюро, в комитеты и на осуществление. Появлялся ли он в иркутском Общественном Собрании, клубе интеллигенции, или в Географическом обществе, — едва послушав ораторов, он не мог не выступить с оспорением и поправками, а после выступления не могли его не избрать!

Богатый, деятельный иркутский мир инженеров, адвокатов и купцов узнал, оценил Ободовского, легко принимал его к себе, но Ободовский не стал им свой, он не мог принять их беззаботности и веселья. Все они жили широко, кутили, азартно играли, иркутские инженерские жёны шили по сорок платьев в год, даже заказывали наряды из Парижа, — Нуся не всякий год могла сшить одно платье. Всё расплачиваясь по векселям за Социалистический рудник, Ободовские стеснились до того, что подлинно голодали, и в Общественном Собрании, среди шумно ужинающих инженеров и адвокатов, тихо сидели с занывающими желудками и лгали знакомым, что недавно обедали дома.

Но Нуся искренно смирилась с такою их судьбой, сжилась и даже, кажется, полюбила её: была в такой жизни вечно сохраняемая молодость. «Не хочу богатеть! не хочу и привыкать!» Усвоила она ясно, что у них с мужем никогда не будет ни достатка, ни покоя, ни досуга, ни развлечений — и уже не зарилась на то. Дело жизни её состояло в одном: быть его женой. И если он вёз из Иркутска на рудник динамит, оформлять же такой груз официально на все предохранности было слишком долго, — то просто вносили динамит в пассажирский вагон, Нуся сади-

лась на роковой ящик и распушенной юбкой прикрывала от кондукторского глаза страшную упаковку. Так на потряхиванни и ехала.

Зато постоянная взаимная нежность не покидала их от самого медового месяца. Девственным вступил Петенька в брак и незапятнанным прожил всю жизнь, не зная никакой другой женщины. «Я не требовал от тебя, чего не давал сам.» И уходя в тюрьму, уверенно мог ей завещать: «Ты моя жена, это всё равно, что я сам.» Уговорились они: кто останется жить, возьмёт с умершего себе на палец второе обручальное кольцо.

Рок Ободовского был: избирать пути не общие, всегда свои собственные, всегда поглотительные для сил, иногда и опасные для жизни.

С наступлением же Революции, застигшей Ободовских в Иркутске, этот рок проступил лезвием. Уж теперь-то, когда на Россию, по всей видимости, снизошла пора, званная и моленная честнейшими страдальцами глухих поколений, и уже решительно никто не мог заниматься простой работой или дома усидеть, а всех безудержно несло куда-то шагать, кричать и голосовать, когда распалась будничная связь частиц, и каждая частица в радости и ужасе ощутила как будто свободу двигаться отдельно ото всей материи, и даже нужду непременно двигаться, а как это всё потом установится — не пытаться и вообразить, — теперь с какой же удесятерённостью должен был завиться, закружиться Ободовский, и прежде не знавший покоя! Вся сотрясаемая среда так и выталкивала его на вид и наверх. Но от бесчисленных ораторов и избираемых строго отличался он тем, что не покидал простую *работу*.

И даже когда Ободовского арестовали, его свойство оказываться всегда на виду и устраивать жизнь не свою только, но всех окружающих, нисколько не потускнело: в каждой камере, и в Новой Секретке, он избирался старостой, и старостою же этапа в Александровский централ, и при общем лёгком режиме многое мог устроить, целыми днями устроял: и порядок, и послабленья, и удобства, и связь с волей. И даже в централе вынесло его составлять план тюрьмы для сметы ремонта, и тайком снять копию — и та копия ещё долго потом передавалась по арестантским рукам как руководство к побегу.

Так и при первой же поездке в Петербург навестить родных сразу напоролся Ободовский, что Союз Освобождения созывает всех передовых ехать на музыку в Павловск протестовать против войны, — и (это уже было после Цусимы) конечно поехал тоже, да и с Нусей. На музыку не пускали в картузах или платочках, там собиралась исключительно чистая публика — и тем разительней, как эта чистая, прервавши музыку, стала топать и кричать: «Довольно крови! Долой войну!», — и Пётр надрывался в том же крике. Музыканты убежали с эстрады. Публика стала городить скамейки баррикадами, городовые разбрасывали их — Ободовский и тут завозился дольше всех, и уже бежали все в парк, а ему бежать было непереносимо, и белый от гнева он взял Нусю под руку и повёл её не прочь от фронта выстроенных солдат, но торжественно-медленным шагом вдоль фронта. Мимо ненавистного армейского фронта шёл он бледный, закусив губы, закинув гордо голову. Уже заиграл горнист, уже офицер повернулся давать команду на залп в воздух, но сам терялся и волновался, что беззащитная пара попадает под близкий залп. (Нусе было хоть и страшно, а нисколько не тянула она мужа быстрей. Раз так он решил — вместе с ним хоть и умереть.) «Вы рискуете! Пожалейте вашу даму! Уходите как можно скорей!» — упрашивал офицер Ободовского. Петя же отвечал резко, будто фронт подчинялся его команде: «Я уйду, когда сочту нужным!» И так супруги медленно-медленно, всё медленнее прошли до ворот. И залпа не было.

Уже в эмиграции, в Париже, жили на мансарде, на седьмом этаже, беднее студентов, даже на конке не ездили, экономя на обед, — и тут настигла их сибирская телеграмма, что один сотоварищ отказался, и надо немедленно оплатить тысячу рублей по векселю Социалистического рудника. И хотя ненавистно было *имение* нусиной матери — пришлось обратиться к ней.

Всё-таки революционерить из дворян легче, чем из других сословий.

Эмигрантская жизнь — полуголодная, в поисках заработка, безъякорная, с детскими затеями драматических спектаклей (вот уж на сцене играть — никогда у Пети не получалось), внепартийными вечерами, дружескими бюро труда и кассами взаимопомощи, где-нибудь в Англии замкнутой русской колонией, не зная по-английски двух фраз, — эта жизнь оказалась для Нуси даже самым лёгким и счастливым временем.

Ободовские не пристали к дрязгам, хандре и бездетельным мечтаниям эмигрантского существования. В Европу бежавши как гонимый революционер, Петя (с одобрения Кропоткина, которого он не партийным лидером считал, а учителем жизни) хотел в Европе работать инженером, но опять-таки не на службе у иностранцев и не для стран тех иных, а — для России, хоть и оставаясь за границей. К счастью, в русских инженерных кругах достаточно знали его, и такую работу ему предложили: обследование европейских портов и монография о них; и пловучая выставка с пропагандой русских товаров; и промышленная выставка в Турине. И там он работал с восьми утра до двух ночи, платить же ему опаздывали на год, а потом: «кредиты исчерпаны, в ваших услугах более не нуждаются». Аплодировали его речам о программе русской промышленности, а всё написанное им не печатали на родине за неизысканием средств — и так не доходило его слово до уха и внимания России.

Сердился Ободовский на соотечественников так, что разливалась желчь и опять, как в юности, трепала неврастения. Так негодовал на Россию, что уже хотел навсегда уехать в Аргентину.

Но загадочным образом: дело человека заложено и ждёт его именно там, где он родился. Происхожденья Ободовский был польского, но к Польше не причислял себя, жил всецело одной Россией.

И едва узналось, что судебное преследование снято, — Ободовские тут же, на убогие франки, соскребённые взаймы, ринулись на родину.

Хотя отечественная жизнь светлела, и как будто разрежалось тёмное и не грозило возвратом жестокое, — а Нусе почему-то совсем не хотелось возвращаться под тяжёлые своды отечества. Где никогда уже не будет так безответственно, как в их эмигрантской жизни.

Предчувствие было у Нуси, да так ей и нагадали: что ожидает их обоих на родине старшный конец.

И ДАЛЬНЯЯ СОСНА СВОЕМУ БОРУ ВЕЕТ.

(Продолжение следует)

ПРЕЗИДЕНТУ СССР,
ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ СССР,
ВЕРХОВНОМУ СОВЕТУ РСФСР,
ДЕЛЕГАТАМ XXVIII СЪЕЗДА
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПИСЬМО ПИСАТЕЛЕЙ, ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ И НАУКИ РОССИИ

В последние годы под знаменами объявленной «демократизации», строительства «правового государства», под лозунгами борьбы с «фашизмом и расизмом» в нашей стране разнуздались силы общественной дестабилизации, на передний край идеологической перестройки выдвинулись преемники откровенного расизма. Их прибежище — многомиллионные по тиражам центральные периодические издания, теле- и радиоканалы, вещающие на всю страну.

Происходит беспримерная во всей истории человечества массированная травля, шельмование и преследование представителей коренного населения страны, по существу, объявляемого «вне закона» с точки зрения того мифического «правового государства», в котором, похоже, не будет места ни русскому, ни другим коренным народам России.

Тенденциозные, полные национальной нетерпимости, высокомерия и ненависти публикации «Огонька», «Советской культуры», «Комсомольской правды», «Книжного обозрения», «Московских новостей», «Известий», журналов «Октябрь», «Юность», «Знамя» и др. вынуждают заключить, что пасынком нынешней «революционной перестройки» является в первую очередь русский народ. Представители трех его ныне живущих поколений, начиная от ветеранов Отечественной войны, спасших мир от гитлеризма, представители разных социальных слоев и профессий — люди русского происхождения — ежедневно, без каких-либо объективных оснований именуются в прессе «фашистами» и «расистами» или же — с сугубо биологическим презрением — «детьми Шарикова», то есть происходящими от псов. Это прямо приводит на память гитлеровскую пропагандистскую терминологию относительно русских, «низшей» славянской расы.

Регулярному расистскому поношению подвергается все историческое прошлое России — дореволюционное и послереволюционное.

Россия — «тысячелетняя раба», «немая реторта рабства», «крепостная душа русской души», «что может дать миру тысячелетняя раба?» — эти клеветнические клише относительно России и русского народа, в которых отрицается не только факт, но сама возможность позитивного вклада России в мировую историю и культуру, к сожалению, определяют собою отношение центральной периодической печати и ЦТ к великому героическому народу-труженику, взявшему некогда на свои плечи беспримерную тяжесть созидания многонационального государства.

«Русский характер исторически выродился, реанимировать его — значит вновь (?) обрекать страну на отставание, которое может стать хроническим», — читаем мы напечатанное на русском языке, на бумаге, выработанной из русского леса. Само существование «русского характера», русского этнического типа недопустимо по этой чудовищной логике! Русский народ объявляется сегодня *лишним*, глубоко нежелательным народом. «Это народ с искаженным национальным самосознанием», — заключают о русских советские политические деятели и журналисты. Желая расчленить Россию, упразднить это геополитическое понятие, они называют ее «страной, населенной *призраками*», русскую культуру — «накраденной» (!), тысячелетнюю российскую государственность — «утопией». Стремление «вывести» русских *за рамки* homo sapiens приобрело в официальной прессе формы расизма клинического, маниакального, которому нет аналогий, пожалуй, средь всех прежних «скрижалей» оголтелого человеконенавистничества. «Да, да, все русские... люди — шизофреники. Одна их половина — садист, жаждущий власти неограниченной, другая — мазохист, жаждущий побоев и цепей», — подобная «типология» русских нарочито распубликовывается московскими «гуманистами» в прессе союзных республик — для мобилизации всех народов страны, в том числе и славянских, против братского русского народа. Русофобия в средствах массовой информации СССР сегодня догнала и перегнала зарубежную, заокеанскую антирусскую пропаганду. Особенность здешних хулителей и клеветников — в отрицании истинного характера своей деятельности, в отрицании непреложного факта — советской *русофобии*, в непризнании за собою состава преступления против России и русского народа.

Дискриминированный в реальных гражданских правах, ошельмованный как «раб», как «фантом» или «призрак», русский человек в то же время сплошь и рядом нарекается «великодержавным шовинистом», угрожающим другим нациям и народам.

Для этого лживо, глумливо *переписывается* история России, так что защита Отечества, святая героика русского патриотического чувства, трактуется как «генетическая» агрессивность, самодовлеющий милитаризм. «А с кем только не воевала?! — сокрушается насчет «забияки»-России член Политбюро ЦК КПСС А. Н. Яковлев в «Литературной газете» (14 февраля с. г.). — И все это в памяти. Все это формирует сознание, остается в генофонде. Психологически — наследие отягчающее».

И уж не для того ли, чтоб снять с нас генетическую, психологическую «тяжесть» патриотической ратной славы, центральная пресса ныне равно отказывает России и в победе над Наполеоном, и в победе над гитлеровской Германией? Примеры подобной беззастенчивой лжи средств массовой информации, которые пытаются перекричать и Карамзина с его «Историей государства Российского», и «Клеветникам России» Пушкина, и «Войну и мир» Л. Толстого, и свидетельскую память наших живых еще современников, — воистину бессчетны.

Явно сочувствуя националистическим движениям и фронтам (от Прибалтики до Молдавии и Закавказья), проникнутым русофобскими настроениями, многие средства массовой информации замалчивают трагедию русского народа, его великие жертвы в прошлом и настоящем, многочисленные погромы, которым подвергается ныне русское население в союзных республиках.

На фоне этих погромов, организуемых в разных регионах страны, перед лицом десятков тысяч русских беженцев, лишенных приюта в собственном государстве, в средствах массовой информации учащаются грубые провокации, имеющие целью вызвать отвращение к русским, представить их в зоологическом виде — как это сделано было, например, в телепрограмме «Взгляд» 2 февраля с. г. в связи с вечером журнала «Наш современник». Провокационно раздувается жупел «Памяти», которую выдают за могущественно-агрессивную силу — нечто вроде гитлеровского абвера, хотя речь ведется, по сути, о нескольких маскарадных фигурах, которые во всех случаях не могут быть признаны выразителями мировоззрения целого народа, не говоря уж *о* том бесспорном факте, что их самодельные плакаты, попадающие в телекадры, *ничуть не националистичнее* лозунгов многих «демократических» «народных» фронтов в союзных республиках.

Пример крупномасштабной провокации, задевающей честь множества народов России, — дружные усилия центральной прессы объявить VI пленум правления СП РСФСР «антисемитским шабашем». Между тем едва ли не 70 процентов участников пленума были представителями братских литератур РСФСР.

Замалчивая *многонациональный* состав пленума, демократический механизм принятия решений, единодушие подавляющего большинства его разнонациональных участников, центральная пресса нарочито суживает общественное мнение писателей России, ставит на один из полюсов нынешней литературно-идеологической конфронтации исключительно русских, *только и именно* их.

Лжеинтернационалистам из «Огонька», «Книжного обозрения», «Недели» и т. п., верно, невыгодно выявленное пленумом единство в важнейших идеологических вопросах между собственно русскими писателями и представителями братских литератур РСФСР.

Ибо это ярко заявившее о себе единство взглядов, сознание общности национальных судеб народов России не согласуется с клеветнической целью прессы и ЦТ — запугать население СССР «русским великодержавным шовинизмом». Центральная пресса игнорировала в своих «отчетах» *о* VI пленуме правления СП РСФСР выступления писателей из автономных республик, областей и округов России, не нашла для них места на своих многочисленных страницах, и уже одно это вынуждает подвергнуть глубокому сомнению якобы интернационалистическую позицию авторов провокационных «отчетов».

Возмутительный и, пожалуй, «новаторский» пример провокации — подстрекательство ленинградской прессы и телевидения накануне проведения в Ленинграде культурно-просветительского мероприятия «Российские встречи» с участием писателей из Москвы и других городов России. «Политическим безрассудством и безответственностью», «всплеском националистической волны», который угрожает городу актами «хулиганства, насилия и, не дай бог, кровопролития»,— вот как оценивала провокационно-клеветническая пресса приезд в «город на Неве» российских деятелей культуры и литературы. Словно велась речь о вражеском, иноземном нашествии! Словно русские деятели культуры направлялись не в русский город, недавнюю столицу России, а в ощеренный стан своих ненавистников, посягая на *чужую* землю, готовящуюся к отпору *агрессорам*! «Наш город должен ответить отказом... принять их на невской земле» — призывали в газете «Смена» члены бюро обкома ленинградского комсомола. «Проведение «Российских встреч» может стать элементом, дестабилизирующим обстановку в нашем городе», — клику-

шествовали в письме в газету работники Ленинградского обкома ВЛКСМ, снова и снова призывая к «организации отпора» российским гостям.

Стоит заметить, что ничего подобного насчет куда более уместного ОТПОРА не публиковала ни «невская», ни другая советская пресса накануне слета в столице России, в декабре 1989 года, около 60 представителей крупнейших сионистских организаций Запада и Израиля, включая председателя исполкома Всемирной сионистской организации С. Диница.

А если вдуматься, что ленинградская пресса (и ТВ) желала бы ЗАПРЕТИТЬ ныне въезд в русский город таким русским писателям, как Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Солоухин, ряду русских писателей-фронтовиков, а также детям и внукам тех, кто сложил голову на подступах к Ленинграду в 1941—1944 гг., тех, кто прокладывал Дорогу жизни по Ладоге ради помощи ленинградским блокадникам, — станет ясной всемирно-историческая беспримерность провокационной, организованной травли лучших представителей коренного народа России.

Эта травля, оскорбительная для всей России, не стихала и в саму неделю «Российских встреч», несмотря на успех литературно-публицистических, творческих вечеров у патриотического Ленинграда. Город был наводнен русофобскими, расистского толка листовками: у дверей концертных залов, где выступали российские писатели, вспыхивали провокации, гости, чувствовавшие себя порой точно фронтовая бригада, нуждались в заботе правоохранительных органов. Одну из недостойных провокаций, учиненную некой ленинградской журналисткой, стремительно поддержала всесоюзная газета «Известия» — вопреки разъяснению по ТВ работников Ленинградского ГУВД насчет мнимо пострадавшей от русских писателей неудачливой провокаторши.

Возникает вопрос: зачем советские журналисты ставят себя в столь незавидное, унизительное положение? Не только лгут очернительскими своими перьями, искаженными фокусами своих теле- и фотосъемок, уродующими расово «несимпатичные» лица людей, но готовы к практическим инсинуациям, к саморучному сотворению «возмутительных» фактов в публичных местах, где немало свидетелей странного, порой именно буйного поведения «объективных» журналистов?.. Видно, последние действуют, исходя не из правды жизни, но из жестких идейных тенденций, выполняя при этом, как ни клянутся «свободой», чей-то социальный, политический заказ.

«РУССКАЯ КУЛЬТУРА БЕЗ РУССКИХ!» — вот, по сути, каков «демократический», «интернациональный» лозунг средств массовой информации, запугивавших жителей Ленинграда да и всей страны культурными программами «Российских встреч», самим фактом «Российских встреч» в... России!

Один из видов провокации — истерическое преувеличение, раздувание и натужное муссирование нежелательного события, даже и самого локального по его действительному масштабу. Преувеличение, которое служит разжиганию страстей, придавая локальному эпизоду «глобальное» значение, а устной словесной перепалке значение... кровопролития.

Такой провокацией является опубликованное шестимиллионным тиражом «Литгазеты» (14 февраля 1990 года) «Открытое письмо членам Политбюро ЦК КПСС» от коммунистов ультралевацкой организации московских писателей «Апрель». Оно посвящено «налету (!) экстремистов из «Памяти» на Дом литераторов», или же — «достаточно подробно описанному в газетах» (и центральных журналах) «погрому в Доме литераторов».

Из «Открытого письма» выясняется, что «налетчики», «погромщики» (группка лиц, покуда еще следствием не установленных, бог весть как проникших в Дом литераторов, администрация которого несет полную ответственность за допуск в ЦДЛ нечленов СП), — экстремистские «налетчики» были вооружены... мегафоном. Этот-то мегафон неведомых оппонентов «Апреля» авторы «Открытого письма» приравнивают к «самым смертоносным видам оружия», которым «набиты наши склады», наши «страшные арсеналы». А само обоюдовульгарное, не без комических черт происшествие в ЦДЛ — фактически ставят в один ряд с «трагическими событиями последних месяцев в Фергане и Азербайджане».

Кажется, надобно знать меру в средствах и формах отпора даже неправому мнению и поведению! Но, как ни досадно скандальное происшествие в ЦДЛ, провокационность «Открытого письма» комитета «Апрель», похоже, далеко перекрывает суть и фабулу этого явно раздутого факта. Ведь мегафон неизвестных пришельцев на заседание «Апреля» побуждает «демократических» членов этой политической организации схватиться за... автоматы. «Надо уметь постоять за себя!., — пишут «апрельцы». — Среди нас достаточно еще фронтовиков, которые повидали автоматы в руках не менее волосатых. Так что от подобных налетчиков защитить себя можем». Характерно, что это «ответно»-милитаристское заявление в «ЛГ» подписано и женщинами из «Апреля» (отнюдь не фронтовичками).

Не утвержденная никаким общим собранием московских писателей организация «Апрель», использующая Центральный Дом литераторов для чисто политических мероприятий, теперь обещает, значит, стать организацией, вооруженной боевой техникой? Это ли не почва для дальнейших, непредусмотримых провокаций в столице России? В том ли достоинство и долг писателей, чтобы при виде «оппонирующего» их политическим страстям приблудного, а возможно, и ангажированного мегафона взывать к репрессиям и, на корню отвергая дискуссию, настраивать себя, Политбюро ЦК КПСС, миллионы читателей «ЛГ» не иначе как на гражданскую войну?

Глубоко провокационно и бездоказательно обвинение правлению Союза писателей РСФСР, будто оно причастно к обструкции «Апрелю» со стороны не числящихся в СП РСФСР лиц.

Глубоко провокационно и назойливое стремление печатных органов «слить» СП РСФСР с ряжеными крикунами из тщеславного крыла «Памяти» — несколькими «присяжными» манифестантами. Это подобно тому, как если бы Секретариат правления СП РСФСР взвалил непосредственно на «Апрель» ответственность за действия, скажем, известного провокатора А. Норинского. СП РСФСР, его печатные органы воздержались от подобной постановки вопроса, хотя — и этого нельзя оспорить — помянутый провокатор обязан популяризацией своих деяний как раз некоторым писателям-«апрельцам», и ныне запугивающим общественность жупелом «Памяти».

И тут надо сказать: попытка возвести всякую мысль о возрождении России, о ее политическом и экономическом равноправии, о самобытности ее исторического пути, неповторимости ее национальной культуры к «эпатажным» плакатам ославленных, хоть по сути — безвестных, возможно, и самозваных, лиц из «Памяти», несомненно служит сегодня прикрытию *истинного* расизма и неофашизма, нешуточные силы которого объединены в Союз сионистов СССР, имеющий военизированные отряды бейтаровцев. Истерично крича об угрозе человечеству, всем народам СССР со стороны «Памяти» (а по сути — со стороны любых патриотических сил и обществ России), центральная пресса упорно тушует или беззастенчиво приукрашивает идейную сущность сионизма и тщательно уводит сознание граждан нашей страны от того, что на счету легализованной в СССР организации «Бейтар» — не только расистские лозунги еврейской национальной «исключительности», но и причастность к таким деяниям, как, например, резня в лагерях палестинских беженцев Сабра и Шатила, сотням кровавых преступлений, террористических актов, от которых не раз содрогалась мировая общественность.

Все, кто знаком с кровавой историей сионистских штурмовиков, из среды которых вышли такие преступные лидеры, как Менахем Бегин или «герои» разведки «Моссад», изуверы-каратели и палачи, — не могли не удивиться, что Антисионистский комитет советской общественности (АКСО) вместо того, чтобы, соответствуя своему наименованию, вести решительную борьбу за *запрещение* в СССР военизированных отрядов советских (как ни дик этот эпитет!) бейтаровцев, вместо того, чтобы активно противостоять разрастанию сионистского движения в нашей стране с его многочисленными, разветвленными структурами, — АКСО в последнее время обрушился в печати как раз на критиков сионизма. В том числе — на серьезного ученого, заместителя председателя Палестинского российского общества при АН СССР, известного борца с сионизмом Е. С. Евсеева. Так, в «Заявлении секретариата Антисионистского комитета советской общественности» («ЛГ», 7 февраля с. г.) Е. С. Евсеев был обвинен в... антисемитизме и антисемитской пропаганде, оскорбительно приравнен к неким скандальным крикунам, назван их «идейным вдохновителем». Трагическая гибель Е. С. Евсеева через несколько дней после этого тяжкого обвинения заставляет задуматься о многом. Во всяком случае очевидна странность позиции, какую заняло ныне руководство Антисионистского комитета. Не разгул сионистского движения, не экстремистские решения декабрьского съезда еврейских организаций и общин СССР при ведущей роли главарей зарубежного сионизма на этом съезде, а... все тот же никчемный «инцидент в ЦДЛ» — вот что, по мнению руководства АКСО, «переполнило чашу терпения» национально непредвзятых советских граждан!

Что ж до «антисемитизма» покойного Е. С. Евсеева, то недавняя пресса показала: ныне в одном ряду с этим ученым оказался уже и Ф. М. Достоевский. «Великий русский писатель Достоевский и в самом деле был «еееядлым» славянофилом, *а что для нас значимей — антисемитом*», — читаем в «Вестнике еврейской культуры» от 28 февраля с. г. «Шовинизм Достоевского», «имперский шовинизм», близость к «идеям фашизма» — вот что теперь инкриминируется Ф. М. Достоевскому, как и его великим предшественникам в русской культуре. Знакомая песня «истинных интернационалистов»! Слишком знакомая — по двадцатым годам, когда разрабатывались, с огромным размахом осуществлялись самые дерзкие планы *искоренения* русской культуры, уничтожения русского народа!

Пряча в тени «коричневорубашечников» сегодняшнего дня, антиконституционно вторгшихся со своим международным сборищем в самое сердце России — Москву (еврейско-сионистский съезд 18—21 декабря 1989 года), развернувших практическую деятельность, ультрасионистскую пропаганду по всей нашей стране, «прогрессивная» пресса, в том числе органы ЦК КПСС, насаждает кощунственное понятие «РУССКОГО ФАШИЗМА», «нацизма российского», «российского неонацизма» — явления, которого у нас никогда не было и нет.

Выступая на февральском Пленуме ЦК КПСС, академик С. С. Шаталин разглагольствовал о том, что «великорусские шовинисты», к его, академика, «стыду», «решили возродить на нашей российской почве национал-социализм, что... эквивалентно национал-шовинизму» («Правда», 8 февраля с. г.).

Характерно, что «стыдливому» академику с его безответственным, бездоказа-

тельным обвинением никто на Пленуме не возразил. Хотя *«возрождение* на нашей почве национал-социализма» означает, что последний уже бытовал на ней в прошлом и, похоже, что академик, как минимум, *перепутал* народы, страны и почвы — Россию с Германией Гитлера, агрессоров — с жертвами агрессии. Такая «рассеянность», быть может, естественна для парящего в эмпиреях ученого мужа, но прилична ли для Пленума ЦК КПСС? Осталось неясным, что известно коммунисту С. С. Шаталину о «великорусских» планах завоевания мира, покорения других народов, без чего никогда не обходится шовинизм? И кого именно подразумевает ученый под «великорусскими шовинистами», нацистами, столь хищными, что вгоняют его в краску стыда за Россию?

В наглой, провокационной лжи о «русском фашизме», «давно зародившемся (!), — по увереньям советской прессы, — но до поры до времени не афишировавшем себя», содержится, помимо прочего, непростительное глумление над народом, победившим в 1945 году гитлеровский фашизм, спасшим от него мир, в том числе — миллионы евреев. Подобное кощунство чудовищно выглядит в канун 45-летнего юбилея героической Победы народа, сплотившего против фашизма все народы страны, как и народы Европы.

Именно официальные средства массовой информации, сфабриковав подложное понятие «РУССКОГО ФАШИЗМА», несут моральную ответственность за распространение в Москве и других городах листовок-карикатур с изображением Гитлера в русской косоворотке и смазных сапогах. И что-то вовсе не слышно, чтобы авторов, издателей, распространителей этой пропагандистской «изопродукции» привлекали к уголовной ответственности за клевету на русскую нацию, за кощунство над десятками миллионов русских, павших на фронтах Великой Отечественной — «народной, священной» — войны! Никакая «74-я статья», похоже, на практике не помешает здешним ненавистникам России одеть далее в русскую косоворотку и Пиночета, и Пол Пота, да хоть бы Нерона с Торквемадой, Берия с Бегином!

При отсутствии фактов насчет «великорусского фашизма» явственно проступают в печати социально-политические мотивы подобного вымысла. Вот газету «Известия» (19 февраля с. г.) «повергает в отчаяние», как провозвестник «беды (!)», «лозунг на площади», т. е. «плакат, поднятый одним хулиганом (!)»: «Русским школам — русских учителей». Вот он, «русский фашизм»! — бьет «в набат» газета в обзоре писем читателей. И, рисуя воображаемую картину ухода из русских школ не русских по происхождению учителей (в том числе и преподавателей русского языка), злорадствует, что «в затылок никому из них никто, как мы знаем (!), не дышит», — подтверждая тем самым глубокую дискриминированность русских в подготовке и обучении национальных кадров. Газета негодует и на возможную, хотя не заявленную еще «на площади» мечту: «Русским больницам — русских врачей», которая даже смешит «прогрессивного» журналиста. По той же причине: глубокой дискриминированности русского населения в реальном праве на высшее образование. Праве, которое находилось бы в сколько-нибудь справедливом соотношении с численностью коренной нации...

Являясь органом Советов народных депутатов СССР, «Известия» решительно отказывают русским в тех именно элементарных социальных правах, какие всячески приветствует эта газета, когда речь идет о любой африканской стране, когда аналогичные права укрепляются (хоть бы в гипертрофированном виде) в Прибалтике, Армении или Грузии. Так, «Известия» не усмотрели «фашизма» в выступлении на I Съезде народных депутатов Ш. Амонашвили, который призывал к развитию «грузинской школы» — не просто ведущей преподавание на грузинском языке, но воспитывающей в детях грузинские национальные идеалы, любовь к Грузии и национальную гордость.

Мы тоже согласны с народным депутатом из Грузии. Однако не возьмем в толк, чем по существу отличается от него тот «один хулиган», что размечтался о «русской школе» с русскими учителями, которые бы (по слову Некрасова) «русские мысли внушали в умы» русским детям, воспитывая их русскую речь, «русский смысл» — «русский взгляд на жизнь» (Тургенев)?

И мы поневоле приходим к выводу: ФАНТОМ «РУССКОГО ФАШИЗМА» ПРИЗВАН СЕГОДНЯ ОПРАВДАТЬ ДЛЯЩУЮСЯ И, ВЕРНО, ПЛАНИРУЕМУЮ НА ВСЕ ВРЕМЕНА ВПЕРЕД ВСЕСТОРОННЮЮ ДИСКРИМИНАЦИЮ РОССИИ.

Так, спроста ли бесславный протест против создания РКП и даже Российской академии наук был выдвинут на февральском Пленуме ЦК КПСС — тем же академиком Шаталиным — как раз вслед за его измышлениями о «великорусском национал-социализме», «национал-шовинизме»? Словно бы этим именно — фашизмом — означена была история Российской академии еще со времен Михайлы Ломоносова!

Фантом «русского фашизма» придуман для разнообразных, в том числе — и внешнеполитических, конечно, — целей. По замыслу его изобретателей, он способен с помощью средств массовой информации решительно ОТВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ ОТ КАКОЙ-ЛИБО ВНЕШНЕЙ ОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВУ, мысль о которой всецело подменяется ложью об опасности внутренней — исходящей из России.

Фантом «русского фашизма», «антифашистская» истерия в средствах массовой информации СССР, развернутая по этому мнимому поводу, призвана вместе с тем ЗАГОДЯ ЗАТРУДНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ СОЮЗНИЧЕСКИХ БЛОКОВ

НАШЕЙ СТРАНЫ С ДРУГИМИ (прежде всего — европейскими) ГОСУДАРСТВАМИ В СЛУЧАЕ ОБЩЕЙ ДЛЯ НАС И ДЛЯ НИХ ВНЕШНЕЙ УГРОЗЫ.

Выдумка о «русском фашизме» насаждается и для того, чтобы ОПРАВДАТЬ РАЗРУШЕНИЕ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ПОДРЫВ ОБОРОННОЙ МОЩИ НАШЕЙ СТРАНЫ: ослабить эту мощь ввиду «русского фашизма» — становится делом столь же благородным, как некогда — нанести удары военной мощи гитлеровской Германии.

Внедряемая в массовое сознание — у нас и за рубежом — ложь о «русском фашизме» была разработана, в частности, ВО ИМЯ АННУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ СЛЕДСТВИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ, РЕЗУЛЬТАТОВ ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ — ВСЕХ НАРОДОВ, ПОДНЯВШИХСЯ ДЛЯ РАЗГРОМА ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ. Провокационная ложь о «русском фашизме» выдвигается как глубоко УНИЖАЮЩИЙ РОССИЮ «моральный фон» для объединения Германии. КАК ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО ПРЕВРАЩЕНИЯ СТРАНЫ-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ В СТРАНУ, ПОКРЫВАЕМУЮ ПОЗОРОМ. КАК НЕКИЙ МОРАЛЬНЫЙ «КАРТ-БЛАНШ» ДЛЯ БУДУЩЕЙ ОБЪЕДИНЕННОЙ ГЕРМАНИИ — ЛЮБОЙ ЕЕ РОЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТИНЕНТЕ.

Насаждение вымыслов о «русском фашизме» служит далее «переосмыслению», УПРАЗДНЕНИЮ КАК СОБЫТИЯ И СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ТАКОЙ РЕАЛЬНОСТИ, КАК ИЗМЕНА РОДИНЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ ФИРМАМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ НА ОСНОВЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ НАШЕЙ СТРАНЫ.

Что ж до внутреннеполитических следствий, то безудержные измышления о «великорусском национал-социализме» НАНЕСЛИ (И НАНОСЯТ) НЕБЫВАЛЫЙ, ГЛУБОКО РАССЧИТАННЫЙ УДАР ПО ТРАДИЦИОННОЙ, ИСТОРИЧЕСКОЙ ДРУЖБЕ НАРОДОВ В СОВЕТСКОЙ СТРАНЕ, ВСЕХ НАРОДОВ, КОТОРЫЕ ИЗДАВНА СПЛОТИЛА «ВЕЛИКАЯ РУСЬ» И КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЫНЕ ОБРЕЧЕНЫ НА ГУБИТЕЛЬНО-АВАНТЮРНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СУДЬБУ.

Фантом «русского фашизма» призван не только дискредитировать русский народ в глазах братских народов страны, всех народов мира, но и ВНУШИТЬ САМИМ РУССКИМ КОМПЛЕКС ВИНЫ, УСУГУБИТЬ ИХ ОЩУЩЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРИНИЖЕННОСТИ, ПОДОРВАТЬ ДО КОНЦА ИХ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОСОЗНАНИЕ, ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ РУССКОЕ ЧУВСТВО ПАТРИОТИЗМА В ЛЮБОМ ИЗ ЕГО ПРОЯВЛЕНИЙ. Вместе с тем ПОДРЫВАЕТСЯ И ОБЩИЙ ПАТРИОТИЗМ НАРОДОВ НАШЕЙ СТРАНЫ, КОТОРЫЙ ОТНЫНЕ МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕН РАЗВЕ ЧТО ПО РУСЛУ РАЗНООБРАЗНЫХ УЗКОНАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАСТЕЙ, СПОСОБНЫХ ИССУШИТЬ ДУШУ, ПРИМИТИВИЗИРОВАТЬ МЫСЛЬ КАЖДОГО ИЗ РАЗЪЕДИНЯЕМЫХ НЫНЕ БРАТСКИХ НАРОДОВ.

Притворный ужас перед «русским фашизмом» доходит до абсурда, до самых дешевых провокаций, какими не брезгует, к сожалению, даже верховно-парламентская пресса. Ее «берет оторопь», например («Надо бить в набат, в колокол — кто во что может...», как пишут «Известия»), от «фашистского» желания русских помочь друг другу в общенародной беде. «Как же случилось, — ужасаются в «рупоре» Советов народных депутатов СССР, — что молодежная газета помещает объявление: «Готов приютить семью русского военнослужащего». С адресом. Значит, если по этому адресу обратится оставшаяся без крова «смуглая» женщина — ей дверь не отворят?»

Таков, при всем его очевидном безумии, *терроризирующий* русского человека, *науськивающий* на него ВЫВОД всесоюзного печатного органа! Словно бы русские, даже в нынешнее тягчайшее для республики время, «не отворили» дверей пострадавшим в Нагорном Карабахе и от землетрясения армянам; туркам-месхетинцам, бежавшим от резни в Фергане и не принятым Грузией, и т. д.!..

«Вот где КОРЕНЬ ОЗВЕРЕНИЯ» — прямо указуют «Известия» на русское племя.

Но следует сделать и общий, равно касающийся и «русых» и «смуглых» наших соотечественников, куда более объективный, правдоподобный вывод: та идеологическая, широко финансируемая и технически оснащенная антирусская кампания, что развернута в средствах массовой информации СССР, может иметь единственно логический практический итог — установление не только в России, в стране в целом бескомпромиссного «режима Претории». Ведь нетрудно заметить, что под моральный, политический ТРИБУНАЛ последовательно, изощренно подводятся как «националистические», по-своему «шовинистические» и «расистские» ВСЕ народы страны, даром что многие из них в то же время *используются* для глобальной антирусской кампании. Натравливаемые друг на друга и непременно при этом — на братский русский народ, они неизбежно увидят себя столь же «бросовым», как и русская нация, материалом для транснациональных экстремистов, политических гангстеров ультралевого, тиранического толка, а свою историческую территорию, природные богатства и культурные ценности — предметом международной спекуляции, источником наживы «общечеловеческих» мафиози от «национально-освободительного» движения и мифической «демократии».

Удачливое исключение составляет сегодня у нас на поверку лишь один, именно — еврейский, народ, который безоговорочно идеализируется ведущими средствами массовой информации как «истинно» интернационалистический, са-

мый гуманный, самый талантливый, самый трудолюбивый, уникально безгрешный и понесший притом якобы наибольшие жертвы.

Эта идеализация равно касается ныне и советских, и зарубежных культурных, общественных деятелей еврейского происхождения — в том числе политических деятелей фашистского государства-агрессора Израиля. Это чисто расистская идеализация дошла ныне до игнорирования едва ли не всей мировой общественности с ее трезвыми оценками и выводами. Так, сионисты и просионисты в советской прессе (среди них — и народные депутаты СССР, и некоторые работники Идеологического отдела ЦК КПСС, и отдельные лица из Политбюро ЦК КПСС) гримируют преступный лик сионизма, «отмывают» его, с криводушием утверждают уже, будто «сионизм... оклеветан ООН», принявшей с 1948 года свыше тысячи резолюций по осуждению сионистской агрессии на Ближнем Востоке и определившей сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Эти фарисеи от «демократизации» в национальной политике пытаются придать сионизму то конфессиональный статус — одной из равноправных религий мира, то героическую окраску «национально-освободительного» (от арабов Палестины? от русских — в России?) движения, то безобидное значение мирно-патриотической тяги евреев на «историческую родину», — называя, наконец, эту профашистскую идеологию мирового господства *согласованной* с новой линией КПСС, с духовными задачами перестройки в СССР. (Последнее циничное толкование принадлежит, например, инструктору Идеологического отдела ЦК КПСС В. Тумаркину.)

Подобная неисторичная планомерная идеализация *одного* народа со всеми крайностями возникших в нем национальных теорий и учений — испытанное средство формирования представления о «супернации», «über»-нации, — *высшей* нации.

Некритическое, слащаво-умильное, по существу — раболепное, отношение к еврейству в его прошлом и настоящем, к здешнему и зарубежному, к империалистам и сионистам в том числе, оказывается, с точки зрения ведущих средств массовой информации, главным мерилом личного, общественного, даже профессионального достоинства советских людей нееврейского происхождения.

Утвердить такое мерило нетрудно, если учесть, что подавляющее большинство работников, авторов центральной прессы и ЦТ, нашедших свое призвание в глумлении над русским народом и клевете на него, — это лица еврейского происхождения, семейно связанные с еврейством — его сионистскими, просионистскими кругами. Многие из этих лиц, фабрикующих «общественное мнение» относительно русского и других народов нашей страны, носят русские имена и фамилии, что усугубляет провокационный характер их открытой националистической деятельности.

Однако даже констатация этого факта, формальная констатация еврейской национальности конкретного лица или лиц обрекает русского человека (а впрочем, и украинца, и белоруса, и чуваша, и азербайджанца и т. д.) на клеймо «антисемита». Такая объективная констатация расценивается как посягательство на «права человека», на — нововведенную — «национальную тайну», как «злостное» раскрытие ее, приравниваемое к разглашению врачебной да, кажется, и государственной тайны. Ибо права «высшей» нации на деле включают в себя разом: и сокрытие национальной принадлежности, и, напротив, спекулирование ею (ее льготным статусом); и национальное самозванство, маскировку под чужим именем, и националистическую гордыню. Это обеспечивает в итоге *свободу* от исторической ответственности и тем паче от того национального «покаяния», какое вымогают у других народов страны, в первую очередь — у русского народа.

В этих условиях даже многие честные, справедливые или простодушные евреи не застрахованы от обвинений в «антисемитизме» со всеми вытекающими отсюда грозными последствиями.

В этих условиях «сеяньем межнациональной розни в СССР» оказывается на практике даже сочувствие борющемуся за свои законные права арабскому народу Палестины.

В этих условиях, — следует с тревогой отметить, — на особом подозрении в недостатке «надлежащего» раболепия и покорности оказываются русские, даром что — «тысячелетние рабы»! Вопреки историческим фактам они обвиняются в «зоологическом», как бы врожденном антисемитизме. А Еврейский научный центр Советской социологической ассоциации АН СССР публикует ныне в «Вестнике еврейской советской культуры» (1990, № 4) отобранные академиком Заславской «данные» о *первенстве* России в «проявлениях антисемитизма» (к сожалению, не названных) сравнительно с другими республиками нашей страны.

«Антисемитизмом», «расистской одурью», «русским фашизмом», «нацизмом российским» в давно уже ПЕРЕВЕРНУТОМ зеркале средств массовой информации является, если вдуматься, все, не выгодное — нет, не евреям в целом, — но сионистам. А поскольку последним, сугубо ориентированным на интересы государства Израиль, на рваческие интересы выродков еврейского народа, невыгодно *отсутствие антисемитизма в России* (сдерживающее эмиграцию в Израиль, препятствующее льготному статусу «политических беженцев» для евреев-эмигрантов из СССР), то и отсутствие антисемитизма, тем паче *признанье отсутствия* антисемитизма в России невыносимо для сионистов. Такова казуистика националистического политиканства! Так совершается подлог истинных интересов множества со-

ветских евреев, не готовых оплевать свою *русскую* родину, поддерживать планы фашистского государства Израиль. Так сужается, превратно трактуется, заметим, объективное понятие *фашизма*, которое нарочито сводится исключительно к «проявлениям антисемитизма». Словно бы подлинный, слишком известный со времен Гитлера и Муссолини фашизм ограничивается преследованием лишь одной нации, был нацелен лишь против евреев, — и, следовательно, «не бывает» фашизма, нацизма сионистски-еврейского. Между тем именно последний несет прямую ответственность за многие, в том числе еврейские, погромы. За «обрезание сухих ветвей» древа своего же народа — в Освенциме и Дахау, во Львове и Вильнюсе...

В связи с расширяющимися ВНЕ ВОЛИ РУССКОГО НАРОДА дружественными контактами СССР с фашистским государством Израиль еврейский фашизм, свободный *экспорт* сионистско-еврейского нацизма в нашу страну стал грозной реальностью, и опасность его для всех народов страны выдвинулась на первый план.

Эта опасность — вполне тотального характера. Так, если в мае 1917 года на 7-м Всероссийском сионистском съезде известный лидер экстремистов «всемирной еврейской нации» Идельсон ставил задачу — сделать Россию *колонией* будущего Израиля (еврейской «национальной метрополии» в Палестине), то в декабре прошлого года, в Москве, вице-президент Сионистского форума советских евреев Ш. Азарх, по сообщению «Литературной России» (1990, № 7), многозначительно заявил: «...у нас три центра: Советский Союз(!), Америка, Израиль. Я думаю, если бы нам удалось создать основной общинный центр в Израиле, то *весь этот треугольник очень хорошо бы стал работать*». Работать — на полное мировое господство «избранного народа», накладывающего *свой* гигантский «треугольник» на весь земной шар, дабы бесследно канул в ненасытный этот — «бермудский» — *зев* сионистского капитала, сионистской агрессии не только арабский мир, но и великое множество других, покоренных, стран и народов!

Эта опасность беспримерно-имперских аппетитов наступательного сионизма, называющего сегодня главным своим опорным центром Советский Союз, привычно маскирует себя перед широкой общественностью разнообразными фактологическими и идеологическими подлогами. Так, сионистские неофашисты и их пособники пытаются ныне возглавить... «борьбу с «неофашизмом», выдавая себя за *антифашистов, антирасистов*, «спасающих» мир от «русского фашизма», от гэдээровского «неогитлеризма» и т. п., твердя уже даже о «черном альянсе» между немецкими «ультраправыми» и их «единомышленниками в СССР». И отметим: таким международным клеветникам-провокаторам охотно предоставляет свою трибуну орган ЦК КПСС газета «Советская культура».

Не отвлечены от всех названных выше ПОДЛОГОВ и подрывные, сеющие злобу и панику *слухи* о готовящихся еврейских погромах в Ленинграде, Москве и других городах России. Эти слухи едва ли не ежедневно в последние месяцы транслируются телевиденьем, раздуваются прессой.

Пожалуй, можно указать на один из *источников* подобных слухов.

В уже упомянутом еврейском «Вестнике» сообщается, что среди «делегатов и гостей первого съезда еврейских общин и организаций», который состоялся в Москве, было проведено анкетирование, охватившее 352 еврейских активистов.

«Как вы считаете, — вопрошала анкета, — возможна ли в вашем населенном пункте *в ближайшее время* вспышка антисемитизма, сопровождаемая актами вандализма, жестокости, насилия?» (*разрядка* Еврейского научного центра Социологической ассоциации, возглавляемой академиком Заславской).

Откровенная провокационность подобного опроса, его огласки, публикации в прессе не нуждается в комментариях.

Эти социологические игры — под эгидой Академии наук СССР и с одобрения «гостей» еврейского форума в Москве, среди которых оказались столпы международного сионизма, — еще в декабре прошлого года *предваряли* собой широкую волну панических слухов о «ближайшей будущности» советских евреев.

А сегодня дело дошло до того, что иные руководящие партийные и советские работники, даже высшие чины КГБ вместо того, чтобы вскрыть источники провокационных измышлений, тревожащих — подчеркнем — отнюдь не одних лишь евреев, и принять меры против мастеров запугивания советских людей, с телеэкрана «демократически» призывают население к безоглядному *доносительству* насчет всего, хотя бы и *померещившегося* по части «еврейских погромов».

Ни один другой народ нашей страны, пусть и давно уже втянутый в кровавые межнациональные конфликты, не удостоился подобной заботы со стороны «бдительных», «человеколюбивых» и могущественных средств массовой информации.

Впрочем, эта «забота» все более смахивает, в свою очередь, на едва прикрытую национальную провокацию, все более убеждает, что кто-то из «сильных мира сего» *жаждет* еврейских погромов и, по сути, *готовит* их, загодя перекладывая ответственность на непричастных, противоборствующих провокациям лиц: на правление Союза писателей РСФСР, его VI пленум, на целый ряд русских деятелей культуры, патриотические организации России.

Слишком ясна конечная цель ширящейся политической провокации: несомненно задев как раз неповинных в низком политиканстве евреев, еврейские погромы, насильно *призываемые* сегодня на русскую землю, стали бы в итоге «кро-

вавой баней» для русского народа, а затем и других народов РСФСР. «А что, если *не дожидаться* погромов?..» — спрашивают уже самые нетерпеливые журналисты.

В этой связи показательно муссирование в прессе вопроса о специфическом, исключительном, защищающем *сугубо одну* нацию «законе об антисемитизме». Уже сама постановка такого, жизненно неактуального и узкого вопроса о преимущественной, выборочной национальной льготе, или особом праве на защиту со стороны государства, свидетельствует о национальной, по сути — националистической, пристрастности многих средств массовой информации. Ведь этот предвзято-законодательный, национально-эгоистический вопрос подымается в обстановке несчетных человеческих жертв, которые несут сегодня разные народы страны (но отнюдь все же не собственно еврейский!).

Нет сомнений, что все народы СССР имеют равное право на законодательную и практическую защиту их национального достоинства и жизненных интересов. И потому мы говорим решительное НЕТ как провокации (и возможному инспирированию) еврейских погромов, так и специфическому законодательству в пользу одного какого-либо самовлюбленного, возносящегося над другими народа. Мы говорим решительное НЕТ умышленному расчесыванию ненанесенных ран — культивированию, нагнетанию общественной истерии. В обстановке расчетливо организуемых вспышек братоубийства в стране мы глубоко возмущены ханжеской, спекулятивной прессой, впадающей в театральный мелодраматический «ужас... при виде *пролитой крови»* — «там, *где она пролилась* пока не буквально, а фигурально» («Известия», 19 февраля с. г.). Ибо нетрудно заметить, что, взвинчивая нервы читателей, эта *избирательно-чувствительная* пресса хлопочет именно о «приоритетной» крови; освящая фигуральные жертвы, она жестоко-равнодушна к жертвам натуральным. Она оставляет на обочине своего внимания и страдания русского населения в союзных республиках, и неисчислимые славянские жертвы Чернобыля, и угрозу самому бытию множества «забытых» народов РСФСР. Она бесстыдно клеймит «оккупантами» посланных на заклание, в подожженные костры межнациональных усобиц, русских солдат — юность, надежду приговоренной к вымиранию русской нации.

Что же касается вымогаемого средствами массовой информации, группой народных депутатов СССР, рядом «демократических» фронтов и движений помянутого «закона об антисемитизме», то, имея в виду все вышеизложенное, этот искусственный закон особенно опасен для русского населения, сполна уже испытавшего на себе его действие в 20—30-е годы. Как известно, по существу это был ЗАКОН О ГЕНОЦИДЕ РУССКОГО НАРОДА.

Моральное шантажирование терпеливого, добросердечного, открытого к болям соседей русского народа, ежедневное попрание его национального достоинства достигло того градуса, когда провокаторам не следовало бы с легкомыслием полагаться на русское всепрощение и незлобивость. Этот беспримерный моральный террор по национальному признаку происходит в условиях демографической катастрофы, переживаемой русским народом, 72-летней экономической, социальной и политической дискриминации, беззастенчивого грабежа его природных, трудовых, культурных богатств, наконец — тайной, преступной оптовой продажи его исторических территорий. Положение русского народа в собственном государстве таково, что он достоин, увы, стать предметом первоочередной, чрезвычайной заботы Организации Объединенных Наций и Совета Безопасности при ней. Ибо лишь слепые или продажные политики могут уповать, что гибель русского народа, играющего огромную роль в мировой истории нового времени, не отзовется трагически на судьбах всего, в первую очередь западного мира. Лишь параноические маньяки, превзошедшие своих учителей вроде Троцкого или «стратегов» из III Рейха, могут, коптя русское небо, твердить в нашей печати катехизис самоубийственной злобы: «Россия должна быть уничтожена... Она вроде бы почти и уничтожена, но Кощеево яйцо цело».

Стоит помнить меж тем, что народ, доведенный до отчаяния, способен порой опрокинуть все «компьютерные» расчеты на его безропотную смерть.

Циничные ссылки на «плюрализм» мнений, столь модные в средствах массовой информации (движущихся, однако, по монополистическому пути), иллюзии «равноправного диалога», якобы обеспеченного «эпохой гласности», какие навеваются нам с самых высоких трибун, не могут унять нашей тревоги, скорби и гнева.

Не может быть двух, как и «множества», мнений насчет тотального — во всю историческую ретроспективу и перспективу — поношения русской (как и любой иной) нации.

Не может быть равноправного диалога между народом, шельмуемым как нация «рабов», и представителями «высшей», привилегированной, «избранной» для господства и управления силы. Такие исходные принципы «диалога», восторжествовавшие в годы «демократической» перестройки, заведомо не предполагают для русских ни моральной, ни материальной, обеспечивающей реальное равенство базы. В этих условиях «диалог» клонится разве что к роковому поединку, в котором не будет победителей.

Мы требуем положить конец антирусской, антироссийской идеологической кампании в печати, на радио и телевидении. Мы требуем немедленного категорического запрещения всех видов русофобии на всей территории России и других советских социалистических республик. Мы требуем справедливого для России распределения печатных средств массовой информации, которое соответствовало бы мате-

риально-экономическому вкладу РСФСР в бумажный фонд страны и действительно бы служило интересам русского народа и других народов, населяющих Российскую Федерацию, будучи сообразованным с численностью каждого из них. МЫ ТРЕБУЕМ РАВНОПРАВИЯ РСФСР С ДРУГИМИ СОЮЗНЫМИ РЕСПУБЛИКАМИ В ОБЪЕМЕ ТЕЛЕ- И РАДИОВЕЩАНИЯ. ЭТИ МОГУЩЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ИГРАЮЩИЕ МОНОПОЛЬНУЮ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ, ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ В РСФСР ВСЕЦЕЛО ПОВЕРНУТЫ К БОЛЯМ, ТРЕВОГАМ, НАДЕЖДАМ, НАЦИОНАЛЬНЫМ ИДЕАЛАМ СОБСТВЕННО РУССКОГО НАРОДА И ДРУГИХ НАРОДОВ НАШЕЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЧНО СВЯЗАВШИХ С НИМ СВОЮ СУДЬБУ.

СООТНОШЕНИЕ: 1,5 МЛН. ОБЩЕГО ТИРАЖА ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, ВЫХОДЯЩИХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ПРОТИВ 60 МЛН. ТИРАЖА РУССКОЯЗЫЧНЫХ, НО ПРОПОВЕДУЮЩИХ РУСОФОБИЮ, ОСКОРБЛЯЮЩИХ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОИНСТВО РУССКОГО НАРОДА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, — БОЛЬШЕ РЕШИТЕЛЬНО НЕТЕРПИМО КАК РАЗРУШИТЕЛЬНОЕ ДЛЯ РОССИИ!

Вместе с тем мы призываем всех русских людей — рабочих, крестьян, национальную интеллигенцию, несмотря на все беды, угнетение, унижение, которые постигли в XX веке наш народ, ВСЕГДА ПОМНИТЕ О НАЦИОНАЛЬНОМ ДОСТОИНСТВЕ ВЕЛИКОРОССОВ, ЗАВЕЩАННОМ НАМ НАШИМИ СЛАВНЫМИ ПРЕДКАМИ, ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ РОССИИ; НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ ВТАПТЫВАТЬ В ГРЯЗЬ РУССКОЕ ИМЯ.

ЕЖЕДНЕВНО помните, что мы, русские, — высокоталантливый, геройски отважный, знающий радость осмысленного, созидательного труда, могучий духом народ. Что «русский характер», «русское сердце», бескорыстная русская преданность ИСТИНЕ, русское чувство справедливости, сострадания, правды, наконец — неистребимый, беззаветный русский патриотизм — все это ДРАГОЦЕННЫЙ АЛМАЗ в сокровищнице человеческого духа.

ВОСПРЯНЕМ ЖЕ! ВОЗЬМЕМ В СВОИ РУКИ СУДЬБУ НАШЕЙ РОДИНЫ-РОССИИ! НАПРАВИМ ВСЕ СВОИ ПОМЫСЛЫ И ДЕЛА НА ТО, ЧТОБЫ ОГРАДИТЬ ЕЕ ОТ ВСЕВЛАСТЬЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ АВАНТЮРИСТОВ, СПЕШАЩИХ ПРЕВРАТИТЬ РОССИЮ В КОЛОНИАЛЬНУЮ СТРАНУ, В ЗАЛИТОЕ НАШЕЙ КРОВЬЮ ЦАРСТВО НОВЕЙШЕГО ТОТАЛИТАРИЗМА!

Именно этого ждут от нас все народы нашей Федерации. Этого чают все благородные и здравомыслящие люди мира.

К семидесяти четырем подписям, поставленным под «Письмом писателей России» («Литературная Россия», 1990, № 9), присоединяют свои имена деятели культуры, науки и литературы России. Письмо, публикуемое в «Нашем современнике», учитывает некоторые дополнения, внесенные ими.

ПИСАТЕЛИ РОССИИ: И. ВАСИЛЬЕВ (Ржев); В. БЕЛОВ (Вологда); А. БУЙЛОВ (Дивногорск); В. КАНАШКИН (Краснодар); Ю. БОНДАРЕВ, Д. ИЛЬИН, В. ВОКОВ, А. КАЗИНЦЕВ, Г. КАСМЫНИН, Н. ФЕДЬ, С. ШУРТАКОВ, А. ЧИРКИН, М. ВОРФОЛОМЕЕВ, Н. КОТЕНКО, Н. СТАРЧЕНКО, Л. БАРАНОВА-ГОНЧЕНКО (Москва); А. ОВЧАРЕНКО (Тула); Р. РУГИН (Салехард); М. ЛЮБОМУДРОВ, В. ЧУБАКОВА, Ю. ШЕСТАЛОВ, Н. ПИРОГОВА, С. КАШИРИН, В. КРЕЧЕТОВ, П. ГУБАНОВ, И. КРАВЧЕНКО, Н. ЛИТВИНСКАЯ (Ленинград); В. КУЗНЕЦОВ, А. КАРЫШЕВ (г. Владимир); П. ПАРАМОНОВ (Суздаль); Г. КАРПУНИН, М. ЩУКИН, В. МАЛЫШЕВ (Новосибирск); А. БАЙБОРОДИН, В. СИДОРЕНКО (Иркутск); К. ЛАГУНОВ (Тюмень); А. КАМЫТВАЛЬ (Магадан); Ю. СЕРГЕЕВ (г. Орджоникидзе) и еще 260 подписей. ХУДОЖНИКИ РОССИИ: Ю. СЕМЕНЮК, Г. ДАРЬИН (Ярославль); А. ЗАЙЦЕВ (Ростов Великий); Б. ФРАНЦУЗОВ (г. Владимир); В. ХАРЛОВ, В. УШАКОВА (г. Киров); М. АБАКУМОВ (Коломна); В. СТРАХОВ (Вологда); В. ИВАНОВ (Рязань); Н. БУРДАСТОВ (г. Горький); В. НЕПЬЯНОВ (Пенза); А. АЛЕКСАНДРОВ (Ново-Чебоксарск); В. ЗУБОТЫКИН (Краснодар); Л. ИБРАГИМОВ, В. ФЕДУЛОВ (Орехово-Зуево); А. ЧЕРНОВ (Иваново); В. ЧИСТИЛИН (Курск); Г. ПЕРМЯКОВА (Челябинск); А. ЛЯЛЯКИН (г. Ефремов); В. САМОДЕЕВ (Павловский Посад); Ю. КУГАЧ, С. ТКАЧЕВ, А. ТКАЧЕВ, Г. КОРЖЕВ, В. ТЕЛИН, В. ЗАБЕЛИН, А. ГОРСКИЙ, С. ХАРЛАМОВ, В. СТЕКОЛЬЩИКОВ, В. КЛЫКОВ, А. АРТЕМЬЕВ, Н. СОЛОМИН, О. СВЕТЛИЧНАЯ (Москва); Б. ШАМАНОВ, В. ШИТКО, С. КУЗЬМИН, Н. КУЗЬМИНА, Г. ЕГОРОВ (Ленинград) и еще 38 подписей. КОМПОЗИТОРЫ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ: Г. БЕЛОВ, А. МЕХНИЦОВ, В. ЧИСТЯКОВ (Ленинград); С. ОРЛОВА, А. ПОЛЕТАЕВ (Москва). КИНЕМАТОГРАФИСТЫ: Н. БУРЛЯЕВ, С. КИСЕЛЕВ, П. РУСАНОВ, Б. КАРПОВ, В. ТЕТЕРИН, А. ЗАБОЛОЦКИЙ, В. ГОСТЮХИН. ДЕЯТЕЛИ НАУКИ МОСКВЫ И ЛЕНИНГРАДА: академик Ф. УГЛОВ, профессора — Ф. МОРОХОВ, В. СЕРЖАНТОВ, А. КОРОЛЬКОВ, А. БОРИСОВ, Е. ПОПЕЧИТЕЛЕВ, О. ВЕНДИК, С. ЛЮТИНСКИЙ, В. АХУТИН, Л. ЧИСТОВ, А. УВАРОВ, Н. ЗАРУБИН, П. КИПРИАНОВ; А. ЗЕЛИНСКИЙ, Н. НИКИТИНА, В. МЕЛЬГУНОВ, Ю. БОРОДИН, Ю. БЕГУНОВ, Ю. МИХАЙЛОВА, Е. КОЧИНА и еще 58 подписей.

СБОР ПОДПИСЕЙ ПОД ЭТИМ ПИСЬМОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Писатели, деятели культуры, науки, рабочие, крестьяне, военнослужащие, люди всех профессий, учащиеся — все граждане России, солидарные с этим письмом,

ОТКЛИКНИТЕСЬ!

АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВ

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ

«ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА: ИСТОКИ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

По оценкам зарубежных специалистов, СССР входит в число двадцати стран мира с наиболее развитой «теневой» экономикой. Что и говорить, печальное лидерство.

Вопреки всем оптимистическим прогнозам «отцов» экономической реформы, «теневая» экономика не сошла на «нет» в результате развертывания кооперативного движения, индивидуальной трудовой деятельности, ослабления административного диктата, а, напротив, резко прибавила обороты. Если еще недавно о ее существовании было известно лишь специалистам, то теперь тема «теневой» экономики выдвинулась в число наиболее популярных и широко обсуждаемых. И не мудрено: ее объем ныне составляет 20—25 процентов от национального дохода страны при 20 млн. человек, занятых тем или иным видом нелегального бизнеса. Эти цифры, сообщенные заместителем министра МВД СССР Н. И. Демидовым в телевизионной передаче «Перестройка: проблемы и решения» 28 ноября 1989 года, способны повергнуть в шоковое состояние любого — ведь речь идет о 150 млрд. руб. ежегодного дохода в «тени» официальной экономики. Очевидно, что колоссальная экономическая мощь, материализованная в астрономических доходах, неизбежно приводит в движение могущественные политические силы, требующие легальной, законной власти. «Теневые» капиталисты в союзе с преступным миром, мафией и представителями коррумпированного, подкупленного ими аппарата бросают вызов трудящимся, их социалистическому выбору и социальным завоеваниям. Гамлетовский вопрос «быть или не быть?» уже не выглядит преувеличением. Не все, правда, видят проблему в столь драматическом свете. И на это есть свои причины.

Экономисты так называемого радикального направления, составляющие костяк межрегиональной депутатской группы, связывают истоки «теневой» экономики с административно-командной системой, бюрократизацией управления. Главное зло, по мнению этих специалистов, заключается не в существовании подпольного предпринимательства (напротив, с их точки зрения, оно приносит людям пользу в виде предлагаемых товаров и услуг), а в партгосаппарате, превратившемся в нарост на теле здоровой частной инициативы. Чиновники-паразиты обложили данью предприимчивых людей (вот он — государственный р э к е т!) и наживают на этом баснословные барыши. Эта идея достигла своего апогея в открытом письме А. Нуйкина в № 40 журнала «Огонек» за 1989 г., где автор ссылается на оценки капиталов бюрократов-захребетников в сотни миллиардов рублей. Решение проблемы напрашивается само собой — устранить класс аппаратчиков вместе с его основами: общественной собственностью и централизованным плановым управлением. А затем «теневые» капиталы, считает П. Г. Бунич, необходимо легализовать, вкладывая их через частную собственность в подъем экономики. Иначе доморощенные нувориши станут, скупая золото, валюту, драгоценности, вывозить их за кордон («Правда», 13 октября 1989 г.). При кажущейся радикальности данное предложение вовсе не оригинально. Оно еще раньше было выдвинуто американским ученым П. Робертсом, настоятельно рекомендовавшим для оздоровления советской экономики узаконить частную собственность на средства производства. «...Начать необходимо с легализации «теневой» экономики... Следующим шагом станет естественная денационализация государственного сектора» («Правительственный вестник», 1989, № 17).

Непредвзятому читателю, наверное, уже очевидно, что концепция «теневой» экономики, предложенная экономистами-радикалами, не способна теоретически вооружить трудящихся, поднять их на борьбу с этим злом. Не удовлетворяет уже само понимание истоков данного явления. Ведь если связывать его корни только с административно-командной системой, то как тогда объяснить крайне незначительные масштабы «теневой» экономики в период культа личности Сталина и, с другой стороны, ее небывалый расцвет во время нэпа?

Вряд ли правомерно объяснять неизбежность «теневой» экономики и тотальным «дефицитом». В такой постановке вопроса следствие выдается за причину, поскольку «теневая» экономика сама зачастую «организует» нехватку необходимых товаров и паразитирует, наживается на этом. Похоже, что ныне все усилия правительства по росту объемов производства товаров народного потребления, их срочному импорту парализуются воротилами «теневой» экономики, оборачиваясь для народа все новыми видами дефицита.

Необходимо ответить на принципиальный вопрос: кто же все-таки главный в «теневой» экономике? Более чем снисходительное отношение «радикалов» к нелегальному бизнесу превратилось в его открытую апологетику после профсоюзного митинга в Лужниках и митинга ленинградских коммунистов. Главная причина этой «подвижки» заключалась в том, что на упомянутых акциях был прямо поставлен вопрос о новых советских буржуях —«совбурах» как об особом, самостоятельном и антисоциалистическом, антинародном слое общества, являющемся главным тормозом социалистической направленности перестройки. Не партгосаппарат, коррумпированные его элементы командуют «теневиками», а, наоборот, последние манипулируют подкупленной частью чиновников, используя их как прикрытие, как «шестерки» в большой игре за экономическую и политическую власть. Совбуров нельзя также отождествлять и с «бандократией» — «ворами в законе», «крестными отцами» мафии и т. п. Тузы «теневой» экономики командуют и ими.

Следует выяснить еще один важный момент — соотношение между кооперативами и «теневой» экономикой. Что это далеко не одно и то же, видно уже из следующих цифр: вся кооперация дала в 1988 году товаров и услуг на 6 млрд. руб., а доходы «теневого» предпринимательства, как уже отмечалось, составляют около 150 млрд. рублей.

Суть этой проблемы видится в том, что «теневая» экономика и мафия прибрали к своим рукам часть кооперативов, превратив их в легальную верхушку айсберга подпольного капитализма, где «отмываются» деньги, полученные преступным путем. Недаром из 512 насчитывающихся в стране воров в законе каждый пятый — член кооператива («Труд», 1 октября 1989 г.). Очевидно, что зло не в самом кооперативном движении, а в несовершенстве экономических и юридических форм, дающих возможность примазаться к нему спекулянтам и проходимцам.

«КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?»

Оценки потенциала «теневой» экономики нарастают как снежный ком: специалисты, начав еще недавно с относительно скромной цифры в 5 млрд. руб., постепенно подняли планку до астрономической величины в 300—500 млрд. руб. («Аргументы и факты», 1989, № 37). Согласитесь, разброс в оценках слишком велик, чтобы их безоговорочно принимать на веру.

Попробуем разобраться в сути вопроса. Начнем с констатации одного утверждения, ставшего ныне чрезвычайно популярным: население располагает гигантскими денежными средствами, будто бы достаточными для безбедного праздного существования в течение года или даже большего срока. Эти колоссальные суммы давят на потребительский рынок, и во избежание экономического краха эти деньги надо «связать». Однако нехитрые арифметические подсчеты на основе сводок Госкомстата показывают, что официальные денежные доходы всего населения (зарплата рабочих и служащих, оплата труда колхозников, доходы кооператоров и индивидуалов, пенсии, стипендии, пособия, денежные доходы от личного подсобного хозяйства) после уплаты государственных налогов значительно ниже годового объема розничного товарооборота и платных услуг. Такая ситуация сохраняется как минимум с 1970 г. Вот данные за последние 4 года: в 1986 г. разница составила 34 млрд. руб., в 1987 г. — 35,2 млрд. руб., в 1988 г. — 40,8 млрд. руб., а за 9 месяцев 1989 г. — 30,9 млрд. руб. А как же расчеты наших ведущих экономистов, показывающие обратное? Возьмем, к примеру, выкладки С. Шаталина, опубликованные в журнале «Огонек» № 5 за 1989 г. Во-первых, оперируя общей суммой годовых доходов, он «забывает» вычесть налоги, которые, кстати, в 1987 г. составили 34,2 млрд. руб. Во-вторых, в доходы населения автор почему-то включает средства, находящиеся в облигациях и полисах личного страхования (40,1 млрд. руб.), хотя очевидно, что данная величина сама по себе на динамике благосостояния народа не сказывается. Другое дело, если бы выплаты по облигациям и страховкам значительно превысили бы поступления. Но на практике они примерно компенсируются.

Итак, несмотря на существенную разницу между объемом розничного товарооборота и официальными годовыми доходами, товары на полках не залеживаются, более того, «кто-то», скупая их, вдобавок резко обостряет проблему «дефицита».

Попробуем оценить масштабы «теневой» экономики под иным углом зрения: в то время, когда подавляющее число трудящихся живет от зарплаты до зарплаты, вклады населения в учреждениях Сбербанка СССР стремительно растут: в 1986 г. — на 22 млрд. руб., в 1987 г. — на 24,2 млрд. руб., в 1988 г. — на 30,5 млрд. руб., за девять месяцев 1989 г. — на 25,3 млрд. руб. (включая сумму проданных сертификатов).

Таким образом, два слагаемых: превышение суммы годовых покупок над годовыми доходами и львиная (не менеее 2/3) доля прироста вкладов в сбербанки позволяют определить минимальную границу величины доходов «теневой» экономики (1988 г. — свыше 60 млрд. руб.). Почему минимальную? Дело в том, что пока не приняты во внимание по крайней мере три важнейших обстоятельства, увеличивающих размеры «теневого» богатства: 1) существование, наряду с официальным, огромного «черного» рынка товаров

и услуг; 2) превращение неправедных денег в золото, валюту, недвижимость, а также в функционирующий «теневой» капитал (оборудование, транспорт и т. д.); 3) наличие «горячих» трудовых денег, т. е. неудовлетворенного спроса трудящихся, что означает еще большее увеличение «теневой» квоты на официальном рынке.

Оборот «черного» рынка складывается в первую очередь из реализации контрабандных и привозных товаров, спекуляции товарами из госторговли, сбыта изделий «теневого» производства, а также самогона, наркотиков, похищенной социалистической собственности. Важным элементом является и «теневой» рынок платных услуг.

Снятие таможенных ограничений на ввоз компьютеров, автомобилей, видео... увеличение до 10 млн. ежегодного числа поездок за границу и из-за рубежа способствовали резкому росту масштабов спекуляции контрабандными товарами. Вот некоторые факты. 18 ноября 1989 г. Центральное телевидение сообщило об изъятии у одного «туриста» 39 кг жемчуга, что только по официальным ценам составило 1 млн. 700 тыс. руб. Ввозимые персональные компьютеры приносят их владельцам 35—40 рублей за каждый вложенный доллар. Ежегодно только на территории Львовской области гражданами ПР перепродаются товары на сумму около 1 млрд. рублей («Правда», 10 ноября 1989 г.). По нашему мнению, оборот торговли привозными товарами в целом по стране составляет 15—20 млрд. рублей.

Оборот спекуляции импортным и отечественным «дефицитом» из госторговли оценивается в 15—20 млрд. руб. («Известия», 27 октября 1989 г.). Именно поэтому с годового объема официального розничного товарооборота необходимо снять как минимум 10 млрд. руб., поскольку эти товары, в основном скупаемые оптом прямо с баз, складов, фактически реализуются по полуторной-двойной цене на «черном» рынке.

На наш взгляд, логично предположить, что объем сбыта изделий «теневого» производства, представленного подпольными цехами, заводами, а также выпуском «левой», неучтенной продукции государственных предприятий и колхозов, никак не меньше предыдущих составляющих «черного» рынка, т. е. также равен 15—20 млрд. рублей.

Масштабы такой «отрасли», как самогоноварение, определяются примерно в 30 млрд. руб. («Известия», 27 октября 1989 г.). Известно также, что и прежде на это ежегодно уходило около миллиона тонн сахара в год («Аргументы и факты», 1989, № 42). Предположив, что на продажу идет от 1/3 до 1/2 производимого самогона, получим оборот в 10—15 млрд. рублей.

В нашей стране в настоящее время состоят на учете 130 тыс. лиц, употребляющих наркотические вещества («Аргументы и факты», 1988, № 26). Очевидно, что по крайней мере столько же наркоманов не зарегистрированы официальной статистикой. Недавно сообщено, что только в Ашхабаде ежедневно продается примерно 20 кг наркотиков, что составляет суточную норму 15 тыс. чел. Цена 1 кг терьяка (одной из разновидностей наркотиков) доходит до 160 тыс. руб. («Труд», 28 сентября 1989 г.). По другим сведениям, 1 кг опиума реализуется за 100 тыс. руб. («Известия», 5 сентября 1989 г.). С учетом всех этих данных можно оценить величину годового оборота наркобизнеса — в 15 млрд. рублей.

Ущерб от так называемых «несунов» исчисляется следующим образом: в 1988 г. только в отраслях АПК было задержано около 250 тыс. мелких расхитителей, укравших материальных ценностей на 100 млн. руб. («Правительственный вестник», 1989 г., № 7, с. 11). Учитывая, что в АПК занята примерно 1/3 всех трудящихся, а также в лучшем случае пятипроцентную раскрываемость фактов хищений, выходим на общий размер ущерба более 5 млрд. руб. Известно, что социалистическая собственность главным образом разворовывается не несунами, а, так сказать, по-крупному. По данным МВД СССР, на 4 процента расхитителей приходилось 62 процента всей суммы похищенного («Правда», 23 декабря 1989 г.). Из общего объема похищенного, по нашему мнению, на «черном» рынке реализуется на деньги материальных ценностей на сумму как минимум в 10 млрд. рублей.

Масштаб «теневого» рынка платных услуг оценивается в 10—12 млрд. руб. («Известия», 27 октября 1989 г.). Его составляющие — незарегистрированные услуги, такие, как частный извоз, ремонт автомобилей и квартир, строительство, медицинская помощь, сдача в аренду жилья, репетиторство, и т. д.

Таким образом, после суммирования всех компонентов годовой оборот «черного» рынка составит 90—112 млрд. руб., или около 1/4 от объема рынка официального.

Что касается превращения «теневых» миллиардов в «нетленные» ценности, то прикидки здесь таковы: по мнению специалистов, в «кубышках» сосредоточено около 100 млрд. руб. При нынешних вкладах в сбербанки, превысивших 300 млрд. руб., пропорция между накоплениями неофициальными и официальными примерно равна 1 : 3. Следовательно, при величине прироста вкладов в 30,5 млрд. руб. незарегистрированные накопления составят около 10 млрд. рублей.

Возвращаясь к поставленной ранее проблеме «горячих» денег, отметим тот несомненный факт, что неудовлетворенный спрос подавляющей части трудового населения составляют в основном продукты питания и предметы первой необходимости. Поэтому так называемые «избыточные» деньги 90 с лишним процентов населения, по нашим оценкам, не превышают 10 млрд. руб., что составляет в расчете на одного человека около 40 руб. Принципиально важно отметить отсутствие «горячих» денег у «теневиков». «Сверхпредприимчивые» люди не знают понятия «дефицит», они могут достать все лучшее в любом количестве и без всяких талонов. Их «шикарное» паразитическое потребление, а также перепродажа товаров из госторговли на «черный» рынок являются главными причинами существования неудовлетворенного спроса трудящихся.

Для определения максимального размера «теневых» доходов необходимо сначала суммировать все составляющие расходной части официальной и «теневой» экономики (данные и оценки по состоянию на конец 1988 года): 1) годовой объем розничного товарооборота и платных услуг за вычетом товаров на сумму около 10 млрд. руб., «перекачанных» на «черный» рынок, — 418,2 млрд. руб.; 2) прирост вкладов в сбербанки — 30,5 млрд. руб.; 3) незарегистрированные накопления — около 10 млрд. руб.; 4) «горячие» трудовые деньги — около 10 млрд. руб.; 5) годовой оборот «черного» рынка товаров и услуг — в среднем около 100 млрд. руб. Итого: примерно 560 млрд. руб. А теперь вычтем из этой суммы все официальные денежные доходы населения в размере 387 млрд. руб. Гигантская разница — около 170 млрд. руб.— и есть верхний предел (пока!) ежегодных доходов «теневой» экономики.

ОТКУДА БЕРУТСЯ «НЕПРАВЕДНЫЕ» МИЛЛИАРДЫ?

Частично мы уже ответили на этот вопрос, анализируя оборот «черного» рынка. Правда, теперь нас должен интересовать не оборот, а валовой доход, который меньше первого на сумму материальных затрат. Примерно оценив их величину, получим, что доходы от контрабанды составят 10—15 млрд. руб., спекуляции — 10 млрд. руб. («Известия», 27 октября 1989 г.), самогоноварения — 8—10 млрд. руб., наркобизнеса — 10—12 млрд. руб., «теневого» рынка платных услуг — 7—8 млрд. руб. Хищения социалистической собственности, оценка объема которых будет приведена ниже, войдут в доходы «теневой» экономики целиком, а не только своей реализованной на деньги частью, поскольку на «черном» рынке широко распространена натуральная оплата ворованными материальными ценностями за оказанные услуги, либо прямой товарообмен между расхитителями. Кроме этого, значительная часть похищенного обращается в функционирующий «теневой» капитал.

Особую статью доходов представляют собой так называемые бестоварные операции, в первую очередь между госпредприятиями и кооперативами. Суть комбинации проста: работа зачастую последними не выполняется, а предприятия переводят им деньги, которые затем обращаются в наличные и делятся между соучастниками. Только по Москве таким образом украдено за последнее время более 1 млрд. руб. По признанию самих кооператоров, в столице действует новая «черная» биржа, где наличные деньги обмениваются на безналичные в пропорции 1 : 3 («Аргументы и факты», 1989, № 37). По нашим оценкам, доход от «бестоварных» операций в целом по Союзу составляет не менее 5—10 млрд. руб. в год. С 1 октября 1989 г. государством была сделана попытка перекрыть этот канал. Но новая буржуазия на выдумки хитра! Предприимчивые люди быстро нащупали новую цепочку: безналичные деньги — сертификаты — наличные деньги. Недавно органами ОБХСС пресечена попытка московских кооперативов «Тезей» и «Волга» получить по безналичному расчету в сбербанках ряда центральных областей сертификаты на сумму более 23 млн. руб. с тем, чтобы превратить их затем в звонкую монету («Правда», 23 декабря 1989 г.). На сей раз «дыру» заткнуть удалось. Надолго ли?

Перечисленные источники доходов являются важными, но все же не главными. Гигантской «воронкой», всасывающей народное добро и обращающей его в «теневое» богатство, стала триада: приписки — хищения социалистической собственности — «теневое» производство. Составляющие этого блока настолько тесно срослись, переплелись между собой, что порой их очень трудно разграничить.

Под приписками следует понимать не только завышение объемов производства, но и любое искажение данных о производственных результатах. Именно приписками маскируется большая часть совершаемых в народном хозяйстве хищений, например, в строительстве — около 3/4 («Советская Россия», 18 марта 1987 г.). Приписки осуществляются с целью: 1) прямого хищения денежных сумм; 2) получения незаработанных денег, премий; 3) незаконного списания сырья и материалов.

По сведениям контролирующих органов, приписки составляют 1,5—3 процента к объему производства. По нашему мнению, они значительно больше, причем распределяются неравномерно по регионам и отраслям. Например, в сырьевых отраслях приписки доходят до 25 процентов («Советская Россия», 18 марта 1987 г.). Необходимо также учитывать, что в среднем зафиксировать удается всего около 5 процентов от числа совершаемых хищений. Следовательно, истинный ущерб в 20 раз больше. Но и эти цифры относительны, так как сейчас результативность выявления хищений снизилась в три раза («Аргументы и факты», 1989, № 37). Так что, по самым осторожным оценкам, приписки составляют никак не меньше 4—5 процентов валового общественного продукта, равнявшегося в 1987 г. 1464,5 млрд. руб. («Народное хозяйство СССР в 1987 г.», с. 14), т. е. около 65 млрд. рублей.

Масштабы приписок с целью прямого хищения денежных сумм можно определить хотя бы с помощью данных о государственных дотациях на закупку сельхозпродукции. На эти цели государство ежегодно выделяет 50—60 млрд. руб., из них только на мясо — 20 млрд. руб. Выборочные исследования ВНИИ Прокуратуры СССР показывают, что основная часть этих средств расхищается за счет

разницы высоких закупочных и низких розничных цен. Зачастую продукция заготовляется и продается только «на бумаге» («Аргументы и факты», 1989, № 37). Если учесть к тому же, что более 1/3 сельхозпродукции не доходит до потребителя («Известия», 27 октября 1989 г.), логично будет предположить, что расхищается не меньшая часть государственных дотаций, т. е. порядка 20 млрд. рублей.

В сырьевых отраслях сумма оплаты за непроизведенную работу составляет около 600 млн. руб. в год («Советская Россия», 18 марта 1989 г.), в строительстве, по нашим оценкам, около 1 млрд. руб. С учетом удельного веса и значения этих секторов народного хозяйства объем приписанной зарплаты в целом по стране равен примерно 15 млрд. рублей.

Известно, что в строительстве на каждый рубль зарплаты приходится до 4 рублей сырья и материалов. Таким образом, приписки в оплате труда неизбежно порождают незаконное списание ресурсов и их расхищение.

Хищения социалистической собственности, как покрываемые предварительно приписками, так и прямые, в сумме составляют, по нашим оценкам, не менее 65 млрд. руб. в год. На заседании коллегии Прокуратуры СССР 25 октября 1989 г. отмечалось, что более 1/3 произведенной сельхозпродукции не доходит до потребителя («Известия», 27 октября 1989 г.), что составляет около 70 млрд. руб. Наивно полагать, что 2,4 млн. т мяса и мясопродуктов, 4 млн. т овощей и бахчевых, свыше 8 млн. т картофеля, около 20 млн. т зерна просто пропадают, теряются. Очевидно, что львиная доля, не менее 2/3 этого добра, расхищается. К этим 50 млрд. руб. нужно приплюсовать и такие «мелочи», как хищения бензина — 2,5 млрд. руб., стройматериалов — 3 млрд. руб., кормов в сельском хозяйстве — 3 млрд. руб., недовложения в общепите — 5—6 млрд. руб., обман в торговле — 3 млрд. руб. («Известия», 27 октября 1989 г.).

Совершенно справедливо была подчеркнута Генеральным прокурором СССР А. Я. Сухаревым назревшая необходимость на централизованной вневедомственной основе провести критическую переоценку норм естественной убыли, на которой наживают состояние жулики. Трудовые коллективы, их советы по-прежнему отстранены от решения этих вопросов, зато появился еще один шлюз для злоупотреблений. Предприятия, объединения, переведенные на полный хозрасчет и самофинансирование, недостачу ценностей сверх норм убыли, их порчу могут теперь списывать без установления виновных («Правда», 23 декабря 1989 г.). Лучшего подарка для «теневой» экономики не придумаешь!

Предположив, что минимальная пропорция между приписанной зарплатой и списанными на нее ресурсами равна 1 : 2, получаем сумму хищений материалов, покрываемых приписками, в 30 млрд. руб. Оставшиеся 35 млрд. руб. приходятся на прямые хищения социалистической собственности.

Анализируя оборот «черного» рынка, мы предположили, что объем «теневого» производства не меньше, чем спекуляция контрабандными товарами, т. е. равен 15—20 млрд. руб. при валовом доходе в 10—15 млрд. руб. Многие экономисты считают, что с появлением кооперативов подпольная цеховая деятельность пошла на убыль, поскольку цеховикам, дескать, нет смысла рисковать — лучше платить налоги. Это неверно. «Теневое» производство не может легализоваться в силу незаконного характера источников сырья, материалов, оборудования, получаемых либо через приписки, фальсифицированные списания с госпредприятий, либо через прямые хищения. К тому же этот тип производства основан на эксплуатации наемного труда и в принципе противоположен социалистической экономике.

Таким образом, валовой доход «теневой» экономики составляет 160—180 млрд. руб. в год, а ее ежегодный оборот (т. е. сумма материальных затрат и валового дохода) равняется примерно 210 млрд. руб. 30—50-миллиардный «теневой» фонд возмещения текущих материальных затрат включает, помимо расходов на сырье, закупку товаров с целью перепродажи и т. д., и средства на подкуп аппарата.

В валовом доходе «теневой» экономики, по нашим оценкам, на долю «теневиков» мелкого масштаба, функционирующих в основном в сфере «теневого» рынка платных услуг, мелкой спекуляции, самогоноварения, вместе с приписками по зарплате, приходится около 45—50 млрд. руб. Оставшиеся 120—125 млрд. руб. — это добыча крупных и средних «теневых» предпринимателей — капиталистов, советских буржуа, коротко — совбуров. Из этих колоссальных доходов оплачивается наемный труд, обеспечивается уровень жизни по высшим западным образцам, делаются необходимые накопления, увеличивающие основной «теневой» капитал, размеры которого Т. И. Корягина оценивает в 200—240 млрд. руб. («Московский комсомолец», 22 августа 1989 г.). Мы считаем, что он по крайней мере в два с лишним раза больше, т. е. уже достиг 500 млрд. руб. «Почему 500, а не 600, 800, 1000?» — спрашивают наши оппоненты.

Отвечаем: не исключено, что именно так и обстоит дело. «Теневая» экономика, в отличие от официальной, бурно прогрессирует, и наши оценки позволяют определить лишь минимальную границу достигнутого потенциала. Постараемся ее аргументировать, тем более что Т. И. Корягина нигде не давала развернутого обоснования своих данных. Мы исходим из того, что накопленный капитал «теневой» экономики представлен четырьмя главными компонентами: 1) вкладами в сбербанки для текущего оборота и крупных единовременных деловых затрат; 2) «кубышками», валютой, драгоценностями; 3) недвижимостью; 4) функционирующим капиталом (подпольные цехи, фабрики, технологический транспорт и т. д.). Выйдя на уровень валового дохода в 160—180 млрд. руб., «теневая» экономика накапливает в год как минимум 60—70 млрд. руб., в том числе в значительной мере за счет хищений социалистической собственности, обращаемой в функционирующий капитал. Возражение, что не каждый год был таким «урожайным», существенно. Но тогда необходимо принять во внимание и тот несомненный факт, что «теневая» экономика резко активизировалась в стране без малого 30 лет тому назад (т. е. со времени введения новых денежных знаков). Уже в 70-е годы, как было отмечено выше, ее совокупный потенциал равнялся 70—80 млрд. руб. Нельзя не учитывать и то, что многим «теневикам» перешли по наследству капиталы, сколоченные еще в дореволюционный период, времена нэпа, военные годы. «Кубышки», антиквариат, фамильные драгоценности и т. д. резко подскочили в цене в условиях нынешней инфляции и «тотального дефицита».

«ЛЕВО-РАДИКАЛЫ»: ПОДПОЛЬНОМУ БИЗНЕСУ — ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!»

Со снисходительным отношением к «теневой» экономике, граничащим с ее апологетикой, приходится встречаться все чаще и чаще. Оказывается, сверхрасходы, порожденные нелегальными сверхдоходами, благотворно влияют на уменьшение дефицита госбюджета («Правда», 10 сентября 1989 г.). И вообще, экономически «отмывание» денег гораздо более выгодно государству, чем что-либо другое, поскольку иначе «теневые» бизнесмены промотали бы нажитое «непосильным» трудом, пустив его на водку, наркотики и женщин («Литературная газета», 30 августа 1989 г.). Ну как тут не вспомнить раскритикованную К. Марксом сто с лишним лет тому назад «теорию воздержания» Сениора, объяснявшего происхождение капитала аскетизмом и самоотречением предпринимателей!

А чего стоит тезис о том, что «теневая» экономика имеет неоспоримые заслуги в насыщении потребительского рынка! Утверждать это — все равно что рассматривать людоедство в качестве оптимального способа решения продовольственной проблемы: с одной стороны, сокращается количество едоков, с другой стороны, увеличивается масса продуктов питания.

Нам даже внушают, что «теневая» экономика представляет собой мощный антиинфляционный фактор («Экономические науки», 1989 г., № 8, с. 51). Как же можно всерьез это утверждать, если существуют по крайней мере 3 важнейших фактора, благодаря которым «теневая» экономика раскручивает спираль инфляции: 1) астрономические цены на товары и услуги на «черном» рынке; 2) огромные масштабы перекачки денег из безналичных в наличные в результате бестоварных операций и прочих махинаций; 3) практически безвозвратные многомиллиардные кредиты, предоставленные кооперативам, многие из которых оказались псевдолавочками? Вот лишь два «свежих» примера. Так, кооперативу «Теллур», не имевшему никакой базы для переработки вторсырья, под эту деятельность без всякой проверки был выделен кредит на сумму 188 млн. руб. За выдачу наличных работники банка получили взятки на сумму 160 тыс. рублей.

А в Москве преступная группа в составе председателей ряда посреднических кооперативов, научных сотрудников и специалистов ряда НИИ, используя подложные документы, получила кредит в 32 млн. руб. Эти деньги затем перевели на счета различных кооперативов, с которых преступники успели получить наличными 7 млн. 250 тыс. рублей («Правда», 23 декабря 1989 г.).

Что фактически скрыто за такой трактовкой проблемы? Стремление через легализацию «теневой» экономики создать, во-первых, «советский» средний класс, экономически не зависимый от аппарата, который призван стать главной социальной базой частно-рыночной системы, во-вторых, слой сверхбогатых — маяков социального прогресса. И мы уже видим, как лучи их прожекторов все чаще пробивают толщу тумана над «теневой» экономикой, высвечивая сногсшибательные лимузины, особняки, меха, бриллианты истинных хозяев жизни.

Идея легализации «подпольного капитализма», создания максимально благоприятных условий для деятельности частных предпринимателей — «теневиков» проходит красной нитью через пакет предложений экономистов-радикалов. Исходная посылка примерно такова: проблема не в том, что существуют «теневые» миллиарды. Беда в том, что пока невозможно использовать эти деньги с пользой для общества, а потому надо дать шанс «социально активным» людям заработать и потратить как можно больше.

Отдельные «оазисы» частного предпринимательства уже не устраивают «деловых» людей. Им нужны иные масштабы, соответствующие многомиллиардным капиталам. Под флагом «выравнивания рынка», балансировки платежеспособного спроса и товарного покрытия все настойчивее раздаются призывы не трястись над «так называемой общенародной собственностью», а пустить ее поскорее с молотка. «Нам необходимо, если мы думаем о выравнивании рынка, решиться на продажу земли или по крайней мере на отдачу ее в вечную аренду любому, кто хочет. Это огромный источник выкачивания денег... Все, что можно, пусть государство продает...» — поучает нас Н. Шмелев («Правда», 9 июня 1989 г.). Последнее предложение широко известного экономиста — начать продажу земли в городах, в том числе иностранцам («Известия», 30 октября 1989 г.).

Ему вторит академик О. Богомолов. Государство не погасит свой долг в 150 млрд. руб., если не включит «в товарное

обращение часть превращенных в «общенародную собственность» благ: пустующие или плохо обрабатываемые земли, дома и квартиры, основные фонды некоторых предприятий (особенно мелких и средних), отдельные виды машин, оборудования, строительных материалов» («Известия», 10 сентября 1989 г.).

Понятно, что все эти оговорки насчет характера земель, размера предприятий — не более чем «подслащивание пилюли», постепенная подготовка общественного мнения к необходимости распродажи лучших плодородных почв и крупных заводов. Влажен, кто верует, что наконец-то под сенью возрожденного лозунга Октября «Фабрики — рабочим, земля — крестьянам!» истинными хозяевами народных предприятий, ассоциаций трудящихся станут честные труженики. На крутом повороте экономической реформы их давно поджидают «теневики» — нуворишн, ищущие поприща прибыльного помещения своих капиталов. А до поры до времени их идеологи-экономисты всячески уходят от ответа на «бестактные» вопросы: «Кто сейчас в стране располагает деньгами для покупки плодородных земель? Кто станет вечным (!) хозяином Алазанской долины или южнорусского уникального чернозема — крестьяне или дельцы теневой экономики, скупые с коррумпированными липами из той самой административной системы? И какую они потом установят арендную плату? Какие последствия в социальной жизни повлечет за собой возникновение широкого слоя «своеземцев»?» («Известия», 8 августа 1989 г.).

То же самое произойдет в промышленности в случае перехода к коллективной форме собственности, предполагающей выпуск настоящих (т. е. не именных, а анонимных) акций. Их контрольный пакет в конечном итоге неминуемо окажется в руках немногочисленных «социально активных» граждан, а это будет означать преждевременную кончину едва зародившегося самоуправления трудовых коллективов.

Разве не об этом свидетельствует опыт развитых капиталистических стран, например, США, где 0,25 процента всего населения сосредоточили в своих руках 82 процента совокупного капитала страны, заключенного в облигациях, ценных бумагах, акциях и т. д.?! («Аргументы и факты», 1989, № 27).

Аргументы типа: «теневая» экономика и без акций, а через вклады в сбербанки, облигации 3% займа может получать неменьшие нетрудовые доходы («Вопросы экономики», 1989 г., № 1, с. 62) содержат неразрешенное противоречие в своей основе. Ведь если признается, что проценты по вкладам являются нетрудовыми доходами (а это действительно так), то зачем же предлагать ввести дополнительный вид уже абсолютно нетрудового дохода, когда акционер может жить на дивиденды, не участвуя вообще в производстве? Не логичнее ли отменить выплату процентов? Но уж коль речь все-таки идет о введении акций, то надо честно признать, что они станут «лакомым кусочком» для «теневиков», поскольку: 1) доходы по акциям устойчиво работающих предприятий (а именно в них вложат свои капиталы «советские буржуи») будут значительно, в 2—3 раза выше, чем выплаты на аналогичную сумму вкладов в сбербанки; 2) акции явятся гораздо более надежными, чем текущие счета, помещением капитала на случай денежной реформы. Принципиально важно и то, что широкое распространение акций ведет к коренному изменению отношений собственности. Использование средств, помещенных в сбербанк, не подвластно вкладчику. Акции же, помимо дивидендов, дают их обладателю и право управления, контроля за деятельностью предприятия. Доселе находившийся в подполье предприниматель становится законным собственником со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Ударит по простым труженикам и предлагаемый переход к широкой продаже квартир населению (кстати, на недавно проведенном в г. Чебоксары в порядке эксперимента квартирном аукционе цена однокомнатной квартиры составила свыше 20 тыс. рублей). Никакие клятвы о неприкосновенности существующих исполкомовских очередей здесь не помогут. Состоятельные, а следовательно, и предприимчивые люди, внесшие деньги и посему знающие не только тип, планировку, но и адрес будущего жилья, несомненно, найдут дополнительные средства и способы для обеспечения быстроты и качества работ. При нашем всеобщем дефиците это обязательно приведет к перекачке ресурсов со строительства «бесплатного» жилья на возведение «платного», что подтверждает опыт «взаимовыгодного» сотрудничества госпредприятий и кооперативов в области материально-технического снабжения.

Подлинным «подарком» судьбы будет для «теневиков» планируемая распродажа государственных облигаций с гарантированными пятью процентами годового дохода. Мероприятие, задуманное правительством с целью снижения давления денежной массы на товарный рынок, на самом деле приведет к обратному. Новые ценные бумаги станут наиболее твердым платежным средством и будут циркулировать в обороте вместе с рублями, а нарастающие дивиденды еще больше увеличат избыток купюр. Помимо дополнительных доходов, «теневая» экономика получит еще и надежную гарантию помещенных в облигациях накоплений на случай денежной реформы.

Наши экономические неурядицы, убеждают нас, легко можно решить с помощью срочных иностранных кредитов на 30—40 млрд. инвалютных рублей (примерно столько же мы уже должны) под залог золотого запаса страны. Называют даже имена западных ученых (есть среди них и наши бывшие соотечественники), которые подскажут нам, неумехам, как получше (конечно, с их точки зрения) распорядиться этими деньгами. Общая идея их рекомендаций проста как дважды два: шикарные импортные товары помогут «связать» шальные миллиарды, легально обеспечить подпольным миллионерам западные стандарты потребления.

Что касается конвертируемости рубля, то здесь, помимо очевидных возможностей обращения неправедных денег в твердую валюту и помещения «теневых» капиталов за границу, есть и еще одно обстоятельство, чреватое страшными последствиями для страны: западные специалисты предупреждают нас, что превращение рубля в мировую валюту повлечет за собой резкое увеличение масштабов наркобизнеса, поскольку наш необъятный рынок станет привлекательным для иностранной мафии.

Вполне реальная опасность международной интеграции «теневых» хозяйственных процессов возникает и в случае создания совместных предприятий с капиталистическими странами, особенно в так называемых свободных экономических зонах с их льготным режимом налогообложения и послаблениями трудового законодательства («Экономические науки», 1989 г., № 8, с. 53). О возможных масштабах финансовых махинаций свидетельствует нашумевшее дело о лжесовместном предприятии, куда вошли кооператив «Альков», компания «Эстек» (ФРГ) и фирма «Афро-Араб», созданном с целью обмена миллиардов советских рублей по спекулятивному курсу на доллары. К счастью, «предприниматели» довольно быстро «засыпались» при попытке незаконно обменять один миллиард рублей на 300 млн. долларов, сулившей соучастникам 130 млн. долларов чистой прибыли. Поражает не только размах, но и оперативность мобилизации «теневых» средств — за 3 дня, как было сообщено 27 октября 1989 года в телепрограмме «Взгляд», «Альков» и «Эстек» собрали 127 млн. рублей.

ОНИ НЕ ПРОЙДУТ!

Призыв профсоюзов, объединенного фронта трудящихся Москвы, Ленинграда к борьбе не на жизнь, а на смерть с «теневой» экономикой — не нагнетание страстей, не охота за ведьмами. Указывая на «теневую» экономику как на главного врага перестройки, мы исходим из того, что первая является по сути подпольным капитализмом, противоположным социализму в его ленинском понимании. Если в странах Запада «теневая» экономика по своему типу совпадает с экономикой официальной, не противоречит ей в главном, в основном обостряя лишь проблему налоговых поступлений в госбюджет, то в условиях социализма нелегальное частное предпринимательство в принципе несовместимо с общественной собственностью, является ее антиподом.

Тлетворное влияние «теневого» бизнеса многообразно. В экономическом плане оно проявляется в значительном снижении жизненного уровня трудящихся — величина годового дохода «теневой» экономики приближается к совокупному объему общественных фондов потребления. Неправедные миллиарды совбуров раскручивают спираль инфляции, вынуждают государство прибегать к необоснованной эмиссии. Нетрудовые доходы, существуя в условиях бесхозяйственности и плохой постановки учета, еще более дезорганизуют общественное производство, вносят в него элементы неуправляемости. В особой мере это относится к извлечению нетрудовых доходов путем приписок. Огромные в целом по народному хозяйству приписки распределяются по отраслям и регионам неравномерно, а изменение самой этой неравномерности, как и масштабов приписок, предсказать трудно, что делает практически невозможным составление сбалансированного по ресурсам единого государственного плана, заранее обрекает на неудачу любые меры по повышению эффективности централизованного планирования.

В области морали наблюдается формирование нового типа «героя нашего времени» — человека социально ловкого, «умеющего жить», девиз которого — «деньги не пахнут!». Нельзя закрывать глаза и на политический аспект проблемы. Ведь цель совбуров — создание такой общественно-политической ситуации, когда то, что сегодня преследуется по закону как подпольный бизнес, станет нормальной коммерческой деятельностью — «делом славы, доблести и геройства», а совбуры станут такими же «отцами народа», какими на Западе являются Рокфеллеры, Ротшильды и Ханты. Такая ситуация возникнет, если общественная собственность будет заменена частной, и в таком случае на защите совбуров будет стоять весь государственный аппарат.

Позволить совбурам добиться своих целей — значит ввергнуть страну в пучину господства плутократии, реставрировать капитализм в его худших вариантах — со все более резкой имущественной и социальной дифференциацией общества, размыванием социальной защищенности трудящихся, массовой безработицей, постоянной инфляцией, падением жизненного уровня основной части рабочего класса и других действительно трудящихся слоев населения. Вполне прозрачные намеки на такую перспективу мы уже видим в советской действительности самого последнего времени.

Вот почему мы выступаем решительно против недооценки опасности, грозящей со стороны «теневиков». А нашим оппонентам, например, А. Александрову из «Литературной газеты», как он сам пишет, хочется смеяться, поскольку «никто не собирался и не собирается продавать мафиози основные производственные фонды, которые в СССР оцениваются триллионами рублей, то есть тысячами миллиардов. Слаба кишка у ворочающих «сотнями миллиардов» скупить «фабрики и заводы, газеты и банки» (6 декабря 1989 г.). Все это было бы

смешно, когда бы не было так грустно. Судите сами: основные производственные фонды всех отраслей народного хозяйства составили в 1987 г. 1730,5 млрд. руб., в том числе в промышленности — 841,9 млрд. руб. («Промышленность СССР. Статистический сборник», М., 1988, с. 5). А накопленный капитал «теневой» экономики, как уже отмечалось, равняется 500 млрд. руб. Так ли «слаба кишка» у подпольного бизнеса? Что касается вопроса о распродаже общенародного достояния, то уже приводились высказывания на сей счет ведущих экономистов-радикалов.

Поскольку представленные законопроекты о собственности в СССР фактически льют воду на мельницу «теневой» экономики, мы настаиваем на необходимости проведения всенародного референдума по данному вопросу. Вовсе не случайно в «Литературной газете» рядом с материалом, отрицающим опасность со стороны «подпольного» капитализма, помещена статья с предложением вместо референдума, поскольку это якобы исключительно дорогостоящее занятие, провести социологическую выборку. В таком случае на основании мнения 2—3 тыс. опрошенных будет решена судьба отношений собственности. Вот это «демократия»!

Кризис назрел. Социалистическое отечество в опасности. Что делать? Таковы суровые реалии сегодняшнего дня, лозунги текущего момента. «Теневые» миллиарды, всеми правдами и неправдами перекочевавшие от тех, кто умеет работать, к тем, кто умеет жить, следует не «связывать», а изымать в результате денежной реформы. Сразу оговоримся: реформа не должна ударить по трудовым деньгам. Вот почему предлагается каждому члену общества обменивать один к одному определенную сумму (скажем, 10, 15 или 20 тыс. рублей). Обмен сверх этого предела предполагает заполнение декларации о доходах, представление по требованию финансовых органов доказательств законного происхождения денег. Совершенно ясно, что при таком подходе данная мера никак не ущемит интересы подавляющей части советских людей.

Для многочисленных публицистов и литераторствующих экономистов даже мысль о возможности денежной реформы является крамольной. С трибуны I Съезда народных депутатов Н. Шмелев назвал предложение провести ее «отчаянным» и более вредоносным, чем происки ЦРУ и классовых врагов.

От имени народа противники обмена денег утверждают, что предлагаемая мера страшно непопулярна, что простые люди ожидают ее с подлинным страхом. Но вот письмо рабочего В. Дударева, опубликованное в «Правде». «За последний год я прочел почти все выступления наших известных ученых — кто в лес, кто по дрова. В одном они единодушны: в том, что обмен денег делать нельзя ни в коем случае. Между тем рабочим ясно: эта реформа, если она произойдет, ударит по ворам в государственном масштабе» (4 мая 1989 г.).

Экспресс-опрос по проблеме денежной реформы, проведенный газетой «Труд» среди народных депутатов СССР во время работы II Съезда народных депутатов, позволил выявить основные аргументы против этой действительно радикальной меры («Труд», 16 декабря 1989 г.). Н. Шмелев категорически против реформы, поскольку ничто, по его мнению, не помешает жулику попросить нескольких старушек за определенную мзду обменять его неправедные тысячи на новые деньги. Но задача резко усложняется, если, к примеру, при норме обмена в 15 тыс. руб. у «теневика» при 100-рублевой официальной зарплате накоплен 1 миллион рублей. Где найти необходимых для «операции» 60 с лишним старушек? Где гарантия, что они не присвоят деньги или не сообщат на своего «благодетеля» в компетентные органы вследствие пресловутой болезни «красных глаз»? И в конце концов кто мешает народным депутатам принять соответствующие правовые нормы, предусматривающие жесткие финансовые, а может быть, и уголовные санкции за попытки обмена денег через подставных лиц?

А. Собчак настроен по отношению к обмену денег отрицательно, так как реформу надо было проводить два года назад, а теперь время ушло, поскольку «теневые» капиталы уже вложены в средства производства, кооперативы, совместные предприятия. При угрозе реформы предприимчивые жулики быстро рассредоточат свои деньги, вложат их в недвижимость. Хочется успокоить видного общественного деятеля: реформу проводить еще не поздно.

Доводы о нецелесообразности обмена денег, поскольку неправедные миллиарды уже давно вложены в недвижимость, драгоценности, картины и т. д., весомы лишь на первый взгляд. Жечь дачи и срывать драгоценности, конечно, не следует, а вот всерьез поинтересоваться источниками средств, на которые они приобретены, не мешало бы. Да, «деловые» люди значительную, возможно, большую часть своего богатства превратили в нетленные ценности и валюту. Но при проведении денежной реформы вряд ли целесообразно руководствоваться принципом: «Все или ничего!». Стремительный рост накоплений в сбербанках указывает на наличие огромных сумм в рублях, используемых для текущего оборота. Именно по этому «рублевому» капиталу должна ударить реформа.

«Так кто же будет устанавливать размеры суммы, после которой будет осуществляться неэквивалентный обмен старых денег на новые? — недоумевает академик С. Шаталин. Милиция? МВД? КГБ? Госплан СССР? Минфин? Совет Министров СССР? ЦК КПСС?» («Правда», 4 мая 1989 г.). Странно, почему в длинном перечне вариантов у академика, известного своей приверженностью идее глубочайшей демократизации всей нашей жизни, не нашлось места для всенародного референдума. Почему бы не доверить народу определить размер суммы и порядок проведения обмена.

Бросается в глаза двойственная непоследовательность позиции А. Улюкаева. С одной стороны, чтобы доказать отсутствие «подпольных» миллионеров, он всячески подчеркивает низкий средний размер вклада, равный 1,5 тыс. руб., а с другой стороны, автор горячо протестует против «низкой» 15-тысячной планки для обмена денег «без вопросов».

Конечно, денежная реформа не решит экономических проблем кардинально и навсегда, но на некоторое время (не меньше, чем на полгода) будет резко снижено давление денежной массы на потребительский рынок — из оборота уйдет (при всех ухищрениях совбуров) не менее 100—150 млн. руб., что означало бы ликвидацию дефицита государственного бюджета. (Кстати, вряд ли можно согласиться с мнением академика Л. И. Абалкина, высказанным в передаче Московского телевидения 18 декабря 1989 года, о губительности денежной реформы в условиях дефицита Госбюджета. Как раз наоборот: проведение этого мероприятия и поможет избавиться от этой серьезнейшей «болезни» нашей экономики.)

Но главный смысл реформы — социальный: трудящиеся хорошо чувствуют стремительный рост доходов и хотят «посчитать деньги в чужом кармане», потому что это их, а не чужие деньги, потому что они живут хуже, чем работают.

Именно этот последний тезис вызывает в повествовании А. Улюкаева, по выражению самого автора, особую «насмешливость тона». Предложение заполнить декларацию о доходах, доказывающую их трудовой, законный характер, для обмена денег сверх установленного уровня, он объявляет торжеством принципа презумпции виновности. «Не компетентные органы должны доказывать нетрудовой характер дохода, а мы должны доказать характер трудовой», — возмущается наш оппонент. Но ведь, уважаемый товарищ Улюкаев, если компетентные органы предварительно докажут нетрудовой характер накопленных денег, то, согласитесь, что речь должна идти уже не об их обмене, а об уголовной ответственности их владельца. А что касается презумпции виновности, то никто пока не отменял Указ о борьбе с нетрудовыми доходами, в котором, между прочим, предусмотрено представление декларации при покупках на сумму свыше 10 тыс. руб. И разве серьезно ставить под сомнение необходимость введения такой декларации ссылкой на то, что на Западе существует масса способов утаивания доходов, обхода налогового и финансового контроля?! Или, может быть, следует рекомендовать западным странам отказаться от практики заполнения деклараций?!

Популярность давно отстаиваемой профсоюзами, ОФТ идеи о необходимости денежной реформы, прокладывающей путь не к равенству в бедности, а к реальной возможности обеспечить достойную жизнь всем, нарастает. Недавно к ней присоединились лидеры межрегиональной депутатской группы — Б. Н. Ельцин и Г. Х. Попов, о чем было заявлено с трибуны II Съезда народных депутатов СССР. Но похоже, что «лево-радикалы» лукавят. Вся их концепция перестройки выражает интересы как раз тех, кто боится денежной реформы. Однако, зная о негативной позиции правительства по вопросу обмена денег и будучи уверенными в его неосуществимости в ближайшем будущем, видные политические деятели безбоязненно солидаризировались с популярной в народе мерой, не устояв перед соблазном снять соответствующие «политические сливки».

Следует немедленно осуществить такую общедемократическую меру, как принятие закона о прогрессивном налоге на наследство, что уже имеет место и в социалистических, и в большинстве капиталистических стран. Странно, что ученые, призывающие нас не изобретать велосипед, а копировать чужой опыт хозяйствования, применительно к практике прогрессивного налогообложения, вдруг категорически заявляют обратное. «Можно ли забывать, что источники нашего наследства коренным образом отличаются от накопленного богатства в странах Запада, — восклицает Г. Лисичкин. — Мое наследство — это часть отложенного спроса, часть моей оплаты по труду, а за рубежом — это часть прибавочной стоимости... Поэтому вряд ли нам следует ссылаться на то, что в мире существует налог на наследство. Наш случай качественно иной» («Известия», 9 августа 1989 г.). Во-первых, там, у них, наследство не всегда является частью прибавочной стоимости. У рядового труженика, не имеющего, как правило, сколько-нибудь значительной суммы акций, денежные сбережения, имущество есть накопленная часть заработной платы. Только капиталист, присваивая результаты неоплаченного труда наемных рабочих, аккумулирует прибавочную стоимость и передает ее по наследству в виде функционирующего капитала, ценных бумаг и т. д.

Во-вторых, здесь, у нас, наследство в подавляющем числе случаев не есть часть отложенного спроса. Простые смертные оставляют после себя не отложенный, а неудовлетворенный спрос, мечты о лучшей, более обеспеченной жизни, лейтмотив которых: «Хотеть не вредно». И ребенку понятно, что не отложенный спрос оставили в наследство своим отпрыскам казнокрады и взяточники времен застоя. Многие из них своим уходом из жизни до суда легализовали награбленное, которым теперь на законных основаниях распоряжаются дети.

Напрасно пугают нас, что в результате введения налога на наследство мы породим человека «перекати-поле», без корней и имущества. Человеку, живущему за счет результатов своего труда, эта мера не страшна. Она, как и денежная реформа, отсечет лишь неправедно нажитое. Поскольку средняя советская семья обладает имуществом на сумму примерно 8 тыс. рублей, предлагается ввести прогрессию на наследство с уровня 50 тыс. рублей. Одно дело получить от родствен-

ников дом-развалюху или побитую машину, и совсем другое — миллионное состояние, да еще в конвертируемой валюте.

Аргументы о неэффективности предлагаемых мер борьбы с «теневой» экономикой опровергаются опытом зарубежных стран. Ключевым моментом плана Маршалла, предопределившего быстрое восстановление экономики Западной Европы после второй мировой войны, стала финансовая реформа. Она включала в себя введение прогрессивных налогов на собственность и денежные накопления населения, обмен старых денег на новые (например, в Западной Германии пятнадцать старых рейхсмарок обменивались на одну новую), а также замораживание денежных накоплений граждан на счетах в банках, то есть устанавливалось время, в течение которого владельцы счетов могли пользоваться небольшой долей своих вкладов, через некоторый срок — еще какой-то долей и т. д. Всякое сопротивление финансовой реформе пресекалось. В результате всех мер возникла нехватка наличных денег, спрос и предложение уравновесились, цены стали спускаться, инфляция быстро пошла на убыль. Принципиально важно подчеркнуть, что практически исчезла «теневая» экономика, прекратил существование «черный» рынок («Литературная газета», 15 ноября 1989 г.). И почему бы вдобавок не использовать современный опыт развитых капиталистических стран, например, Франции, где можно открывать только два счета с ограничением верхнего предела, Японии, где подготовлен проект по введению единого счета, или Италии, где банками обязательно регистрируется любая операция на сумму свыше 10 млн. лир (4,5 тыс. руб.), а при внесении крупного вклада наличными обязательна проверка документов, удостоверяющих личность клиента.

Необходимо срочно создать в стране четкий механизм контроля за доходами граждан, который в условиях развития товарно-денежных отношений обеспечил бы надежный заслон сверхдоходам «теневиков». Заслуживает поддержки предложение Минфина СССР о формировании единой государственной налоговой службы и реорганизации финансового контроля. Целесообразно также создать хозрасчетную службу по проведению ревизий, экономических и бухгалтерских экспертиз.

Атака на «теневую» экономику должна идти и через наведение порядка в кооперативном движении, отсечение от него нелегального бизнеса. Необходимо немедленно возродить опыт 20-х годов, когда по инициативе Ф. Э. Дзержинского была создана авторитетная комиссия для выявления и пресечения деятельности подпольных капиталистов и лжекооператоров. Следует гласно, принародно провести срочную инвентаризацию всех 180 тыс. зарегистрированных кооперативов, отделив зерна от плевел. Не нужно закрывать все кооперативы: нашему обществу они требуются для оказания помощи больным и инвалидам, заготовки кормов, разработки заброшенных угольных шахт и т. д. Таким образом, речь идет о том, чтобы, подняв кооперацию с «золотого» дна экономики, направить ее деловитость и предприимчивость на болевые точки народного хозяйства.

Нужно не на словах, а на деле поставить в равные условия госпредприятия и кооперативы по трем ключевым позициям: 1) материально-техническому снабжению, 2) ценообразованию, 3) налогообложению.

Борьба с «теневой» экономикой означает и создание нормальных условий для честного труда, исключающих необходимость ловчить и изворачиваться для того, чтобы заработать. Необходимо в срочном порядке отменить порочную практику «замораживания» зарплаты трудящихся под флагом борьбы за оздоровление финансов. Налицо вопиющая несправедливость. Призывы «всем миром» навалиться на инфляцию на практике оборачиваются тем, что одни, не особенно напрягаясь, получают сверхприбыли, а другие вынуждены приобретать потребительские блага для взвинчивания цен на «замороженную» зарплату. Фонд оплаты должен напрямую зависеть от объема выпускаемой продукции, нужной потребителям. В таком случае каждый полученный рубль «отоварен». А налогообложение пусть регулирует не прирост выплаченной зарплаты, а рациональное соотношение средств, идущих на расширение производства и на оплату труда. А если бы в дополнение к вышесказанному, еще и отказаться в течение первых двух лет XIII пятилетки от всякого повышения норм выработки, снижения расценок и тарифных разрядов, то это дало бы реальную возможность рабочим госпредприятий честно заработать, что создало бы хорошую социально-нравственную обстановку в стране для последующих прорывов на стратегических направлениях экономической перестройки.

Для окончательной, а не временной победы над «теневой» экономикой нам жизненно необходимо сомкнуть экономическую и политическую перестройку, вернувшись к ленинскому пониманию сути Советской власти. Единым собственником средств производства должны стать Советы всех уровней, включая низовое звено — СТК на предприятии. За Советами разных уровней правом закрепляются те или иные правомочия собственника, распределение которых может меняться в зависимости от конкретных исторических условий.

Нельзя реализовать лозунг «Вся власть Советам», лишая их главной власти — экономической, которую те, кто громче всех ратует за советское народовластие, хотели бы передать частным собственникам. Либо вся власть Советам, либо вся власть частным собственникам. И от такой постановки вопроса не уйти.

СКОРЫЙ ПОМОЩНИК И МОЛИТВЕННИК НАШ ОТ МЕЖДОУСОБНОЙ БРАНИ

К ПРОСЛАВЛЕНИЮ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ ТИХОНА

Архиерейский собор Русской Православной Церкви, состоявшийся в Москве в октябре 1989 года, причислил к лику святых Патриарха Московского и всея Руси Тихона.

В феврале 1917 года рухнуло веками созидаемое нашими предками государство. Со времени святого равноапостольного императора Константина Великого отношения между Церковью и христианским государством строились на основе «симфонии», самым чистым образом которой стала идея «священной сугубицы» Царской и Патриаршей властей в Московской Руси в первой половине XVII века. Разрушение ее на соборе 1666 года привело к одностороннему развитию, «разбуханию» государственности и одновременно к политическому и административному порабощению Церкви. Абсолютизм, лишив государство духовного окормления, тем самым подтачивал и ее самое. Но уже к середине XIX века сама же верховная власть начала осознавать тупик, в котором оказалась. В 1905 году Император Николай II был даже готов сам, отказавшись от власти, принять иноческий образ и стать Патриархом всея Руси [1]. Стремлениям к восстановлению полнокровной церковно-государственной «симфонии» в древнеканоническом смысле, но на новом уровне развития цивилизации и техники, осуществиться, однако, не удалось. Главной причиной оказалось более чем двухсотлетнее расцерковление правящих сословий и интеллигенции, приведшее в конечном счете к февральской революции 1917 года. Однако именно 2 марта, в день вынужденного отречения Императора Николая II от престола, в Москве, в селе Коломенском, была явлена чудотворная икона Божией Матери, на которой Царица небеси и земли изображена с атрибутами Русского Царства — скипетром и державой. Икона эта, именуемая Державной, для православного сознания свидетельствует, что история России не окончена, «удерживающий» не отнят, хотя и существует отныне прикровенно, вне видимых государственных форм. В этих условиях начал свою работу Поместный собор Русской Православной Церкви 1917—1918 гг., как бы под скрежет рушащегося царства восстановивший церковную полноту. Главным делом Собора было избрание Патриарха Московского и всея Руси — после двухсотлетнего перерыва освященного и благословленного всей Вселенской Православной Церкви преемства. Вот как описывает избрание Патриарха участник собора князь И. Васильчиков:

«В назначенный день огромный Храм Христа Спасителя был переполнен народом. Вход был свободный. Литургию совершал митрополит Владимир в сослужении многих архиереев. Пел, и пел замечательно, полный хор синодальных певчих. В конце литургии митрополит вынес из алтаря и поставил на небольшой столик перед иконой Владимирской Божией Матери, слева от Царских врат, небольшой ковчег с именами выбранных на Церковном Соборе кандидатов в Патриархи. Затем он встал, окруженный архиереями, в Царских вратах, лицом к народу. Впереди лицом к алтарю стоял протодиакон Успенского собора Розов. Тогда из алтаря вышел старец о. Алексий в черной монашеской мантии, подошел к иконе Богоматери и начал молиться, кладя земные поклоны. В храме стояла полная тишина, и в то же время чувствовалось, как нарастало всеобщее нервное напряжение. Молился старец долго. Затем встал с колен, вынул из ковчега записку и передал ее митрополиту. Тот прочел и передал протодиакону. И вот протодиакон своим знаменитым на всю Москву, могучим и в то же время бархатным басом начал провозглашать многолетие. Напряжение в храме достигло высшей точки. Кого назовет? «...Патриарху Московскому и всея Руси Тихону!» — раздалось на весь храм, и хор грянул многолетие!» [2].

В Троицкое подворье к преосвященному митрополиту Московскому Тихону направилась делегация во главе с митрополитом Вениамином — сообщить об избрании... В ответ новоизбранный Патриарх сказал: «Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано: «Плач, и стон, и горе», и какой свиток должен был съесть пророк Иезекииль. Сколько и мне

[1] См. Алферьев Е. Е. Император Николай II как человек сильной воли. Материалы для составления Жития св. Благочестивейшего Царя-Мученика Николая Великого Страстотерпца. Джорданвилль, 1980, с. 89—93.

[2] «Новый журнал». Нью-Йорк, к 102, 1971, с. 149.

придется глотать слез и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении, и особенно — в настоящую тяжелую годину!» [3]

Святейший Патриарх Тихон (в миру Василий Иванович Белавин) был одним из самых уважаемых иерархов Русской Церкви. Родился он 19 января 1865 года в Торопецком уезде Псковской губернии в семье священника, от юности полюбил церковную службу, имея наклонность к иноческой жизни. Как и водилось в духовном сословии, поступил в семинарию в Пскове. Замечательно, что за глубину суждений, рассудительность, умение находить нужное решение товарищи прозвали его «патриархом». Поистине, юность «рифмуется» со зрелостью и старостью, выявляя человеческую «сродность», предызбранность! Окончив семинарию в 1891 году, Василий Белавин принял постриг с именем Тихона. Небесным покровителем новоначального монаха был избран епископ Тихон Задонский — один из величайших святителей XVIII века. Вскоре рукоположенный в сан иеромонаха, будущий Патриарх был назначен инспектором Холмской семинарии, затем, став архимандритом, — директором семинарии в Казани. С 1897 года — епископ Люблинский, вскоре направлен с миссионерскими целями в Америку. Вернувшись в Россию, в 1905 году был возведен в сан архиепископа и возглавил древнюю Ярославскую епархию, затем епархию Виленскую, где его и застала война. 21 июня (8 июля) 1917 года архиепископ Тихон был избран на Московскую кафедру и удостоен св. Синодом сана митрополита. Одним из трех кандидатов на Патриарший престол он стал в августе того же года.

Церковная деятельность святителя до его избрания Патриархом многогранна и разнообразна, однако главным в ней всегда оставались молитва и пост. В своих политических взглядах святитель Тихон был твердым монархистом, но не «синодалом» — правый путь России он видел в воссоздании «священной сугубицы». Всегда и при любых обстоятельствах святитель считал, что духовно «священство выше царства», и правота его была как бы подтверждена при его возведении на Патриарший престол: из всех патриарших клобуков, примеренных святителем, впору по его голове пришелся только клобук великого обличителя государственного посягательства на церковную свободу Святейшего Патриарха Никона... Твердый политический монархизм и столь же твердая уверенность в к о н е ч н о с т и любой власти на земле — одна из неразрешимых рассудком «антиномий», вместимых только православным сознанием...

5 (18) апреля 1918 года Собор издал определение «О мероприятиях, вызываемых происходящим гонением на Православную Церковь», согласно которому по всей России в день 25 января (ст.ст.) (день убийства митрополита Владимира) или в следующий за этим воскресный день (вечером) должно совершаться молитвенное поминовение всех новомучеников и исповедников Российских, погибших за веру (их к этому времени насчитывались уже тысячи). Это постановление никто не отменял, да и нет в Русской Церкви власти, имеющей силу такой отмены.

Летом этого же года в Екатеринбурге были расстреляны члены императорской семьи. В связи с этим Святейший Патриарх во время проповеди сказал так: «А вот мы, к скорби и к стыду нашему, дожили до того времени, когда явное нарушение заповедей Божиих уже не только не признается грехом, но и оправдывается как законное. Так, на днях совершилось ужасное дело: расстрелян бывший Государь Николай Александрович... Мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его... Пусть за это называют нас контрреволюционерами, пусть заточат в тюрьму, пусть нас расстреливают. Мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к нам будут отнесены слова Спасителя нашего: «Блаженны слышащие Слово Божие и хранящие его» [4].

Важными, поистине судьбоносными для Русской Церкви стали решения о самоуправлении епархий, о невмешательстве Церкви в политику в смысле поддержки той или иной партии и в свою очередь о свободе для церковных чад-мирян примыкать или не примыкать к любому общественному или политическому движению. Эти решения в конечном счете оказались единственно возможными для ведения церковного корабля сквозь «житейское море», сквозь разрушаемый и расщепляемый от империй до атомов мир. Они же сохранили и саму Церковь от разделения в обновленческом расколе. «Разбойничий» «восьмой вселенский собор», по утверждению некой новой религии, «освящающий» преступления, в том числе против России, готовился на 1927 год. Руководить им должны были советские обновленцы, обличаемые Патриархом и верным ему православным епископатом. В качестве подготовки к «восьмому собору» обновленцы пытались ввести в Русской, а затем и во всей Православной Церкви такие «новшества», как замена славянского языка богослужений русским, сокращение служб и «облегчение» постов, второбрачие духовенства и женатый епископат и, самое главное, переход на григорианский календарь. Созыву «собора» помешало только сильное землетрясение в Иерусалиме, где предполагалось устроить это «мероприятие». Потом же новые политические условия — международная напря-

[3] Цит. по Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви. Париж. YMCA-PRESS 1977, с. 33.
[4] Цит. по Уроки тысячелетия христианской жизни. 988—1988. Самиздат, М., 1988. с. 25.

женность, приход к власти в Германии нацистов, «кадровые» изменения в правящем слое СССР и другие сделали созыв «собора» невозможным.

Гражданская война была с самого начала противна христианскому сознанию Патриарха Тихона, и все свои силы отдал он ее предотвращению. Поддержка и благословение Патриархом Белого движения не носила, так сказать, безусловного характера — она касалась тех случаев, когда речь шла о прямой защите храмов и монастырей, а также государственной, территориальной целостности России, ее единства и неделимости. Это, конечно, не означало какого-либо примирения с марксистской идеологией, богоборческой по своей сути. Такая евангельская «неотмирность» в подлинном, не мечтательно-отрешенном, а созидательном смысле, вызывала у невидимых и видимых врагов Церкви поистине бесовскую злобу, такую же, какая описана в житиях святых, принимавших на себя обстояния и нападения врага рода человеческого.

Дважды на Святейшего Патриарха были совершены покушения. Первый раз — 31 мая (13 июня) 1921 г. некой Н. К. Гусевой, с нанесением ножевой раны. Суд признал ее невменяемой и освободил. Второе покушение произошло у Святейшего Патриарха дома 26 ноября (9 декабря) 1924 года. Вечером, в 11 часов, у Святейшего находился его келейник Яков Сергеевич Полозов. Внезапно кто-то снаружи отпер ключом дверь, и двое неизвестных вошли в патриаршие комнаты. Один из них остановился на пороге, другой, держа руку в кармане брюк, направился к Патриарху. Яков Сергеевич бросился наперерез, загородив тело Патриарха своим. Раздался выстрел, и Яков Сергеевич упал на пол. Однако, вместо того чтобы прикончить и Патриарха, убийцы совершенно неожиданно в панике кинулись обратно в переднюю, причем один из них почему-то стащил с вешалки шубу. Святейший Патриарх с криком: «Вернитесь! Вернитесь! Вы человека убили!» — бросился за преступниками, которые быстро скрылись. Когда Патриарх вернулся и склонился над телом своего «собинного друга», он увидел, что пуля пронзила его навылет... Похоронен Яков Сергеевич в Донском монастыре, рядом с усыпальницей Патриарха, на могиле его всегда свечи, цветы, кутья, пасхальные яйца...

Незадолго до смерти Святейший Патриарх Тихон провел 38 дней в ГПУ, где от него требовали раскаяния в прежней «антисоветской деятельности». Заявления, которые от него требовали, святитель сделал, хотя и в смягченной форме, одновременно указав на главную опасность для Православия — обновленческий раскол. Сделано это было во имя спасения православной иерархии и мирян, дабы предотвратить гибельный союз между властью и теми, кто готовил «нечестивый собор». Важно было и предотвратить новые междоусобные кровопролития. Так это и было воспринято церковным народом. Вообще в православном пастырстве предусматриваются два пути — акривии и икономии. Первый — строгое, точное исполнение всех канонических правил с предельной твердостью. Второй путь допускает частичные, не нарушающие догматической чистоты, уступки во имя милосердия к людям и сохранения основ веры. Святые отцы первых веков сами выбрали и благословили оба пути. В последний год жизни Святейший Патриарх Тихон, умудренный постом и молитвой, встал на путь икономии. Это было нужно ради сохранения самой Церкви, непрерывности совершаемых ею таинств. Церковное сознание начала нашего столетия стояло на твердой уверенности в будущем торжестве Православной Церкви последних времен — Филадельфийской, то есть «братолюбивой» Церкви, перед которой преклонится и остаток из исконных врагов ее. В 1934 году ученик Патриарха Тихона митрополит Кирилл (Смирнов), живший в глубоком подполье, говорил: «Филадельфийская Церковь — это не мы, а те, которые будут после нас» [5].

25 марта (7 апреля) 1925 года Святейший Патриарх Московский и всея России Тихон скончался. Он был похоронен в Донском монастыре при огромном стечении православного народа со всей России. Русская Православная Церковь, лишившаяся своего законного канонического первоиерарха, вступала в длительную полосу бед и нестроений, новых, страшных гонений, казней и насилий. Но это уже иная страница в истории русской и мировой смуты.

Сегодня Православная Церковь, являясь «столпом и утверждением истины», по-прежнему расколота по политическим причинам на Патриаршую Церковь и Русскую Православную Церковь за рубежом (так называемую «карловацкую»). Вновь маячит призрак обновленчества — через «экуменическое движение», «богословие мира» и «богословие революции»... Казенный атеизм уже сейчас, по сути, отброшен «за негодностью». Ведется работа по созданию «религии будущего», включающую масонство, оккультизм, астрологию, новоязычество и прямое противохристианство. Велика, чрезвычайно велика опасность соединения «нового политического мышления» (положительного само по себе, вне религиозного контекста) со всем этим мнимо-духовным «разлитием» (по словам Конст. Леонтьева), соединения, подготавливаемого под видом неких «общечеловеческих ценностей».

С другой стороны, внутри нашей страны растет опасность новой яростной вспышки гражданской войны, которая, на самом деле никогда и не кончалась, ибо никогда не было в стране общенационального примирения и покаяния. И все же пока сохраняется свободная воля людей, способных к покаянию, будет сохра-

[5] См. Регельсон Л. Указ. соч. с. 560.

няться и «удерживающий», как это и было указано явлением Державной иконы. Возможно при нашей доброй воле и возрождение нашей земной Родины, но только через возрождение Православия. По вере Церкви, у Бога нет мертвых, но все живые, а прославленные святые имеют сугубую силу помогать своим меньшим братьям на земле; и в этом смысле святитель Тихон — наш первый молитвенник и скорый помощник от междоусобной брани и гражданской войны. Вспомним возобновление широкого поклонения благоверному князю Даниилу Московскому, открывшееся в конце 70-х — начале 80-х в связи с восстановлением Свято-Даниилова монастыря. Именно в эти годы опасность внешней войны возросла, да она, собственно, уже и началась в Афганистане. Ко преподобному князю обращались: «Моли Христа Бога державе Российской даровати мир», и мир был дарован. И вот сегодня возносятся в русских храмах молитвы к иному святому, все силы свои положившему на предотвращение и прекращение войны внутренней, гражданской. И помощь угодника Божия не может не подоспеть. Но без нашего «соработничества» и она тщетна. Свидетельством действительного духовного выздоровления страны, ее опамятования стало бы общенародное и церковное прославление всех новомучеников и исповедников Российских, начиная с Царской Семьи. Именно это и разорвет «кащееву цепь». Это же и послужит началом воссоединения разрозненных звеньев единой Церкви Российской. А пока что внимательно вчитаемся в тропарь новопрославленному святому земли Русской: «АПОСТОЛЬСКИХ ПРЕДАНИЙ РЕВНИТЕЛЯ И ХРИСТОВЫ ЦЕРКВЕ ПАСТЫРЯ ДОБРАГО, ДУШУ СВОЮ ЗА ОВЦЫ ПОЛОЖИВШАГО, ЖРЕБИЕМ БОЖИИМ ИЗБРАННОГО ВСЕРОССИЙСКОГО ПАТРИАРХА ТИХОНА ВОСХВАЛИМ И К НЕМУ С ВЕРОЮ И УПОВАНИЕМ ВОЗОПИИМ: ПРЕДСТАТЕЛЬСТВОМ СВЯТИТЕЛЬСКИМ КО ГОСПОДУ ЦЕРКОВЬ РУССКУЮ В ТИШИНЕ СОБЛЮДИ, РАСТОЧЕННАЯ ЧАДА ЕЯ ВО ЕДИНО СТАДО СОБЕРИ, ОТСТУПИВШИЯ ОТ ПРАВЫЯ ВЕРЫ К ПОКАЯНИЮ ОБРАТИ, СТРАНУ НАШУ ОТ МЕЖДОУСОБНЫЯ БРАНИ СОХРАНИ И МИР БОЖИЙ ЛЮДЯМ ИСПРОСИ».

Владимир КАРПЕЦ.

Примечание ред.:

После разгрома партии нестяжателей в XVI в. государство все активней прибирало Церковь к рукам, хотя время от времени Церковь и добивалась определенных уступок. При слабой царской власти молодого Михаила Романова и тяжелых последствиях Смуты патриарх Филарет (1619—1633), отец царя, делал послабления для Церкви. Патриарх Никон (1652—1666) попытался даже поставить Церковь выше царства. Попытка эта не удалась. В 1721 году патриаршество было заменено Синодом, через который происходило огосударствление управления Церковью. На соборе 1666 года была проведена дискуссия по формуле, соответствующей византийскому идеалу «премудрой двоицы»: «царь имеет преимущество в делах гражданских, а Патриарх — в церковных, дабы таким образом сохранилась целою и непоколебимою вовек стройность церковного учреждения». Но царь Алексей Михайлович, будучи сторонником формулы «царская власть выше церковной», не утвердил итогов дискуссии. В середине XIX века, рассматривая вопрос о соотношении властей, Хомяков доказывал, что никакого канонического и догматического обоснования доктрина «священного» союза самодержавия и православия не имеет. «Я очень знаю, — писал он, — что Церковь любит порядок и молит Бога о даровании мира и спокойствия всему миру, но знаю и то, что, воздавая Кесарево Кесарю, она отнюдь и никогда не принимала на себя поручательство за вечность Империи». Подобное понимание проблемы обнаружил и вновь избранный Патриарх возрожденного в 1917 г. в России патриаршества Тихон, призвавший в июле 1923 года священнослужителей и мирян «являть примеры повиновения существующей гражданской власти, в согласии с заповедями Божиими».

13/26 окт. 1918.

Послание Патриарха Тихона Советудивя Народных Комиссаров

«Все, взявшие меч, мечом погибнут»
(Мф. 26. 52).

Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите в руках своих государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции. Но реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и вынуждает нас сказать вам горькое слово правды.

Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как исполнили эти обещания?

Поистине, вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7, 9-10). Народу, изнуренному кровопролитной войною, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».

От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру, унизительные условия которого даже вы сами не решались обнародовать полностью? Вместо аннексий и контрибуций великая наша Родина завоевана, умалена, расчленена, и в уплату наложенной на нее дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото.

Вы отняли у воинов все, за что они прежде доблестно сражались. Вы научили их, недавно еще храбрых и непобедимых, оставить защиту Родины, бежать с полей сражения. Вы угасили в сердцах воодушевлявшее их сознание, что «больше сея любве никто же имать, да кто душу свою положит за други своя» (Ин. 15, 13). Отечество вы подменили бездушным интернационалом, хотя сами отлично знаете, что, когда дело касается защиты отечества, пролетарии всех стран являются верными его сынами, а не предателями.

Отказавшись защитить Родину от внешних врагов, вы, однако, беспрерывно набираете войска.

Против кого вы их ведете?

Вы разделили весь народ на враждующие между собою станы и ввергли его в небывалое по жестокости братоубийство. Любовь Христову вы открыто заменили ненавистью и, вместо мира, искусственно разожгли классовую вражду. И не предвидится конца порожденной вами войне, так как вы стремитесь руками русских рабочих и крестьян поставить торжество призраку мировой революции.

Не России нужен был заключенный вами позорный мир с внешним врагом, а вам, задумавшим окончательно разрушить внутренний мир. Никто не чувствует себя в безопасности; все живут под постоянным страхом обыска, грабежа, выселения, ареста, расстрела. Хватают сотнями беззащитных, гноят целыми месяцами в тюрьмах, казнят смертью, часто без всякого следствия и суда, даже без упрощенного, вами введенного суда. Казнят не только тех, которые перед вами в чем-либо провинились, но и тех, которые даже перед вами заведомо ни в чем не виновны, а взяты лишь в качестве «заложников», этих несчастных убивают в отместку за преступления, совершенные лицами не только им не единомышленными, а часто вашими же сторонниками или близкими вам по убеждению. Казнят епископов, священников, монахов и монахинь, ни в чем невинных, а просто по огульному обвинению в какой-то расплывчатой и неопределенной «контрреволюционности». Бесчеловечная казнь отягчается для православных лишением последнего предсмертного утешения — напутствия Св. Тайнами, а тела убитых не выдаются родственникам для христианского погребения.

Не есть ли все это верх бесцельной жестокости со стороны тех, которые выдают себя благодетелями человечества и будто бы сами когда-то много потерпели от жестоких властей.

Но вам мало, что вы обагрили руки русского народа его братскою кровью: прикрываясь различными названиями — контрибуций, реквизиций и национализаций, — вы толкнули его на самый открытый и беззастенчивый грабеж. По вашему наущению разграблены или отняты земли, усадьбы, заводы, фабрики, дома, скот, грабят деньги, вещи, мебель, одежду. Сначала под именем «буржуев» грабили людей состоятельных, потом, под именем «кулаков», стали грабить более зажиточных и трудолюбивых крестьян, умножая, таким образом, нищих, хотя вы не можете не сознавать, что с разорением великого множества отдельных граждан уничтожается народное богатство и разоряется сама страна.

Соблазнив темный и невежественный народ возможностью легкой и безнаказанной наживы, вы отуманили его совесть, заглушили в нем сознание греха; но какими бы названиями ни прикрывались злодеяния — убийство, насилие, грабеж всегда останутся тяжкими и вопиющими к Небу об отмщении грехами и преступлениями.

Вы обещали свободу...

Великое благо — свобода, если она правильно понимается, как свобода от зла, не стесняющая других, не переходящая в произвол и своеволие. Но такой-то свободы вы не дали: во всяческом потворстве низменным страстям толпы, в безнаказанности убийств, грабежей заключается дарованная вами свобода. Все проявления как истинной гражданской, так и высшей духовной свободы человечества подавлены вами беспощадно. Это ли свобода, когда никто без особого разрешения не может провезти себе пропитание, нанять квартиру, когда семьи, а иногда население целых домов, выселяются, а имущество выкидывается на улицу, и когда граждане искусственно разделены на разряды, из которых некоторые отданы на голод и разграбление? Это ли свобода, когда никто не может высказать открыто свое мнение, без опасения попасть под обвинение в контрреволюции? Где свобода слова и печати, где свобода церковной проповеди? Уже заплатили своею кровью мученичества многие смелые церковные проповедники; голос общественного и государственного осуждения и обличения заглушен; печать, кроме узко большевистской, задушена совершенно.

Особенно больно и жестоко нарушение свободы в делах веры. Не проходит дня, чтобы в органах вашей печати не помещались самые чудовищные клеветы на Церковь Христову и ее служителей, злобные богохульства и кощунства. Вы глумитесь над служителями алтаря, заставляете епископов рыть окопы (епископ Тобольский Гермоген) и посылаете священников на грязные работы. Вы наложили свою руку на церковное достояние, собранное поколениями верующих людей, и не задумались нарушить их посмертную волю. Вы закрыли ряд монастырей и домовых церквей, без всякого к тому повода и причины. Вы заградили доступ в Московский Кремль — это священное достояние всего верующего народа. Вы разрушаете исконную форму церковной общины — приход, уничтожаете братства и другие церковно-благотворительные просветительные учреждения, разгоняете церковно-епархиальные собрания, вмешиваетесь во внутреннее управление Православной Церкви. Выбрасывая из школ священные изображения и запрещая учить в школах детей вере, вы лишаете

их необходимой для православного воспитания духовной пищи.

«И что еще скажу. Не достанет мне времени» (Евр. XI, 32), чтобы изобразить все те беды, какие постигли Родину нашу. Не буду говорить о распаде некогда великой и могучей России, о полном расстройстве путей сообщения, о небывалой продовольственной разрухе, о голоде и холоде, которые грозят смертью в городах, об отсутствии нужного для хозяйства в деревнях. Все это у всех на глазах. Да, мы переживаем ужасное время вашего владычества, и долго оно не изгладится из души народной, омрачив в ней образ Божий и запечатлев в ней образ зверя. Сбываются слова пророка — «Ноги их будут ко злу и они спешат на пролитие невинной крови, мысли их — мысли нечестивые, опустошения и гибель на стезях их» (Ис. 59, 7).

Мы знаем, что Наши обличения вызовут в вас только злобу и негодование и что вы будете искать в них лишь повода для обвинения Нас в противлении власти, но чем выше будет подниматься «столп злобы» вашей, тем вернейшим будет оно свидетельством справедливости Наших обличений.

Не Наше дело судить о земной власти, всякая власть, от Бога допущенная, привлекла бы на себя Наше благословение, если бы она воистину явилась «Божиим слугой» на благо подчиненных и была «страшная не для добрых дел, а для злых» (Рим. XIII, 34). Ныне же к вам, употребляющим власть на преследование ближних, истребление невинных, простираем Мы Наше слово увещания: отпраздднуйте годовщину своего пребывания у власти освобожденнем заключенных, прекращением кровопролития, насилия, разорения, стеснения веры; обратитесь не к разрушению, а к устроению порядка и законности, дайте народу желанный и заслуженный им отдых от междоусобной брани. А иначе взыщется от вас всякая кровь праведная, вами проливаемая (Лук. XI, 51) и от меча погибнете сами вы, взявшие меч (Мф. XXVI, 52).

Тихон
Патриарх Московский и всея России.

Томск. Еп. Вед.,
1919, № 13—14.

8/21 июля 1919

Послание Патриарха Тихона чадам Православной Российской Церкви

Божиею Милостью Мы, смиренный Тихон, Патриарх Московский и всея России, всем верным чадам Святой Православной Российской Церкви.

Господь не перестает являть милости Свои Православной Русской Церкви. Он дал Ей испытать Себя и проверить Свою преданность Христу и Его заветам не во дни только внешнего Ее благополучия, а и во дни гонений. День ото дня прилагаются Ей новые испытания. День ото дня все ярче сияет Ее венец. Многажды беспощадно опускается на Ее, озаренный смирением лик, бич от враждебной Христу руки и клеветнические уста поносят Ее безумными хулами, а Она, по-апостольски — в тщету вменяет горечь Своих страданий, вводит в сонм небожителей новых мучеников и находит утеху для Себя в благословении Своего небесного Жениха: Блаженны вы, когда вас будут поносить и гнать и всячески злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь (Мф. 5, 11).

Чадца Мои! Пусть слабостью кажется иным эта Святая незлобивость Церкви, эти призывы наши к терпеливому перенесению антихристианской вражды и злобы, это противопоставление испытаниям и обычной человеческой привязанности к благам земли и удобствам мирской жизни христианских идеалов; пусть «невместимо» и «жестоко» кажется омирщенному пониманию радость, черпающая себе источник в страданиях за Христа, — но Мы умоляем вас, умоляем всех Наших Православных чад, не отходить от этой единственно спасительной настроенности христианина, не сходить с пути крестного, ниспосланного Нам Богом, на путь восхищения мирской силы или мщения. Не омрачайте подвига своего христианского возвращением к такому пониманию защиты благополучия, которое бы унизило Ее и принизило бы вас до уровня действий Ее хулителей. Убереги, Господи, нашу Православную Русь от такого ужаса.

Трудная, но и какая высокая задача для христианина сохранить в себе великое счастье незлобия и любви и тогда, когда ниспровергнут твой враг, и когда угнетенный страдалец призывается изречь свой суд над недавним своим угнетателем и гонителем. И Промысл Божий уже ставит пред некоторыми из чад Русской Православной Церкви это испытание. Зажигаются страсти. Вспыхивают мятежи. Создаются новые и новые лагери. Разрастается пожар сведения счетов. Враждебные действия переходят в человеконенавистничество. Организованное взаимоистребление — в партизанство, со всеми его ужасами. Вся Россия — поле сражения! Но это еще не все. Дальше еще ужаснее. Доносятся вести о еврейских погромах, избиение племени, без разбора возраста, вины, пола, убеждений. Озлобленный обстоятельствами жизни человек ищет виновников своих неудач и, чтобы сорвать на них свои обиды, горе и страдания, размахивается так, что под ударом его ослепленной жаждой мести руки падает масса невинных жертв. Он слил в своем сознании свои несчастья с злой для него деятельностью какой-либо партии и с некоторых перенес свою озлобленность на всех. И в массовой резне тонут жизни вовсе непричастных причинам, проливших такое озлобление.

Православная Русь, да идет мимо тебя этот позор. Да не постигнет тебя это проклятие. Да не обагрится твоя рука в крови, вопиющей к Небу. Не дай врагу Христа, диаволу, увлечь тебя страстию отмщения и посрамить подвиг твоего исповедничества, посрамить цену твоих страданий от руки насильников и гонителей Христа. Помни: погромы — это торжество твоих врагов. Помни: погромы — это бесчестие для тебя, бесчестие для Святой Церкви! Для христианина идеал — Христос, не извлекавший меча в Свою защиту, утихомиривший сынов грома, на кресте молившийся за Своих врагов. Для христианина путеводный светоч — завет св. Апостола, много претерпевшего за своего Спасителя и смертью запечатлевшего преданность Ему: не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию. Ибо сказано: Мне отмщение и Я воздам, говорил Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты соберешь на голову его горящие угли (Рим. 12, 19).

Мы не говорим уже о том, что пролитая кровь всегда взывает к новой крови. И отмщение — к новому возмездию. Строительство на вражде — строительство на вулкане. Взрыв — и снова царство смерти и разрушения. Наша боль — боль за светлость и счастья Нашей Святой Церкви, Наших чад. Наши опасения — что некоторых из них может прельстить этот новый, уже показывающий зияющую пасть зверь, исходящий из бездны клокочущего страстями сердца человеческого. Одним порывом мщения навсегда запятнаешь себя, христианин, и вся светлая радость нынешнего твоего подвига — страдания за Христа — померкнет, ибо где тогда дашь ты место Христу.

Мы содрогаемся, читая, как Ирод, ища погубить Отроча, погубил тысячи младенцев. Мы содрогаемся, что возможны такие явления, когда при военных действиях один лагерь защищает передние свои ряды заложниками из жен и детей противного лагеря. Мы содрогаемся варварству нашего времени, когда заложниками берутся в обеспечение чужой жизни и неприкосновенности. Мы содрогаемся от ужаса и боли, когда после покушений на представителей нашего современного правительства в Петрограде и Москве, как бы в дар любви им и в свидетельство преданности, и в искупление вины злоумышленников, воздвигались целые курганы из тел лиц, совершенно непричастных к этим покушениям, и безумные эти жертвоприношения приветствовались восторгом тех, кто должен был остановить подобные зверства. Мы содрогались — но здесь эти действия шли там, где не знают или не признают Христа, где считают религию опиумом для народа, где христианские идеалы — вредный пережиток, где открыто и цинично вовводится в насущную задачу истребление одного класса другим и междоусобная брань.

Нам ли, христианам, идти по этому пути. О, да не будет! Даже если бы сердца наши разрывались от горя и утеснений, наносимых нашим религиозным чувствам, нашей любви к родной земле, нашему временному благополучию, даже если бы чувство наше безошибочно подсказывало нам, кто и где наш обидчик. Нет, пусть нам наносят кровоточащие раны, чем нам обратиться к мщению, тем более погромному, против наших врагов, или тех, кто кажется нам источником наших бед. Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему. Не поддавайтесь искушению. Не губите в крови отмщения и свою душу. Не будьте побеждены злом. Побеждайте зло добром (Рим. 12, 21).

Чадца Мои! Все Православные русские люди! Все христиане! Когда многие страдания, обиды и огорчения стали бы навевать вам жажду мщения, стали бы проталкивать в твои, Православная Русь, руки меч для кровавой расправы с теми, кого считала бы ты своим врагом, — отбрось далеко так, чтобы ни в минуты самых тяжких для тебя испытаний и пыток, ни в минуты твоего торжества, никогда-никогда рука твоя не потянулась бы к этому мечу, не умела бы и не хотела бы нести его.

О, тогда воистину подвиг твой за Христа в нынешние лукавые дни перейдет в наследие и научение грядущим поколениям, как лучший завет и благословение: что только на камени сем — врачевания зла добром — созиждется нерушимая слава и величие нашей Святой Православной Церкви в русской земле, и неуловимо даже для врагов будет Святое имя Ее и чистота подвига Ее чад и служителей.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, братие. Аминь (Гал. 16, 18).

ЧС-1

Послание Святейшего Патриарха Тихона к архипастырям Русской Церкви

Многократно с церковной кафедры обращались Мы к верующим со словом пастырского назидания о прекращении и распрей и раздоров, породивших на Руси кровавую международную брань, но и доныне эта брань не прекращается и кровь обильным потоком льется по всему обширному пространству русской земли, взаимная вражда между борющимися сторонами все больше и больше разгорается, все чаще и чаще проявляется в жестоких кровавых расправах на только над теми, кто принимал непосредственное и деятельное участие в этой борьбе, но и над теми, кто только подозревается в таковом участии, иногда и без достаточных к тому оснований.

Если ужасы кровавой расправы враждующих между собой лагерей не могут не производить гнетущего впечатления на сердце каждого христианина, то неизмеримо более тягостное впечатление производят эти ужасы тогда, когда жертвами их делаются нередко неповинные люди, непричастные к этой страстной политической борьбе.

Не мимо идут эти ужасы и нас, служителей Церкви Христовой, и много уже и Архипастырей, и пастырей, и просто клириков сделались жертвами кровавой политической борьбы. И все это, за весьма, быть может, немногими исключениями, только потому, что мы, служители и глашатели Христовой Истины, подпали под подозрение у носителей современной власти в скрытой контрреволюции, направленной, якобы, к ниспровержению Советского строя. Но Мы с решительностью заявляем, что такие подозрения несправедливы: установление той или иной формы правления не дело Церкви, а самого народа. Церковь не связывает себя ни с каким определенным образом правления, ибо таковое имеет лишь относительное историческое значение.

Говорят, что Церковь готова, будто бы, благословить иностранное вмешательство в нашу разруху, что она намерена звать «варягов» прийти помочь нам наладить наши дела... Обвинение голословное, неосновательное: Мы убеждены, что никакое иноземное вмешательство, да и вообще никто и ничто, не спасет России от нестроения и разрухи, пока Правосудный Господь не преложит гнева Своего на милосердие, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв своих, а через то не «возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в справедливости и святости истины» (Ефес. 4, 24).

Указывают на то, что при перемене власти служители Церкви иногда приветствуют эту смену колокольным звоном, устроением торжественных богослужений и разных церковных празднеств. Но если это и бывает где-либо, то совершается или по требованию самой новой власти, или по желанию народных масс, а вовсе не по почину служителей Церкви, которые по своему сану должны стоять выше и вне всяких политических интересов, должны памятовать канонические правила Святой Церкви, коими она возбраняет своим служителям вмешиваться в политическую жизнь страны, принадлежать к каким-либо партиям, а тем более делать богослужебные обряды и священнодействия орудием политических демонстраций.

Памятуйте, отцы и братия, и канонические правила и завет св. Апостола: «блюдите себя от творящих распри и раздоры», уклоняйтесь от участия в политических партиях и выступлениях, «повинуйтесь всякому человеческому начальству» в делах мирских (I Петр. 2, 13), не подавайте никаких поводов, оправдывающих подозрительность Советской власти, подчиняйтесь и ее велениям, ибо Богу, по апостольскому наставлению, должно повиноваться более, чем людям (Деян. 4, 19; Галат. 1, 10).

Посвящайте все свои силы на проповедь Слова Божия, истины Христовой, особенно в наши дни, когда неверие и безбожие дерзновенно ополчились на Церковь Христову, и Бог любви и мира да будет со всеми вами. Аминь (2 Кор. 13, 11).

Распоряжения Высшей Церк. Власти, № 21—22, Вятка, 1919 (ЧС-1).

Обращение Патриарха Тихона к Председателю ВЦИК М. И. Калинину

...Изложив здесь то, в чем мне было отказано в заседании суда, я, во-первых, на основании постановления VI Всероссийского съезда Советов требую точного соблюдения касающихся религиозной свободы законов, содержащихся в Конституции и в декретах РСФСР, а во-вторых, настаиваю на отводе в предстоящем расследовании «моей деятельности» «в связи с выяснившимися на суде обстоятельствами...», «указывающими на спекуляцию свечами», от функций следователя Шпицберга, как лица, производящего следствие и допросы «с пристрастием», что ярко выяснилось из предыдущих церковных процессов (дело Самарина, дело архиепископа Палладия, дело иеромонаха Досифея и игуменьи Серафимы), и не обладающего требуемыми от судьи и следователя элементарными качествами в отношении справедливости, беспристрастия, спокойствия, знания права и т. д., и, наконец, как человека, публично оскорбляющего религиозные верования, открыто глумящегося над религиозно-обрядовыми действиями, печатно в предисловии к книге «Религиозная язва» (1919 г.) называющего Христа ужасными именами, а потому и нравственно претящего моему религиозному чувству.

9 августа 1920 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО СОВНАРКОМА ОТ 3 СЕНТЯБРЯ 1920 г.

Малый Совнарком в заседании от 2 сентября 1920 г., заслушав жалобу патриарха Тихона на VIII отдел Наркомюста, постановил: оставить жалобу гр. Белавина (патриарха Тихона) без последствий.

ПИСЬМО М. И. КАЛИНИНА П. А. КРАСИКОВУ

Уважаемый тов. Красиков.

Не входя в оценку тона заявления патриарха Тихона, которое я присылаю Вам для ознакомления, я думаю, что тов. Шпицберга необходимо на самом деле, из соображений практически-политических (аудитория на суде будет, вероятно, в большинстве православная), заменить кем-нибудь другим. Этим самым духовные круги будут лишены возможности главного довода насчет национальной мести и проч.

Что касается судебного процесса, то Вы согласитесь со мной, что агитационная цель будет достигнута тем в большей степени, чем слабее будет карательная и сильнее разоблачительная сторона.

С коммунистическим приветом
Председатель ВЦИК М. И. Калинин
20 сентября 1920 г.

Воззвание Патриарха Тихона

Леденящие душу ужасы мы переживаем при чтении известий о положении голодающих: «Голодные не едят уже более суррогатов, их давно уже нет». Падаль для голодного населения стала лакомством, но этого лакомства нельзя уже более достать. По дорогам и оврагам, в снегу находят десятки умерших голодных. Матери бросают своих детей на мороз. Стоны и вопли несутся со всех сторон. Доходит до людоедства. Убыль населения от 12 до 25%. Из тринадцати миллионов голодающего населения только два миллиона получают продовольственную помощь («Известия ВЦИК Советов», № 5, 22 с. г.).

Необходимо всем, кто только может, прийти на помощь страдающему от голода населению.

Получив только на днях утверждение Центральной Комиссии помощи голодающим при ВЦИК Положение о возможном участии духовенства и церковных общин в деле оказания помощи голодающим, мы вторично обращаемся ко всем, кому близки и дороги заветы Христа, с горячею мольбою об облегчении положения голодающих.

Вы, православные христиане, откликнулись своими пожертвованиями на голодающих на первый наш призыв.

Бедствие голода разрослось до крайней степени. Протяните же руки свои на помощь голодающим братьям и сестрам и не жалейте для них ничего, деля с ними и кусок хлеба и одежду по заветам Христа. Учитывая тяжесть жизни для каждой отдельной христианской семьи вследствие истощения средств их, мы допускаем возможность духовенству и приходским советам, с согласия общин верующих, на попечении которых находится храмовое имущество, использовать находящиеся во многих храмах драгоценные вещи, не имеющие богослужебного употребления (подвески в виде колец, цепей, браслеты, ожерелья и другие предметы, жертвуемые для украшения святых икон,

золотой и серебряный лом), на помощь голодающим.

Призывая на всех благословение Божие, молю православный русский народ, чад Церкви Христовой, откликнуться на этот наш призыв.

«У кого есть две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай то же» (Лк. 3, 11).

«Будьте милосердны, как Отец ваш небесный милосерден» (Лк. 6, 36).

6 февраля 1922 г.

От редакции

В своей беседе с корреспондентом газеты «Известия ВЦИК» в марте 1922 года патриарх Тихон говорил: «В церквах нет такого количества драгоценных камней и золота, чтобы при ликвидации их можно было получить какие-то чудовищные суммы денег... Боюсь, что около вопроса о церковных ценностях поднято слишком много шума, а на практике намеченная мера не даст ожидаемого результата...»

(«Известия ВЦИК», 15 марта 1922 г.)

Это подтвердил фактический руководитель всей акции Троцкий.

ПИСЬМО Л. Д. ТРОЦКОГО
П. А. КРАСИКОВУ

1. Из всех обстоятельств дела вытекает, что главные церковные ценности уплыли за годы революции. Осталось только громоздкое серебро...

Лето 1921

Воззвание Патриарха Тихона «К народам мира и к православному человеку»

Величайшее бедствие поразило Россию. Пажити и нивы целых областей ее, бывших ранее житницей страны и уделявших избытки другим народам, сожжены солнцем. Жилища обезлюдели и селения превратились в кладбища непогребенных мертвецов. Кто еще в силах, бежит из этого царства ужаса и смерти без оглядки, повсюду покидая родные очаги и землю. Ужасы неисчислимы. Уже и сейчас страдания голодающих и больных не поддаются описанию, и многие миллионы людей обречены на смерть от голода и мора. Уже и сейчас нет счета жертвам, унесенным бедствием. Но в ближайшие грядущие годы оно станет для всей страны еще более тяжким: оставленная без помощи, недавно еще цветущая и хлебородная земля превратится в бесплодную и безлюдную пустыню, ибо не родит земля непосеянная, и без хлеба не живет человек.

К тебе, Православная Русь, первое слово Мое:

Во имя и ради Христа зовет тебя устами моими Святая Церковь на подвиг братской самоотверженной любви. Спеши на помощь бедствующим с руками, исполненными даров милосердия, с сердцем, полным любви и желания спасти гибнущего брата. Пастыри стада Христова! Молитвою у престола Божия, у родных Святынь, исторгайте прощение Неба согрешившей земле. Зовите народ к покаянию: да омоется покаянными обетами и Святыми Тайнами, да обновится верующая Русь, исходя на Святой подвиг и его совершая, — да возвысится он в подвиг молитвенный, жертвенный подвиг. Да звучат вдохновенно и неумолчно окрыленные верою в благодатную помощь свыше призывы ваши к Святому делу спасения погибающих. Паства родная Моя! В годину великого посещения Божия благословляю тебя: воплоти и воскреси в нынешнем подвиге твоем святые, незабвенные деяния благочестивых предков твоих, в годины тягчайших бед собиравших свою беззаветною верой и самоотверженной любовью во имя Христово духовную русскую мощь и ею оживотворявших умиравшую русскую землю и жизнь. Неси и ныне спасение ей — и отойдет смерть от жертвы своей.

К тебе, человек, к вам, народы вселенной, простираю я голос свой:

Помогите! Помогите стране, помогавшей всегда другим! Помогите стране, кормившей многих и ныне умирающей от голода. Не до слуха вашего только, но до глубины сердца вашего пусть донесет голос Мой болезненный стон обреченных на голодную смерть миллионов людей и возложит его и на вашу совесть, на совесть всего человечества. На помощь немедля! На широкую, щедрую, нераздельную помощь!

К Тебе, Господи, воссылает истерзанная земля наша вопль свой: пощади и прости, к Тебе, Всеблагий, простирает согрешивший народ Твой руки свои и мольбу: прости и помилуй.

Во имя Христово исходим на делание свое: Господи, благослови.

15/28 февр. 1922

Послание Патриарха Тихона о помощи голодающим и изъятии церковных ценностей

Среди тяжких бедствий и испытаний, обрушившихся на землю нашу за наши беззакония, величайшим и ужаснейшим является голод, захвативший обширное пространство с многомиллионным населением.

Еще в августе 1921 г., когда стали доходить до нас слухи об этом ужасном бедствии, Мы, почитая долгом своим прийти на помощь страждущим духовным чадам Нашим, обратились с посланиями к главам отдельных христианских Церквей (Православным Патриархам, Римскому Папе, Архиепископу Кентерберийскому и епископу Йоркскому) с призывом, во имя христианской любви, произвести сборы денег и продовольствия и выслать их за границу умирающему от голода населению Поволжья.

Тогда же был основан Нами Всероссийский Церковный Комитет помощи голодающим, во всех храмах и среди отдельных групп верующих начались сборы денег, предназначавшихся на оказание помощи голодающим. Но подобная церковная организация была признана Советским Правительством излишней и все собранные Церковью денежные суммы потребованы к сдаче и сданы правительственному Комитету.

Однако в декабре Правительство предложило Нам делать, при посредстве органов церковного управления: Св. Синода, Высшего Церковного Совета, Епархиального, Благочиннического и Церк.-приходского Совета — пожертвования деньгами и продовольствием для оказания помощи голодающим. Желая усилить возможную помощь вымирающему от голода населению Поволжья, Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским Советам и общинам жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие богослужебного употребления, о чем и оповестили Православное население 6 (19) февраля с. г. особым воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию и распространению среди населения.

Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовным руководителям Церкви, 10 (23) февраля ВЦИК, для оказания помощи голодающим, постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является актом святотатства, и Мы священным Нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот акт, а также оповестить о сем верных духовных чад Наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не освященных и не имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь страждущим братьям нашим. Но Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство — миряне отлучением от Нее, священнослужители — извержением из сана (Апостольское правило 73, Двукратн. Вселенск. Собор. Правило 10).

*Введенский
«Церк. и гос.»*

ДОПОЛНЕНИЕ

*Товарищу Молотову
для членов Политбюро.*

Строго секретно.

Просьба ни в коем случае копий не снимать, а каждому члену Политбюро (тов. Калинину тоже) делать свои пометки на самом документе.

Ленин.

По поводу происшествия в Шуе, которое уже поставлено на обсуждение Политбюро, мне кажется, необходимо принять сейчас же твердое решение в связи с общим тоном борьбы в данном направлении. Так как я сомневаюсь, чтобы мне удалось лично присутствовать на заседании Политбюро 20 марта, то поэтому я изложу свои соображения письменно.

Происшествие в Шуе должно быть поставлено в связь с тем сообщением, которое недавно РОСТА переслало в газеты

не для печати, а именно сообщение о подготовляющемся черносотенцами в Питере сопротивлении декрету об изъятии церковных ценностей. Если сопоставить с этим фактом то, что сообщают газеты об отношении духовенства к декрету об изъятии церковных ценностей, а затем то, что нам известно о нелегальном воззвании Патриарха Тихона, то станет совершенно ясно, что черносотенное духовенство во главе со своим вождем совершенно обдуманно проводит план дать нам решающее сражение именно в данный момент.

Очевидно, что на секретных совещаниях влиятельнейшей группы черносотенного духовенства этот план обдуман и принят достаточно твердо. События в Шуе лишь одно из проявлений этого общего плана.

Я думаю, что здесь наш противник делает громадную ошибку, пытаясь втянуть нас в решительную борьбу тогда, когда она для него особенно безнадежна и особенно невыгодна. Наоборот, для нас именно данный момент представляет из себя не только исключительно благоприятный, но и вообще единственный момент, когда мы можем с 99-ю из 100 шансов на полный успех разбить неприятеля наголову и обеспечить за собой необходимые для нас позиции на много десятилетий. Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи, трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией, не останавливаясь перед подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо, во всяком случае, будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть и несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать это нам не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечил нам сочувствие этих масс, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне.

Один умный писатель по государственным вопросам справедливо сказал, что если необходимо для осуществления известной политической цели пойти на ряд жестокостей, то надо осуществить их самым энергичным образом и в самый короткий срок, ибо длительного применения жестокостей народные массы не вынесут. Это соображение в особенности еще подкрепляется тем, что по международному положению России для нас, по всей вероятности, после Генуи окажется или может оказаться, что жестокие меры против реакционного духовенства будут политически нерациональны, может быть, даже чересчур опасны. Сейчас победа над реакционным духовенством обеспечена полностью. Кроме того, главной части наших заграничных противников среди русских эмигрантов, т. е. эсерам и милюковцам, борьба против нас будет затруднена, если мы именно в данный момент, именно в связи с голодом проведем с максимальной быстротой и беспощадностью подавление реакционного духовенства.

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю следующим образом:

Официально выступать с какими бы то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, — никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

Посланная уже от имени Политбюро телеграмма о временной приостановке изъятий не должна быть отменяема. Она нам выгодна, ибо посеет у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать (об этой секретной телеграмме, именно потому, что она секретна, противник, конечно, скоро узнает).

В Шую послать одного из самых энергичных, толковых и распорядительных членов ВЦИК или других представителей центральной власти (лучше одного, чем нескольких), причем дать ему словесную инструкцию через одного из членов Политбюро. Эта инструкция должна сводиться к тому, чтобы он в Шуе арестовал как можно больше, не меньше, чем несколько десятков, представителей местного духовенства, местного мещанства и местной буржуазии по подозрению в прямом или косвенном участии в деле насильственного сопротивления декрету ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Тотчас по окончании этой работы он должен приехать в Москву и лично сделать доклад на полном собрании Политбюро или перед двумя уполномоченными на это членами Политбюро. На основании этого доклада Политбюро даст детальную директиву судебным властям, тоже устную, чтобы процесс против шуйских мятежников, сопротивляющихся помощи голодающим, был проведен с максимальной быстротой и закончился не иначе, как расстрелом очень большого числа самых влиятельных и опасных черносотенцев г. Шуи, а по возможности также и не только этого города, а и Москвы и нескольких других духовных центров.

Самого Патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского, Уншлихта лично делать об этом доклад в Политбюро еженедельно.

На съезде партии устроить секретное совещание всех или почти всех делегатов по этому вопросу совместно с главными работниками ГПУ, НКЮ и Ревтрибунала. На этом совещании провести секретное решение съезда о том, что изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, монастырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в самый кратчайший срок. Чем большее число представителей реакционной буржуазии и реакционного духовенства удастся нам по этому поводу расстрелять, тем лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать.

Для наблюдения за быстрейшим и успешнейшим проведением этих мер назначить тут же на съезде, т. е. на секретном его совещании, специальную комиссию при обязательном участии т. Троцкого и т. Калинина, без всякой публикации об этой комиссии с тем, чтобы подчинение ей всей операции было обеспечено и проводилось не от имени комиссии, а в общесоветском и общепартийном порядке. Назначить особо ответственных наилучших работников для проведения этой меры в наиболее богатых лаврах, монастырях и церквах.

Ленин.

Прошу т. Молотова постараться разослать это письмо членам Политбюро вкруговую сегодня же вечером (не снимая копий) и просить их вернуть Секретарю тотчас по прочтении с краткой заметкой относительно того, согласен ли с основою каждый член Политбюро или письмо возбуждает какие-нибудь разногласия.

Ленин.

Письмо В. И. Ленина публикуется в СССР впервые. В отличие от зарубежных изданий все выходные данные письма (шифры) в настоящей публикации приведены правильно.

ПОЯСНЕНИЕ

Секретное письмо В. И. Ленина членам Политбюро впервые напечатано в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения» (Париж, № 97, 1970, с. 54—57). Редактор «Вестника» Н. А. Струве предварил его следующими словами: «Подлинность его вне сомнения: на него есть прямая ссылка в «Полном собрании сочинений Ленина», т. 45, М., 1964, с. 666—667. «Март 19. Ленин в письме членам Политбюро ЦК РКП(б) пишет о необходимости решительно подавить сопротивление духовенства проведению в жизнь декрета ВЦИК от 23 февраля 1922 об изъятии церковных ценностей в целях получения средств для борьбы с голодом. (В «Архиве» имеет шифр ЦПА ИМЛ, ф. 2.0.1, ед. хр. 22947). Но бдительные цензоры ленинских писаний не посмели включить это письмо в так наз. «Полное собрание сочинений», насчитывающее 55 томов». Подобное поведение составителей в пору руководства идеологией М. А. Сусловым естественно. Однако документ этот замалчивается и по сию пору, как и повсюду напечатанные на Западе антирусские высказывания Ленина, приведенные в известном хрестоматийно-оскопленном очерке М. Горького «В. И. Ленин».

Вопрос о происхождении голода 1922 года до сих пор толкуется историками по-разному. В любом случае ясно, что вопрос о хлебе есть прежде всего вопрос о власти и о «социальном переустройстве», каковым было и изъятие церковных ценностей: «Хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность является в руках пролетарского государства, в руках полновластных советов самым могучим средством учета и контроля... Это средство контроля и принуждения к труду посильнее законов конвента и его гильотины. Гильотина только запугивала, только сламывала активное сопротивление, нам этого мало. Нам этого мало. Нам надо не только запугать капиталистов в том смысле, чтобы чувствовали все насилие пролетарского государства и забыли думать об активном сопротивлении ему. Нам надо сломить и пассивное, несомненно еще более опасное и вредное сопротивление. Нам надо не только сломить какое бы то ни было сопротивление. Нам надо заставить работать в новых организационных государственных рамках. И мы имеем средство для этого... Это средство — хлебная монополия, хлебная карточка, всеобщая трудовая повинность». (В. И. Ленин, ПСС, т. 36, с. 269). Сам же Ленин знал и открыто писал, что хлеб в стране есть: «Недалеко от Москвы, в губерниях, лежащих рядом: в Курской, Орловской, Тамбовской, мы имеем по расчетам осторожных специалистов еще теперь до 10 млн. пудов избытка хлеба» (там же, с. 369). Вопрос стоял не о продовольствии, а только о политике: «Потому что распределяя его (хлеб. — *В. К.*), мы будем господствовать над всеми областями труда» (там же, с. 449). Одним из проявлений политики был и вопрос об «изъятии церковных ценностей».

ПАТРИАРХ ТИХОН О СМЕРТИ ЛЕНИНА

МОСКВА. В опубликованном в газетах письме бывший патриарх Тихон выражает соболезнование правительству СССР по поводу тяжелой утраты, понесенной в лице неожиданно скончавшегося председателя Совнаркома, Ульянова-Ленина. В беседе с представителем печати бывший патриарх Тихон заявил, что Ленин не был отлучен от православной церкви, поэтому всякий верующий имеет право и возможность его поминать. Хотя, сказал Тихон, мы идейно расходились с Лениным, я имею сведения о нем, как о человеке добрейшей и поистине христианской души. Я считал бы оскорблением памяти Ленина, если бы православное духовенство участвовало в похоронах, ибо Ленин никогда не выражал желания, чтобы православное духовенство провожало его тело.

«Пролетарский путь», газета Симбирского губкома РКП, Губисполкома и Губпрофсовета. 27 января 1924 г. № 22 (667).

Послесловие

Итак, опубликованы мало кому до сих пор известные документы. По трагической и просто жестокой остроте смысла их (особенно «строго секретную» записку В. И. Ленина) трудно сравнивать с какими-либо другими напечатанными у нас в последнее время документами, хотя, казалось бы, появилось уже так много острейших публикаций...

К сожалению, в большинстве случаев публикаторы этого рода документов явно преследовали одну специфическую цель — возбудить как можно более резкие негативные эмоции (что нередко и удавалось). Вот, мол, какие чудовищные вещи происходили в этой проклятой России! — таков был основной «прицел» множества подобных публикаций.

И эта практика уже начала вызывать нарастающее сопротивление. Родственник одного из воскрешаемых ныне великих русских мыслителей, на чью долю выпала трагическая судьба, рассказывал мне, как представитель охочего до сенсаций журнала при переговорах по поводу публикации материалов о жизни и деятельности мыслителя с грубой откровенностью заявил: «Вы нам побольше «чернухи» дайте!» В конце концов возмущенный наследник вообще отказался что-либо передать развязному журналисту.

Изучать прошлое нужно и важно не для очередных проклятий, но для того, чтобы п о н я т ь ход истории — и, конечно, не только прошедшей, но и современной, и будущей. И обнародование документов, раскрывающих предельно жестокий конфликт, имеет своей целью углубить не только понимание того, что происходило в России в 1918—1925 годах, но и всего движения истории в Новое время, особенно с конца XVIII века, когда христианская Церковь впервые была подвергнута безоговорочному отрицанию.

Нет сомнения, что во многих нынешних журналах и газетах этот конфликт был бы подан как нечто характерное именно и только для нашей страны. Читателей уже «приучили» именно к такому восприятию. Один из глубоко уважаемых мною людей, прочитав при мне публикуемые здесь документы, сказал с горьким вздохом: «Подобное могло делаться только в России...».

Поэтому в высшей степени целесообразно привести несколько выдержек из только что изданной (к сожалению, тиражом всего лишь в семь с половиной тысяч экземпляров) книги В. Г. Ревуненкова «Очерки по истории Великой французской революции» (Л., 1989); нелишне будет отметить, что автор книги посвятил изучению революции XVIII века более тридцати лет, и его работа, без сомнения, представляет собой наиболее объективное из новейших исследований этой революции.

Итак, несколько документов и фактов:

— Постановление Генерального совета Коммуны от 23 ноября 1793 года: «1. Все церкви и храмы будут немедленно закрыты; 2. Все священники несут персональную ответственность за все волнения, источником которых явятся религиозные убеждения; 3. Всякий, кто потребует открыть храм или церковь, будет арестован».

— «2 ноября в Конвент явились посланцы Фуше (комиссар Конвента; впоследствии был министром полиции при Наполеоне — то есть своего рода наполеоновским Берия. — *В. К.*), неся с собой 17 ящиков с золотом, серебром и прочей церковной утварью. «Санкюлоты, — заявили они, — явились к вам, чтобы вручить эти реликвии фанатизма. Они попирают ногами кресты и все игрушки попов...». Действия Фуше и других комиссаров Конвента в департаментах, изымавших церковное золото, закрывавших храмы и т. п., нашли еще более энергичное продолжение в Париже». В Париже отбиралось не только золото и серебро; было предписано «перелить в пушки бронзовые распятия, статуи святых и прочие изображения...»

— Комиссар Конвента в Нанте Каррье (позднее, кстати сказать, сам ставший жертвой доведенного им до крайности террора) приказал «набивать» заключенными священниками барки, стоявшие на Луаре; эти барки отводились на середину Луары и там затоплялись... На заседании Конвента 28 ноября 1793 г. было оглашено письмо Каррье, в котором говорилось: «Апостол разума просвещает и воодушевляет все умы; предрассудки, суеверия, фанатизм рассеиваются перед факелом философии. Мине, прежний епископ, обличил в красноречивой речи ошибки и преступления духовенства и сложил с себя сан священника; пять кюре последовали его примеру... 82 из числа тех, кого мы называем непокорными, были заперты на барке на Луаре; все они погибли в реке». Через две недели Каррье рапортовал, что «Луара поглотила еще 25 священников. Что за революционный поток эта Луара!» [1]

В. Г. Ревуненков, между прочим, сообщает в своей книге, что крупные доходы имело во Франции только немногочисленное высшее духовенство; основная же часть духовенства — кюре (священники), викарии и монахи — «вербовалась из различных слоев народа вплоть до крестьян и ремесленников и жила более чем скромно: по статусу 1796 г. годовой оклад кюре составлял 750 ливров, его викария (помощника) — 350 ливров». Тут же историк отмечает, что «опытный и умелый рабочий мог заработать до 2 ливров в день» (то есть его заработок был близок к окладу кюре и превосходил оклад викария).

Следовательно, ненависть к священникам имела, так сказать, отнюдь не «материальную», а собственно «идейную» основу. Это, между прочим, совершенно ясно выразилось в процитированном рапорте комиссара Каррье. Христианство предстает как нечто абсолютно враждебное идее «р а з у м н о г о» устройства совершенного общества, своего рода «земного рая». И все идеологи, ставившие цель создания такого общества, видели в христианстве первейшего своего врага.

Достоевский в «Дневнике писателя» 1873 года рассказывал о своей встрече с Белинским в 1845 году: «Я застал его страстным социалистом, и он прямо начал со мной с атеизма. В этом много для меня знаменательного, — именно удивительное чутье его... Интернационалка в одном из своих воззваний, года два тому назад, начала прямо с знаменательного заявления: «Мы прежде всего общество атеистическое», то есть начала с самой сути дела; тем же начал и Белинский... Как социалисту, ему прежде всего следовало низложить христианство».

Достоевский не вполне точен, говоря здесь именно и только о «социалистах»: те или иные деятели французской революции, уничтожавшие священников и священные предметы, не были «социалистами» в собственном смысле слова, а с другой стороны, существовал общинный социализм, который никто народу не навязывал. Речь должна идти не о социалистической идее как таковой, а о той или иной «разумной» организации общества, которая насаждается идеологами.

Важно также напомнить, что ко времени своей встречи с Достоевским Белинский уже написал (в 1841 году) высоко ценимые его продолжателями слова: «Я понял французскую революцию... Понял и кровавую любовь Марата (который был главным пропагандистом массового террора. — *В. К.*) к свободе, его кровавую ненависть ко всему, что хотело отделяться от братства с человечеством...».

Будущее кровавое столкновение в России ясно намечается здесь, за много десятилетий до его осуществления. И устроители насильственного «братства» неизбежно должны были столкнуться с христианством, которое не допускает мысли о рае на земле — а это не менее враждебно устроителям «братства» — исходит из того, что судьбы народов не могут определяться волей хотя бы даже и самых «разумных» идеологов.

Словом, то, что происходило в России в 1922 году, было звеном во всемирно-исторической цепи. «Штурм Неба» — если воспользоваться этой популярной в 1920—1930-х годах формулой — имеет свою долгую и сложную историю...

* * *

Вернемся еще раз к французской революции. 7 ноября 1793 года (между прочим, еще до того момента, когда начали топить барки со священниками) «к конституционному епископу Парижа Гобелю явилась, — как сообщается в уже цитированном труде В. Г. Ревуненкова, — депутация ЦК народных обществ... и, разбудив престарелого служителя церкви, заявила ему, что он должен отречься от сана и приказать подчиненному ему духовенству закрыть церкви. На другой день Гобель, запросив предварительно мнение епископского совета (который 14 голосами против трех высказался за отречение), явился в Конвент и торжественно отрекся от своего сана. За отречением Гобеля последовали массовые отречения от сана духовных лиц как в Париже, так и в департаментах» (позднее, уже при Наполеоне, французская церковь восстановилась).

Виднейшие иерархи русской церкви, в отличие от французской, не отреклись от своей миссии...

Нельзя не обратить внимание на в высшей степени знаменательный факт: беспощадное подавление церкви поручается возглавить Троцкому, но это должно остаться в безусловной тайне, а на «поверхности» должна быть фигура Калинина. Вспомним аналогичную (хотя по «соотношению фигур» как раз противоположную) ситуацию: на время с 27 сентября 1936 года до 8 декабря 1938-го во главе органов безопасности был поставлен русский — Ежов, между тем как и до этого времени, и после него (при жизни Сталина) все основные руководители данного ведомства были нерусского происхождения. Говоря попросту, считалось, очевидно, что Калинин, в юности бывший христианином, не сможет достаточно беспощадно отнестись к Церкви, а — во втором случае — Ягода не сумеет быть беспощадным ко многим деятелям верхнего эшелона власти и самого НКВД.

Обратимся теперь к личности его святейшества Патриарха Тихона. Нет сомнения, что для ее понимания необходим очень широкий — в сущности, всемирно-исторический

[1] По другим сведениям (см., например, Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Ефрона, полутом 28, стлб. 597) один только Каррье утопил в общей сложности 132 священника.

— контекст. Выше уже вспоминалось — и вполне естественно — имя Достоевского; столь же естественно приходит на ум сочиняемая его Иваном Карамазовым символическая поэма «Великий инквизитор»[1]. Смысл ее, в частности, в том, что христианство в его истинной сути «мешает» созданию «разумно» устроенного «всеобщего счастья», и сам великий инквизитор решает отправить явившегося к нему Христа на костер.

В поэме Ивана Карамазова после слов великого инквизитора — «Завтра я сожгу тебя. Dixi[2]» — его собеседник «молча приближается к старику и тихо целует его». Здесь невольно вспоминается о том, что Патриарх Тихон в 1924 году добрыми словами помянул В. И. Ленина... Как и у Достоевского, речь шла, конечно, о *человеке*, а не об идее.

Через год, 7 апреля 1925 года, Патриарх Тихон скончался. На его похоронах и в творческом сознании крупнейшего русского живописца того времени Павла Корина сложился замысел великого трагического произведения.

Цитирую записную книжку П. Д. Корина: «12 апреля 1925 (Донской монастырь. Отпевание патриарха Тихона). С высокого входа собора видно было: вдали по ограде монастыря несли гроб, шло духовенство. Народа было великое множество. Был вечер перед сумерками, тихий, ясный. Народ стоял с зажженными свечами, плач, заупокойное пение... В стороне сидел слепой и с ним мальчишка лет тринадцати... Они пели какой-то старинный стих, каким-то странным старинным напевом... Помню слова: «Сердца на копья поднимем»...».

На похоронах и возник замысел коринской картины «Реквием»[3]: «Потрясла трагедия, — говорил художник, — хотел ее отразить». В 1920—1925 годах П. Д. Корин изучал и копировал полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Теперь же он задумал своего рода «Явление Антихриста народу»...[4] Поначалу «местом действия» должен был быть Донской монастырь, позднее художник перенес свой замысел в главный собор России — Успенский в Кремле. Согласно эскизу, на амвоне, а также перед ним, ближе к зрителю, предстают несколько десятков героев картины. Все главные герои (около тридцати) были запечатлены П. Д. Кориным в этюдах, большинство из которых принадлежит к высшим творениям живописи XX века («Отец и сын», «Схимоигумен и иеромонах», «Трое» и др.).

В 1936 году художник приготовил громадный холст для картины. Но за тридцать с лишним лет, которые ему оставалось жить, картина не была написана, — хотя в определенной степени она существует в форме этюдов и общего эскиза.

Корин создавал «Реквием», или, по его же определению, «последний парад православия». Готовясь к работе, он не раз слушает реквиемы Моцарта и Берлиоза, «Гибель богов» Вагнера и записывает: «Этот пафос и стон должен быть в моей картине»; «день суда, который превратит мир в пепел».

Художник стремился, но не смог отчетливо объяснить, почему он все-таки не создал свой «Реквием». Но в наши дни это, кажется, можно понять. «Я задумал картину, — писал Корин, — о целых пластах жизни, н а в е к и   и с ч е з а ю щ и х» (выделено мною. — *В. К.*). И вот одно поражающее противоречие. Среди этюдов к «Реквиему» есть великолепный портрет молодого, двадцатипятилетнего тогда, иеромонаха, созданный в 1935 году. На нем изображен С. М. Извеков (родился в 1910 году, принял пострижение в страшном 1930-м). На эскизе к «Реквиему» этот иеромонах расположен ближе остальных героев к зрителям, он как бы даже выступает из картины. И этот иеромонах — нынешний патриарх Пимен, принявший участие в 1989 году в торжественной службе в том самом Успенском соборе (служба совершалась впервые после Пасхи 1918 года)! А ведь «Реквием» должен бы был сказать о нем — как и об остальных героях картины — надгробное слово...

И, может быть, растущее осознание того, что к о н ц а, который он хотел воссоздать, на самом деле нет, побудило П. Д. Корина не завершать свое творение. Ученик Павла Корина, художник В. И. Иванов метко сказал о «Реквиеме»: «Сам ход работы над неосуществленной картиной содержит в себе историческую культурную ценность»[5]. И ценность глубочайшую! Именно в свете, в духе творческих исканий П. Д. Корина нужно осмысливать все то, что выразилось в приведенных выше документах 1920-х годов. Не «чернуху» в них видеть, а исполинскую — всемирную — *трагедийность*.

Поверхностное «эмоциональное» восприятие явленного в публикуемых документах конфликта легко подтолкнуть к элементарному чувству крайнего негодования: вот, мол, страшная деспотическая сила без каких-либо серьезных оснований обрушивается на как бы ничем, в сущности, не угрожающих власти людей...

В действительности это совсем не так. Атака на православие была вызвана именно пониманием всей его мощи, даже, если угодно, его *всесилия*. И нельзя не напомнить, что с конца 1920-х годов — в основном ради обеспечения возможности провести коллективизацию — развертывается новое и во многом еще более решительное наступление на Церковь.

Но история показала, что самое беспощадное искоренение не смогло окончательно подавить и истребить «врага». Поэтому сама беспощадность борьбы должна вызывать в еще не отравленных до конца «чернухой» человеческих душах не только и не столько ужас (и тем более отчаяние), но сознание *трагического величия* непобежденной — хотя, казалось бы, ничем не вооруженной — силы, сознание высокого — пусть и глубоко скорбного — *торжества*.

* * *

В заключение имеет смысл сказать, что конфликт Церкви и идеи «разумного» устройства общества продолжался, конечно, и после 1920-х годов. Накануне второй мировой войны он в определенной мере потерял свою крайнюю остроту, но после того, как Хрущев заявил, что мы-де перегоним Америку и через 20 лет будет построен коммунизм, все опять обострилось.

Одним из застрельщиков непримиримой борьбы с Церковью и религией был в 1960-х годах журнал «Новый мир». Я уже писал («Наш современник», 1989, № 1) о том, что журнал не был монолитен. Так, по воле Твардовского в нем печатались А. Солженицын, В. Белов, С. Залыгин, В. Лихоносов и другие писатели этого ряда.

Но в журнале преобладали — по крайней мере количественно — совсем иные авторы. И, скажем, постоянно выступавший в журнале спец по атеизму И. Миндлин возмущенно взывал с его страниц: «Не один из пережитков прошлого не обладает, пожалуй, такой живучестью, как религия», и недопустимо занимать «пассивную, оборонительную позицию по отношению к враждебной марксизму-ленинизму идеалистической, религиозной идеологии» («Новый мир», 1960, № 9). Позднее, в 1962 году, он же с удовлетворением отметил: «За последние годы после довольно длительного отставания нашей научно-атеистической мысли наметилось ее оживление» (№ 4). После нескольких лет этого нового «наступления» И. Миндлин указывал на еще не «добитый» пункт: «В наше время... перейдя к обороне перед неудержимым натиском, религия пытается превратить мораль в узловой пункт сопротивления» («Новый мир», 1965, № 12). И он же в 1968-м категорически настаивал: «Коммунисты, разумеется, отвергают тезис о мирном идеологическом сосуществовании марксизма и религии» («Новый мир», 1968, № 2).

С претензией на более солидную осведомленность в этой проблематике В. Лакшин заявлял: «Противники марксизма издавна запугивали обывателя тем, что коммунизм и нравственность несовместимы. Еще в начале века реакционный философ С. Н. Булгаков проповедовал: «свой идеал — установление социалистического общества — он (марксизм. — *В. К.*) строит на развитии чувства зависти и ненависти...» Можно ли расценить это иначе, чем как буржуазную клевету?» («Новый мир», 1966, № 8). Однако вполне ясно, что идея создания «совершенного» общества подразумевает: нравственным является все, что способствует этому созданию, — в том числе и массовый террор...

Один из ведущих авторов «Нового мира» Е. Драбкина с брезгливой злобой вспоминала и о событиях 1922 года: «Советское правительство приняло декрет об изъятии церковных ценностей в пользу голодающих[6]. В ответ на это патриарх Тихон разослал обращение к верующим... Дико было видеть вылезающих из кривых переулков Замоскворечья сморщенных, сгорбленных старух... Они сползались к церкви у Кузнецкой улицы, а там на паперти черный поп накликал проклятия на работавшую в церкви комиссию по изъятию ценностей, и старухи стоном вздыхали и вскрикивали» и т. д. («Новый мир», 1968, № 10).

Но, как ни удивительно, именно тогда, во второй половине 1960-х годов, в литературе начинается медленное, но непобедимое воскрешение духовности. И вот уже в 1969 году всю жизнь специализировавшийся на «разоблачениях» и доносах А. Дементьев в бессильной злобе кричит со страниц «Нового мира», что ныне «целый хор поющих в унисон критиков и поэтов с таким усердием разрабатывает тему об уважении к старине именно как церковную тему» (1969, № 4).

Позднее страстный поклонник «Нового мира» (о чем он не раз писал) академик А. Д. Сахаров весьма резко выступил против тех (прежде всего А. И. Солженицына), кто возлагает надежды на возрождение православия. Он заявил, что это устремление есть якобы «националистическая и изоляционистская направленность» и «религиозно-патриархальный романтизм», которые являются «утопичными и потенциально опасными» (Андрей Сахаров. О стране и мире. Нью-Йорк, 1976, с. 119). То есть «опасность» усматривалась не в продолжающихся жестоких атаках воинствующих атеистов, а в дальнейшем воскрешении православия...

Ныне многое, к счастью, изменилось и в жизни, и в сознании людей. И подобные нападки на православие едва ли смутят теперь народ.

Принимая во внимание все это, мы можем и должны читать опубликованные выше документы не как очередную «чернуху»; мы можем и должны научиться видеть эту трагедию так, как видели ее глаза создававшего свое великое творение Павла Корина...

Вадим КОЖИНОВ.

[1] Н. А. Бердяев еще в 1905 году писал, что «социал-демократы — провозвестники рационалистической религии человеческого устроения», и связывал имя Ленина с образом «Великого инквизитора» из поэмы Ивана Карамазова (журнал «Полярная звезда», 1905, № 2, с. 146).

[2] «Я сказал» (лат.) — в смысле: больше говорить не о чем.

[3] Более известно название, данное А. М. Горьким, — «Уходящая Русь».

[4] Характерна запись П. Д. Корина во время работы над картиной: «...гениальные суровые фрески великого Луки Синьорелли (итальянский художник конца XV — начала XVI в. — В. К.) — «Пришествие Антихриста». Сила его простая и великая. Несколько часов я простоял перед его фресками»...

[5] Кстати сказать, давно пора бы продуманно разместить коринские этюды к картине в отдельном зале и реализовать замысел В. И. Иванова, который предложил «снять эскиз к холсту на цветной слайд и затем через аппаратуру воспроизвести его на холст, приготовленный для картины. Это, видимо, имело бы очень сильное воздействие на зрителя и дало бы, хотя и не полное, но представление о несостоявшейся картине». (Эскиз и сегодня находится — вместе с большинством этюдов — в мастерской П. Д. Корина на Малой Пироговской улице).

[6] Из «строго секретной» записки членам Политбюро (см. выше) ясно, что ценности имели иное значение: «Мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей... Без этого никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы».

КРИТИКА



СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВ

ЗАВЕТ ТЕРПИМОСТИ

ЛЕНИН И «ПИСЬМА К ЛУНАЧАРСКОМУ» КОРОЛЕНКО

...Я писатель, т. е. человек, стремящийся к тому, чтобы его мысли стали известны.

В. Г. Короленко (1920 г.)

Мы уже стали привыкать к неожиданным поворотам в судьбах деятелей, писателей, мыслителей прошлого, благодаря которым через многие десятилетия после их смерти мы вдруг какими-то новыми, освобожденными от назойливых шор глазами начинаем видеть их просветлевшие, очищенные от наслоений времени, величественные фигуры. Пелена лет при этом, внезапно истлев, спадает и являет первозданный облик тех, кто, казалось, был навечно обречен «носить» закрепившиеся на них чужие «одежды», скроенные из досадных заблуждений и упрощений.

История, несмотря на жестокосердие своей безостановочности и пугающую необратимость, все-таки справедлива: рано или поздно она всегда отдает долги признаний всем, кто этого воистину заслуживает. Жаль только, что эти долги призваны получать, как правило, не сами выстрадавшие их, а их потомки.

Что-то близкое к такому внезапному «вознесению» из сумрака полузабвения на свет пристального общественного внимания, «очищению» от «пыли» времени переживает сейчас фигура замечательного русского писателя В. Г. Короленко, обреченного долгие годы на повышенный интерес только литературоведов-профессионалов и пребывание в тени более звонких писательских имен. Толчком к разрушению давно устоявшегося, приглаженного образа автора «Слепого музыканта» и «Детей подземелья», этакого мягкого, добренького романтика, погруженного в переживания возвышенных душ, послужили его «Письма к Луначарскому» («Новый мир», 1988, № 10), сверкнувшие на небосклоне литературных новинок яркой неугасающей кометой. Эти письма обнажили вдруг и горячий, мятежный дух писателя, и его острое гражданское мужество, и его удивительную, опередившую многих и многих прозорливость, свойственную лишь крупным мыслителям.

История «Писем к Луначарскому» В. Г. Короленко обширна и многогранна, ибо она, как кристалл, вбирает в себя «токи и подвижки» того великого времени, в которое эти письма писались. Но, пожалуй, наиболее важной в ней главой выступают страницы, связывающие воедино имена В. Г. Короленко и В. И. Ленина, выступившего инициатором встречи наркома просвещения с писателем в Полтаве, а значит, и «крестным отцом» самих писем. Постараемся осветить в данной статье эти пока еще не известные читателю страницы, сосредоточив внимание на всех известных нам пересечениях имен Ленина и Короленко, складывающихся в хронику событий, охватывающую почти четверть века.

1

Вступление В. И. Ленина в политическую деятельность происходило в Поволжье в годы, названные Горьким для Нижнего Новгорода «временем Короленко». Молодой гимназист и студент не мог не испытывать некоторой тяги к одному из кумиров демократической молодежи конца 80-х — начала 90-х годов — автору «Сна Макара» и очерков «В голодный год». И хотя вскоре эта тяга должна была остыть с ростом критического отношения юного Владимира Ульянова к народничеству, он надолго сохранил в себе уважение к одному из самых популярных писателей России на грани XIX—XX веков.

Жизнь полна удивительных, порой предначертывающих будущее совпадений и встреч в судьбах многих людей. Одно из таких совпадений имело место в конце XIX века, когда незадолго до своего отъезда в Шушенское к сосланному туда Владимиру Ульянову с именитым писателем познакомилась Надежда Крупская. Она готовила тогда в Петербурге к поступлению в гимназию двенадцатилетнюю дочь Короленко Софью, приходя в дом писателя. В 1926 году Н. К. Крупская сообщала в письме к воспитанникам детской колонии имени Короленко: «...Я знала немного Владимира Галактионовича и лично. В 1898 году — перед ссылкой я была учительницей и готовила в школу дочку В. Г. — Соню. Она была очень славной девочкой и страшно любила отца». Совершенно естественно, что Надежда Константиновна не могла не рассказать о своем знакомстве мужу. В том же письме 1926 г. Крупская признавалась: «В. Г. Короленко — один из любимых моих писателей. Из каждой строчки его сочинений видна его большая любовь к людям...»

Впервые сам В. И. Ленин упомянул о Короленко в 1899 г. в своей книге «Развитие капитализма в России». Высказываясь о невозможности превращения «массы неимущих» кустарей в «самостоятельных хозяев», он сослался на показательный образ «единичного героя самодеятельности» Дужкина из «Павловских очерков» писателя, в которых была ярко изображена безысходность попыток задавленных жизнью кустарей разбогатеть и пробиться в люди (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 3, с. 436). Несомненно, Ленин был знаком не только с «Павловскими очерками», но и другими произведениями писателя, которые он высоко ценил. Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что, поддерживая в начале 1904 г. инициативу создания библиотеки и архива ЦК РСДРП в Женеве, Ленин составил список авторов отдела художественной литературы, куда наряду с Пушкиным, Толстым и другими писателями-классиками включил Короленко (В. И. Ленин, Биохроника, т. 1, с. 523).

Но, пожалуй, самое любопытное в отношениях молодого революционера к писателю заключено в одной исторической загадке, которую нам, видимо, вряд ли удастся с достоверностью разгадать. Касается она происхождения псевдонима, выбранного для себя Владимиром Ильичем. В 1940 году, отвечая на вопросы, поставленные Институтом Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б), его брат Д. И. Ульянов писал: «На второй Ваш вопрос о происхождении псевдонима Ленин должен сказать, что с Владимиром Ильичем я лично об этом никогда не говорил, но имею основание предполагать, что этот псевдоним происходит от названия реки Лена, так прекрасно описанной Короленко». Следует ли из этого, что В. И. Ульянов взял себе псевдоним под впечатлением от сибирских рассказов Короленко, где река Лена нашла одно из первых ярких воплощений в художественной литературе? Может быть, и так... Ведь факты не противоречат этой версии. Сибирские рассказы Короленко «Мороз», «Последний луч», «Государевы ямщики», действие которых происходит на Лене, были впервые опубликованы в январе и феврале 1901 года в журнале «Русское богатство». А первая подпись новым псевдонимом появилась у Ленина в мае того же года под одним из писем и в декабре под статьей. Известно также, что в 1901 году, как и в более ранние годы, Владимир Ильич постоянно читал «Русское богатство»...

В 1907 г. в «Проекте речи по аграрному вопросу во второй Государственной думе», упомянув о сборнике статистических материалов, обработанных неким С. А. Короленко, Ленин предостерег против смешения этого «реакционного чиновника» с «прогрессивным писателем» В. Г. Короленко (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 15, с. 132). Впоследствии подобная оценка творчества и деятельности Короленко неоднократно повторялась большевиками.

В отношении Ленина к Короленко до Октябрьской революции, по-видимому, в гармоничном единстве находилось и признание Лениным яркого художественного таланта писателя и восприятие его как демократа, отдающего свои силы народному благу. Ситуация во многом изменилась после Октября, когда политические интересы пришедших к власти большевиков стали почти всеобъемлющими, не оставляя вне своего охвата ни одну зону общественной жизни, в том числе область литературы и печати. Эти интересы диктовали теперь размежевание со вчерашними союзниками, не «доросшими» до понимания «закономерностей» социалистической революции и прямо высказывавшими свое несогласие с ее методами.

Реалии политической борьбы не могли не вызвать обострения отношения Ленина к Короленко, который уже 3 декабря 1917 года в статье «Торжество победителей. (Открытое письмо Луначарскому)», опубликованной в «Русских ведомостях», обвинил новую власть в подавлении «свободы русской мысли, русского слова и русской воли» и заявил, что вся независимая русская литература, «без различия партий, оттенков и направлений, на с вами, а против вас».

События ближайшего времени, полтавская «одиссея» Короленко, когда он стал свидетелем беспрерывной череды смены в городе властей — Центральной Рады, Советов, ставленников гетмана и немецких оккупантов, петлюровцев, вновь Советов, деникинцев, а также «подвигов» бродивших по окрестным селам махновских банд, изменили это почти однозначно отрицательное отношение писателя к большевикам. Но слово было сказано, и оно не могло в декабре 1917 г. не найти сочувствия во враждебно настроенных по отношению к Советской власти кругах и осуждения в кругах ее сторонников и защитников.

Резкая критика Советской власти Короленко, в том числе и его декабрьская статья 1917 года, была хорошо известна В. И. Ленину. Об этом могут свидетельствовать воспоминания В. Д. Бонч-Бруевича. «С наступлением Октябрьской революции, — писал он, — мне пришлось неоднократно получать официальные све-

дения, как Управляющему делами Совета Народных Комиссаров, о том, что В. Г. Короленко весьма неодобрительно относится к деятельности представителей советской власти, считает совершенно ненужным и зловредным решительную борьбу диктатуры пролетариата с эксплуататорскими классами, называя ее «излишней жестокостью». Он доказывал, что мирная эволюция в лоне республиканской конституции скорее достигнет желанной цели, чем решительная, беспощадная, нередко кровавая борьба классов, которая, по его мнению, только напрасно озлобляет народ. С присущей ему откровенностью и бесстрашием Владимир Галактионович это свое мнение, шедшее вразрез с указаниями директивных органов партии и правительства, открыто высказывал всюду и везде, как в письмах, так и устно при разговорах, и на собраниях... Все сведения об этих фактах были известны Владимиру Ильичу».

Воспоминания Бонч-Бруевича выявляют очень важный штрих к пониманию того портрета Короленко, который складывался в восприятии большевистских вождей. Состоял он в весьма приблизительном знании ими позиции и взглядов писателя. Иначе откуда бы взялись эти несуразные обвинения его в пропаганде «мирной эволюция в лоне республиканской конституции» и наивное желание, чтобы мнение писателя сливалось «с указаниями директивных органов». Такое стремление видеть в Короленко оторванного от жизни мечтателя, идеалиста, проповедника закрывало глаза на разумные, идущие от его опыта и знания народной среды, открыто высказываемыа критические суждения в адрес коммунистов. Критика им наиболее «кричащих» провалов и несуразностей в политике пролетарского государства, особенно на местах, воспринималась как полное отрицание новой власти, причем в расчет вообще не бралось отношение писателя ко всем противостоящим большевикам силам.

Многое в этой близорукости объяснялось господствовавшей в те годы упрощенной схемой «классового», дальтонического по своему характеру видения действительности — «кто не с нами, тот против нас», многое исходило от простого отсутствия на сей счет должной, исчерпывающей информации, не пропущенной сквозь сито заинтересованных ведомств.

Жалобы Короленко доносились до Москвы, прежде всего, через председателя Совнаркома Украины Х. Г. Раковского и председателя ЦИК Украины Г. И. Петровского, к которым он неоднократно обращался с письмами и телеграммами, а также члена коллегии ВЧК, председателя Всеукраинской ЧК М. И. Лациса (Я. Ф. Судрабса), к которому стекались все данные о деятельности местных чекистских органов. В течение 1918—1920 гг. В. И. Ленин встречался с каждым из указанных лиц, постоянно получал от них доклады и сообщения. Периодически знакомился он с секретными информационными сводками ВЧК, содержавшими обширный фактический материал. Не имея под рукой всех этих документов, мы можем лишь представлять себе, в каком преимущественно осуждающем духе доходили до Ленина сведения о настроениях Короленко, что, естественно, накладывало свой отпечаток на восприятие им послереволюционного облика писателя.

Однако события нередко подтверждали правоту опасений и предупреждений Короленко, особенно относительно беззаконий в деятельности ВЧК, хотя это, в сущности, не меняло отношения властей к самому писателю. Уже в июле 1918 г. В. Д. Бонч-Бруевич обращал внимание В. И. Ленина на ежедневно поступающие в Совнарком жалобы «о неурядицах, воровстве и проч.» в ВЧК, которые передавались в Наркомат юстиции РСФСР. Позднее Я. Х. Петерс писал, что хотя в то время в аппарат ВЧК «входили самые лучшие и преданные делу товарищи», там «было много грязного элемента, который старался примазываться к органам ВЧК... но ВЧК гнала их и, если они попадались, скрывая свое прошлое, расправлялась с ними беспощадно».

Вскрывались факты о преступных действиях органов ВЧК и непосредственно на Украине. 4 июня 1919 г. В. И. Ленин писал в записке М. И. Лацису: «Каменев говорит — и заявляет, что несколько *виднейших чекистов* подтверждают, — что на Украине Чека принесли тьму зла, будучи созданы *слишком рано* и впустив в себя массу примазавшихся.

Надо построже проверить состав, — надеюсь, Дзержинский отсюда Вам в этом поможет. Надо подтянуть во что бы то ни стало чекистов и выгнать примазавшихся.

При удобной оказии сообщите мне подробнее о чистке состава Чека на Украине, об итогах работы» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 50, с. 338).

В ответном письме Лацис сообщил о значительном количестве лиц, «примазавшихся» к ЧК на Украине, в частности, изгнанных из Московской ЧК малоспособных и малонадежных работников. «Сейчас мы, — писал Лацис, — порешили принимать только коммунистов (большевиков)... Я пошел на очень большие уступки, чтобы улучшить состав чрезвычайных комиссий и избавиться от постоянных нареканий и погромов: упразднил уездчека и выбросил мелкую спекуляцию. Еще с первого дня мною запрещено забирать при арестах что-либо, кроме вещественных доказательств... Сейчас послана инспекционная комиссия по всем губерниям в числе 6 человек специалистов по всем отраслям. Как видите, делаем, что можем» (В. И. Ленин. Биохроника, т. 7, с. 264).

К сожалению, как показали дальнейшие события, делалось далеко не все, да и дело заключалось часто отнюдь не в «примазавшихся» к ЧК, а лежало гораздо глубже...

Несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, В. Г. Короленко даже в суровое лихолетье военной поры не оста-

вил поприща активной общественной деятельности. По его инициативе и под его руководством в конце 1918 г. в Полтаве была создана «Лига спасения детей». Писатель был избран ее почетным председателем, и благодаря, прежде всего, его настойчивым усилиям, несмотря на «хоровод властей», прошедший через Полтаву, в детских колониях на Полтавщине было спасено от голода и холода около семи тысяч детей, привезенных из Москвы и других мест.

Создание «Лиги спасения детей» стало известно вскоре во многих городах России. Не вызывает сомнений, что именно эта инициатива оказалась толчком для организации Совета защиты детей, действовавшего в масштабах всей страны. Еще в ноябре 1918 г., встречаясь в Полтаве с Х. Г. Раковским, которого писатель знал уже долгие годы, Короленко попросил его, отталкиваясь от опыта Лиги, поставить в Москве вопрос о необходимости взятия детей под защиту в общегосударственном масштабе. И вот 23 января 1919 г. Раковский сообщил в письме к писателю о своем разговоре перед отъездом из Москвы с Л. Б. Каменевым, который известил, что «предложения Лиги были приняты всецело главой советского правительства, и оставалось выработать только техническую сторону дела».

Уже 17 января 1919 г. вопрос о создании Совета защиты детей на заседании коллегии Наркомпроса поставил А. В. Луначарский, а соответствующий декрет с поправками рукой Ленина был подписан последним 4 февраля 1919 г. Как явствовало из декрета, Совет был призван защищать детей от «эксплуатации, жестокого обращения, беспризорности», заботиться о снабжении их «необходимейшими предметами обихода и в особенности продуктами питания». Председателем Совета был утвержден Луначарский.

Совет защиты детей, развертывая свою деятельность, сразу же вступил в сотрудничество с «Лигой спасения детей». Уже в конце февраля 1919 г. в Полтаву для организации там новой детской колонии прибыл по поручению Наркомпроса А. В. Свешников, в будущем народный артист СССР, директор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Проработав в Полтаве долгое время, Свешников сблизился с Короленко. Любопытно, что, по его воспоминаниям, писатель проявлял «огромный интерес к Москве и строящейся там новой жизни. Очень настойчиво он расспрашивал о Ленине: видел ли я Ленина, как он выглядит, как одет, как говорит, как его слушают, как приветствует его народ. Спрашивал также, видел ли я Крупскую, слушал ли выступления Луначарского».

В августе 1919 г. в Москву к железнодорожным служащим, дети которых находились в колониях на Полтавщине, пришло письмо от «Лиги спасения детей», подписанное В. Короленко: «Правление общества «Лига спасения детей» сообщает всем о тяжелом положении, в котором находятся в настоящее время детские колонии Полтавской губернии. Советская власть, уходя из Полтавы, оставила нам всего 2 миллиона на все детские колонии, т. е. на 7000 детей. Половина этой суммы уже израсходована, и если «Лига» не получит каким-либо путем новых средств — дети обречены на голод. К тому же реэвакуация вследствие продолжающейся гражданской войны невозможна, детям придется, быть может, зимовать здесь, на Украине, неодетыми, разутыми, и к перспективе голода присоединяется еще и холод...

«Лига» обращается к вам, родителям, с предложением найти способы доставить сюда денежные средства (не советскими знаками 1918 года, здесь аннулированными). В противном случае почти неизбежна грозная катастрофа».

Председатель Моссовета Л. Б. Каменев представил это письмо на рассмотрение Малого Совнаркома. 3 сентября 1919 г. он доложил о нем на объединенном заседании Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), которое вел В. И. Ленин. В результате было «признано желательным оказать помощь через надежных людей. Вопрос о размерах помощи предложить решить Малому Совету». Как видим, сведения о деятельности Короленко на Украине все же доходили, хотя и в усеченном виде, до руководства партии и правительства, и эта деятельность встречала у него определенную поддержку.

К сентябрю 1919 г. относится и самая резкая критика В. И. Лениным В. Г. Короленко. До сих пор во всех работах о писателе эти слова Ленина полностью вообще не цитировались, хотя они и опубликованы в его собрании сочинений. Думается, целесообразно восполнить этот пробел, коснувшись попутно обстоятельств, в которых появилась эта критика.

В. И. Ленин затронул вопрос об отношении Короленко к революции 15 сентября 1919 г. в своем письме А. М. Горькому, протестовавшему против массовых арестов буржуазных интеллигентов. Предыстория этого письма состояла в том, что летом и в начале осени 1919 г., в один из наиболее критических моментов в истории гражданской войны, когда, по словам Ленина, «Юденич стоял в нескольких верстах от Петрограда, а Деникин от Орла», органами ВЧК было раскрыто несколько заговоров с целью поддержки наступления «белогвардейцев».

В июне 1919 г. на фортах «Красная Горка» и «Серая Лошадь» вспыхнул контрреволюционный мятеж с целью захвата кронштадтского укрепленного района. В период ликвидации мятежа в Петрограде в буржуазных кварталах были произведены обыски и аресты среди деятелей правых партий, представителей интеллигенции и членов их семей. Многие арестовывались в качестве заложников (официально одобренное использование заложников из «классово чуждой среды» практиковалось, начиная с лета 1918 г.) и препровождались в концентрационные лагеря. И хотя 19 июля

1919 г. объединенное заседание Политбюро и Оргбюро ЦК РКП(б), заслушав вопрос «О концентрационных лагерях», постановило «в быстрейший срок разгрузить лагери, в первую очередь от петербуржцев», часть арестованных в июне продолжала находиться в заключении еще долгое время.

В середине сентября в Москве была ликвидирована контрреволюционная организация «Национальный центр», объединявшая представителей кадетов, правых эсеров, меньшевиков, и связанная с ней военная группа «Добровольческой армии Московского района», готовившая на конец сентября военное выступление. По этому делу были также произведены многочисленные аресты, в том числе предупредительного свойства. Против всех этих и других арестов и протестовал Горький, написав письмо Ленину. В своем ответе Ленин, признав, что «в общем мера ареста кадетской (и околокадетской) публики была необходима и правильна», писал: «Невероятно сердитые слова говорите Вы по какому поводу? По поводу того, что несколько десятков (или хотя бы даже сотен) кадетских и околокадетских господчиков посидят несколько дней в тюрьме *для предупреждения заговоров вроде сдачи Красной Горки*, заговоров, грозящих гибелью *десяткам* тысяч рабочих и крестьян.

Какое бедствие, подумаешь! Какая несправедливость! Несколько дней или хотя бы даже недель тюрьмы интеллигентам для предупреждения избиения десятков тысяч рабочих и крестьян!..

«Интеллектуальные силы» народа смешивать с «силами» буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму Короленко: я недавно прочел его, писанную в августе 1917 г., брошюру «Война, отечество и человечество». Короленко ведь лучший из «околокадетских», почти меньшевик. А какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистской войны, прикрытая слащавыми фразами! Жалкий мещанин, плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ 10 000 000 убитых на империалистской войне — дело, заслуживающее поддержки (*делами*, при слащавых фразах «против» войны), а гибель сотен тысяч в *справедливой* гражданской войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, вздохи, истерики.

Нет. Таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрьме, если это *надо* сделать для *предупреждения* заговоров (вроде Красной Горки) и гибели десятков тысяч. А мы эти заговоры кадетов и «околокадетов» открыли. И мы *знаем*, что околокадетские профессора дают сплошь да рядом заговорщикам *помощь*. Это факт.

Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и крепнут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников, интеллигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На деле это не мозг, а г...»

Далее Ленин тем не менее признал: «Что касается Ваших настроений, то «понимать» я их понимаю (раз Вы заговорили о том, пойму ли я Вас)». Он призвал Горького не «тратить себя на хныканье сгнивших интеллигентов», вырваться из их «обстановки» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 47—49).

Письмо Ленина Горькому вызывает тяжелые чувства. И прежде всего потому, что в нем в сжатом виде сконцентрирован весь безысходный, неразрешимый драматизм гражданской войны. С одной стороны, помня, в какой судьбоносный момент истории молодой Республики это писалось, осознавая, что террор действительно навязывался отвергавшей его сначала новой власти и иностранным вмешательством и не ограниченными ни в чем действиями контрреволюции, нельзя не понять (а это не значит полностью одобрять) оправданность (с точки зрения необходимости удержания власти) суровых защитных мер, предпринимавшихся тогда большевиками. Логика такой защиты приводила к следующим выводам, сформулированным Лениным: «Нет, революционер, который не хочет лицемерить, не может отказаться от смертной казни. Не было ни одной революции и эпохи гражданской войны, в которых не было бы расстрелов»; «История показала, что без революционного насилия невозможно достигнуть победы. Без революционного насилия, направленного на прямых врагов рабочих и крестьян, невозможно сломить сопротивление этих эксплуататоров... Революционное насилие не может не проявляться и по отношению к шатким, невыдержанным элементам самой трудящейся массы» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 503; т. 40, с. 117).

С другой стороны, нельзя не понять и тех, кто открыто протестовал против массовых арестов, а тем более расстрелов (были и такие) невинных, но «классово чуждых» людей, хотя бы это вызывалось «предупреждением» новых заговоров. И можно ли было вообще удержаться в каких-либо разумных границах этих страшных предупредительных мер в обстановке классового негодования и мщения? Вот и на этот раз Ленин вынужден был признать в самом начале своего письма к Горькому относительно произведенных арестов: «...Для нас ясно, что и тут ошибки были». Еще 11 сентября 1919 г. на заседании Политбюро РКП(б) Ф. Э. Дзержинскому, Н. И. Бухарину и Л. Б. Каменеву было предложено пересмотреть дела арестованных. И уже 18 сентября Ленин писал М. Ф. Андреевой: «Меры к освобождению приняты» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 47, 52, 385).

Получается, что протесты людей, «плененных буржуазными предрассудками», выявляли действительные ошибки и хотя бы на несколько оборотов сдерживали раскручивание беспощадного маховика революционного террора. Оправданно ли было тогда такое нагнетание обвинений в их адрес, переходящее в откровенную брань, а также противопоставление якобы ничего не значащих реальных страданий всего лишь «сотен» интеллигентов возможной гибели «десятков тысяч рабочих и крестьян»? Да и не слишком ли легко давались тогда очередные признания ошибок (как, впрочем, даются до сих пор), которые совсем не гарантировали от их нового повторения?..

Не может не вызвать удивления и косвенное причисление Короленко к «околокадетским» элементам, дающим «сплошь да рядом заговорщикам помощь». В отличие от многих кадетов, меньшевиков и других «социалистов» Короленко не только не влился в контрреволюционный поток, но, наоборот, сопротивлялся ему, чем заслужил себе моральное право непредвзято судить об обоих противоборствующих лагерях.

Обращение Ленина к статье Короленко «Война, отечество и человечество» в самые напряженные месяцы 1919 г. свидетельствовало о его пристальном интересе к писателю. Предыстория этого обращения состояла в том, что в июне 1919 г. В. Д. Бонч-Бруевич дал Ленину для ознакомления «Книжную летопись», включавшую в себя списки всех книг, вышедших за 1917—1919 годы. Ленин в тот же день проглядел летопись, отметив все заинтересовавшие его книги (около одного процента общего числа). Среди ленинских пометок шесть имели отношение к произведениям Короленко. Энергичными подчеркиваниями и знаками «нота бене» на полях по два раза были отмечены брошюры писателя «Падение царской власти» и «Война, отечество и человечество», а также сборник «Нужна ли война?» со статьями Короленко, П. А. Кропоткина, Г. В. Плеханова и В. Шоу. Вскоре Ленин и получил брошюру «Война, отечество и человечество». В это же время он выразил желание иметь в своей библиотеке собрания сочинений классиков, в том числе и Короленко. Согласно оплаченному счету, им было получено собрание сочинений писателя стоимостью 50 рублей.

Статья «Война, отечество и человечество» (кстати, так и не изданная ни разу в нашей стране в советское время) отнюдь не сводилась к «защите империалистской войны». Делая такое заключение, Ленин имел в виду неприятие писателем пропагандировавшихся большевиками идей поражения России в империалистической войне и перерастания ее в войну гражданскую, которые сегодня с учетом пережитого страной уже не могут восприниматься без серьезных сомнений. Статья Короленко была проникнута глубокой верой писателя в торжество идей великого общечеловеческого объединения, которое достигается не обезличиванием отдельных народов, а сохранением всего красочного многообразия их особенностей. «...Самое широкое объединение, каких до сих пор достигло человечество, были отечества... и потому из всех общественных чувств чувство к родине самое широкое и самое сильное... Не отказываться от отечества, не разрушать эти ковчеги будущего единства, а сделать их независимыми и сильными, готовыми к новым объединениям — такова задача», — считал писатель. Он видел трагедию «огромнейшей из войн» в том, что идея общечеловеческого братства требует отказа от участия в войне, а этот отказ есть уклонение от борьбы за отечество, горячая любовь к которому вливается в душу «с первой струей родного воздуха, с первым сиянием родного неба, с первыми звуками материнской песни».

Писатель считал, что любые революционные преобразования в стране должны опираться на патриотические чувства и не противоречить национальным интересам. В обратном случае они обречены на провал и вызовут новые жертвы. «Мысль моей статьи... — писал он А. Г. Горнфельду в августе 1917 г., — царь пал потому, что не сумел объединить всех для защиты отечества. Отечество до сих пор — широчайшее из объединений людей. Революция этого не поняла и тоже из-за этого может погибнуть». Эти слова, думается, не утеряли своей злободневности до сегодняшнего времени.

Отношение Короленко к войне не было лишено заблуждений (а кому удалось их избежать, политикам, чьи ошибки оборачивались катастрофическими последствиями, несоизмеримыми с «резонансом» ошибок тех, кто не обладал властью?). Однако захватнические цели войны были ему глубоко чужды. Он называл ее «самым страшным злом и преступлением всего человечества». Поэтому явный перехлест виден в обвинениях Ленина, что Короленко «делами поддерживал» уничтожение миллионов людей в ходе войны. И неужели «гибель сотен тысяч» даже в «справедливой» гражданской войне должна была вызывать лишь восторги и пение бодрых революционных песен?..

Другое известное по документам пересечение деятельности В. Г. Короленко и имени В. И. Ленина, подтверждающее настороженность последнего по отношению к писателю, имело место в конце марта 1920 г., когда правление «Лиги спасения детей» обратилось в Совнарком с просьбой о разрешении послать за границу делегацию с целью выяснения условий закупки товаров для детей и транспортировки их в Россию. На обращении В. И. Ленин нанес резолюцию: «Запросить тов. Дзержинского. Я прошу дать отзыв. (Я думаю, это подвох.)» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 51, с. 170). Ф. Э. Дзержинский ответил: «Считаю отпуск для этой цели за границу Кусковой, Салтыкова (бывшего товарища министра) и других вредным». Характеризуя состав делегации, он писал: «Нет ни одного признающего честно Советскую власть. По существу тоже полагаю, что кормить наших детей не заграница будет». В результате посылка делегации за границу была запрещена.

В этом решении проявилось политическое недоверие к лицам, с которыми Короленко активно сотрудничал, в частности по делам «Лиги спасения детей». Показательно, что Е. Д. Кускова и ее муж С. Н. Прокопович как деятели коопера-

тивного движения до этого уже арестовывались в числа 194 человек по делу Центросоюза и были освобождены после заявления Л. Б. Каменева и К. Б. Радека на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 28 февраля 1920 г., что «по политическим соображениям в настоящее время необходима чрезвычайная осторожность по производству арестов среди кооператоров».

Видимо, весной 1920 г. состоялся и тот разговор о Короленко между В. И. Лениным и В. Д. Бонч-Бруевичем, который нашел отражение в воспоминаниях последнего. «Не понимает он задачи нашей революции, — говорил Владимир Ильич.— Вот они все так: называют себя революционерами, социалистами, да еще народными, а что нужно для народа даже и не представляют... Мало надежды, что Короленко поймет, что сейчас делается в России, а впрочем, надо попытаться рассказать ему все поподробней». Владимир Ильич распорядился пересылать «все сведения из Полтавы о выступлениях Короленко» А. В. Луначарскому и поручил ему вступить с писателем в переписку, чтобы разъяснить последнему мотивы происходящего и постараться привлечь его на сторону Советской власти. Когда же нарком просвещения отправился в командировку на Юго-Западный фронт, Ленин высказался за целесообразность его встречи с Короленко.

12 мая, во время своего первого проезда через Полтаву, Луначарский послал Короленко письмо с сожалением о несостоявшейся встрече. Вскоре после этого писатель приступил к написанию так и не законченного пространного письма к наркому, которое затем перерастет в целый цикл писем к Луначарскому. Это письмо свидетельствует о том, что еще до своей встречи с наркомом Короленко решил обратиться к большевикам с подробным разъяснением своих взглядов, а также проясняет мотивы такого обращения.

«Дорогой Анатолий Васильевич, — писал Короленко. — Я тоже сожалел о том, что нам не пришлось повидаться во время Вашего молниеносного пролета через Полтаву. Хотелось потолковать о многом... Я никогда ни для каких властей не составлял докладных записок. Всегда, где мог, говорил с властями гласно. Теперь делать нечего, приходится писать докладные записки, когда людей расстреливают без суда на улицах... Теперь, когда в голову мне все более и более теснятся настойчивые жгучие мысли о том, что мне представляется гибельно, я думал было обратиться с такой «докладной запиской» к В. И. Ленину. Но потом подумал, что будет проще написать Вам, в ответ на Ваше дружеское напоминание. Вы продолжаете, несмотря на ясно выраженное разногласие, относиться ко мне, как критик и писатель, и мы можем обменяться этими мыслями, как два литератора, а не как обыватель, пишущий непрошеные докладные записки обремененным государственными делами людям. Не взыщите поэтому, если это письмо будет длинновато».

Как видим, писатель подумывал об обращении и непосредственно к В. И. Ленину, но посчитал более удобным писать к наркому, не обременяя самого вождя революции. Однако писатель, по-видимому, надеялся, что и в таком случае до Ленина так или иначе дойдет все высказанное в письмах к Луначарскому. Любопытно, что в черновике незаконченного и неотправленного письма к наркому Короленко вычеркнул следующие слова, объясняющие его отказ писать прямо Ленину: «...Незачем отнимать у него время».

Нарком посетил Короленко 7 июня 1920 г. и провел с ним в беседе о наиболее животрепещущих вопросах несколько часов. Результатом беседы стала договоренность писателя и наркома вступить в переписку на темы революции, чтобы впоследствии ее опубликовать. Вечером в день встречи Короленко обратился к наркому с просьбой предотвратить расстрел обвиненных в спекуляции владельца мельницы Г. Я. Аронова и торговца С. М. Миркина. Однако на следующее утро он получил от Луначарского записку, в которой сообщалось, что обвиняемые были расстреляны еще до приезда наркома в Полтаву.

Позднее Луначарский рассказал о случившемся инциденте Ф. Э. Дзержинскому, обещавшему внимательно рассмотреть данное дело. Однако оно осталось без каких-либо последствий. Тем временем писатель превозмогает свое болезненное состояние, усилившееся в результате встречи с наркомом, и садится за стол, приступая к обещанным письмам.

Здесь не место анализировать содержание самих «Писем к Луначарскому». Подчеркнем, что они никак не сводились лишь к осуждению «красного террора», а включали в себя развернутую, аргументированную критику политики «военного коммунизма», «фантастического», «немедленного», «скороспелого» коммунизма, «коммунизма в казарме», как его называл автор, а также содержали представления о том, каким должен быть социализм, самого писателя, заявлявшего о социалистическом идеале как единственно достойном человечества.

В облике социализма, близком сердцу писателя, ключевое место занимали тогда черты, к которым мы сейчас так пристально обращаем свои взоры, — торжество демократии, «свобода мысли, собраний, слова и печати», свертывание «администрирования», нравственное «здоровье» народа, «свобода частной жизни», использование «достижений буржуазного строя», постепенное, а не «максималистское» продвижение вперед, «напряжение общей самодеятельности», «свобода самоопределения народа», «социальная справедливость», господство «духа патриотизма, который напрасно старались убить во имя интернационализма», и т. д. Короленко призывал «вожаков» коммунистов «отказаться от эксперимента», подавив «свое самолюбие», и повернуть на путь «возвращения к свободе» («Новый мир», 1988, № 10, с. 207, 211, 215—217).

Приехав в Москву, 11 июня 1920 г. А. В. Луначарский был принят В. И. Лениным и рассказал ему о своих впечатлениях от поездки на Украину и, естественно, о встрече с Короленко (В. И. Ленин. Биохроника, т. 9, с. 31). Получив первое письмо из Полтавы, Луначарский переслал его 7 июля Ленину. «Дорогой Владимир Ильич, — писал он. — Посылаю Вам первое письмо Короленко. По-видимому, за ним последуют более интересные». В этом письме речь шла, прежде всего, об инциденте с Ароновым и Миркиным. Поэтому далее Луначарский рассказал о ходатайстве к нему писателя и разговоре по этому поводу с Дзержинским. «Думаете ли Вы, что я должен сообщить об этом Короленко?» — закончил свое письмо к Ленину нарком («Литературное наследство», т. 80, с. 198). Согласно пометке сверху над письмом Луначарского рукой Л. А. Фотиевой: «Запросить Луначарского об ответе Дзержинского», Ленин отнесся к письму Короленко с вниманием. 26 июля к нему вновь обратился нарком: «Дорогой Владимир Ильич, Вы не вернули мне первое письмо Короленко, хотя я очень просил об этом. Если Вы его не потеряли, то я еще раз прошу Вас вернуть его мне. А теперь направляю Вам копию второго, копию из предосторожности, чтобы и это письмо не оказалось потерянным. Письмо, представляется мне, сравнительно мало интересно (речь в нем шла об общих предпосылках Октябрьской революции. — *С. Д.*), но тем не менее заслуживающее того, чтобы Вы его прочитали». Сверху над письмом рукой Л. А. Фотиевой было написано: «в архив». (Там же, с. 207.)

Из этого письма следует, что между 7 и 26 июля Ленин и Луначарский уже разговаривали о первом письме Короленко и, вероятнее всего, о предпринятом расследовании дела Аронова и Миркина. Очевидно, они обсуждали при этом и поставленный наркомом вопрос о необходимости какого-либо сообщения писателю по данному делу. Не имея всех необходимых документов, мы можем лишь предположить, зная дальнейшие события, что тогда было принято решение о нецелесообразности вступления Луначарского в переписку с писателем, а тем более ее опубликования: уж слишком острым оказалось содержание писем. До конца своей жизни Короленко так и не дождался от Луначарского какого-либо ответа, даже простого извещения о получении писем.

Молчание из Москвы не могло не произвести на писателя удручающего воздействия. Не успокаивало его горькую тревогу о судьбах России и происходившее в стране в конце 1920 — начале 1921 г., когда эскалация всеобщей нетерпимости достигла своего апогея. В октябре 1920 г. писатель узнал об аресте в середине сентября его давнего товарища, члена редколлегии «Русского богатства», В. А. Мякотина, который еще в августе в ходе рассмотрения Верховным революционным трибуналом дела «Тактического центра» был заочно приговорен к расстрелу и объявлен «врагом народа». Он обвинялся в связях с белогвардейцами и причастности к деятельности «Союза возрождения России». В создавшейся ситуации Короленко решился впервые обратиться за содействием к Н. К. Крупской. 14 октября 1920 г. он писал ей в переданном с оказией письме: «Уважаемая Надежда Константиновна! Вы, вероятно, не забыли наше когда-то знакомство. Мы с женой вспоминаем о нем, так же как и Ваша бывшая ученица, теперь уже взрослая». Далее писатель выразил сомнение в обоснованности «жестокого» приговора как в отношении Мякотина, так и других осужденных. Он сообщил, что только благодаря Мякотину при деникинцах в Екатеринодаре в газете «Утро Юга» были опубликованы его статьи с протестами против беззаконий белогвардейцев, и обращал внимание на слабое здоровье своего подзащитного, давно страдающего туберкулезом. «Больше я ничего не прибавлю,— завершал письмо Короленко, — кроме разве того, что глубоко люблю этого человека, верю в его честность и искренне желаю блага народу. И еще слыхал не раз, что Вы среди нынешних суровых бурь не утратили сердечности и чувства справедливости. Я теперь жадно ищу людей с этими чувствами и обращаюсь к Вам, сделайте, что можете...» С подобной же просьбой писатель обратился к М. И. Калинину.

Не ясно, предприняла ли какие-либо действия Н. К. Крупская, получив письмо Короленко, и обращалась ли она к Ленину. Однако расстрел Мякотину был заменен 5 годами тюремного заключения. В 1921 г. все осужденные по делу «Тактического центра» были освобождены по амнистии, а затем большинство из них, в том числе Мякотин, высланы летом и осенью 1922 г. за границу.

2 ноября 1920 г. писатель вновь обратился к М. И. Калинину. На этот раз по поводу своего племянника Владимира Юлиановича Короленко, арестованного по делу некоего Журинского, обвиненного в спекуляции. Поводом для ареста послужило обнаружение у Журинского векселя на имя В. Ю. Короленко. Обращение имело положительный результат: в начале 1921 г. племянник писателя был освобожден. Однако впоследствии он был опять арестован и оказался в заключении на Соловках.

Долгожданное завершение гражданской войны не принесло умиротворения и спокойствия, обнажив кровоточащие язвы «скороспелого» коммунизма, усугубленные ранами более чем шестилетних войн.

«Разруха идет все дальше и дальше, и правительству остается бороться с нею не по существу, а только с ее обнаружениями. Это путь, который привел к гибели не одно правительство. На это я смотрю с горем и печалью», — отмечал Короленко в письме В. Н. Золотницкому в конце марта 1921 года. По мнению Владимира Галактионовича, нужен был тот

шаг навстречу разуму, честному признанию своих ошибок, к которому писатель давно призывал большевиков. И он был-таки сделан под давлением обстоятельств. В нэпе писатель не мог не увидеть частичное проявление того, за что он ратовал ранее. И уже 24 мая 1921 г. в своем письме А. Г. Горифельду он признавался: «Некоторые признаки отрезвления как будто уже заметны». 6 мая того же года писатель высказался по этому поводу еще более откровенно. В письме к Н. С. Тютчеву он прямо указывал: «В прошлом году я написал 6 писем к А. В. Луначарскому. Теперь в заявлениях Ленина вижу многое, что я тогда писал. Не приписываю это себе, но поворот несомненный».

В эти месяцы Короленко продолжал внимательно следить за тем, что происходит в рядах большевистской партии, надеясь на ее «оздоровление». Показательна запись, сделанная им в дневнике 6 февраля 1921 г.: «Говорят много и даже пишут в советских газетах о больших раздорах среди коммунистической партии, которая разделилась на «троцкистов» и «ленинистов»... (Имеется в виду дискуссии о профсоюзах. — *С. Д.)* Как бы то ни было, в господствующей партии начинается какое-то движение, то есть жизнь. Казалось уже, что все застыло в бюрократических формах. А это была бы настоящая смерть».

Однако в это же время писатель получает новые жестокие удары судьбы. В первые месяцы 1921 года, когда тлеющие угли войны уже, казалось бы, затухли, в стране усилились, как бы это ни казалось странным, аресты членов «непролетарских» партий, в том числе меньшевиков. О необходимости проведения подобных арестов говорил тогда сам Ленин. 16 марта 1921 г. за принадлежность к меньшевистской партии в Полтаве был арестован зять и близкий помощник Короленко К. И. Ляхович. Писатель обратился в Губчека с просьбой оставить последнего, ввиду болезненного состояния, под домашним арестом под его поручительство, но в этом ему было отказано. В тюрьме Ляхович заразился тифом, на носилках его перенесли в дом Короленко, однако сделать что-либо было уже нельзя. 16 апреля Константин Иванович скончался. «Я этого человека очень любил и для меня (не говоря об овдовевшей дочери) это был большой удар, от которого наша семья до сих пор не может оправиться, — признавался позднее писатель. — На моем здоровье это, конечно, не могло не отразиться».

В эти же месяцы к Короленко поступали все новые известия о неприятных инцидентах с властями многих близких ему людей. В конце марта 1921 г. в Полтаву к писателю на несколько дней заезжал погостить его старый друг по работе в «Русском богатстве», бывший министр продовольствия Временного правительства, А. В. Пешехонов со своей женой. Он работал в это время в Центральном статистическом бюро Украины и был обвинен в том, что занижал в отчетах наличие на Украине хлеба, обманывая партийные и советские органы. 3 февраля 1921 г. В. И. Ленин в записке председателю Всеукраинской ЧК В. Н. Манцеву, ссылаясь на решение Политбюро, приказывал «установить *полное* наблюдение за Пешехоновым» (Ленин писал, что он «хуже всякого белогвардейца») и «пешехоновцами», «добиться немедленной отставки Пешехонова и отправки его в Москву» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 52, с. 62, 65—66). Впоследствии Пешехонов также был обвинен в связях с контрреволюционной организацией «Союз возрождения России», арестован и выслан летом 1922 года за границу.

Известия о резком ухудшении здоровья В. Г. Короленко доходили до Москвы. Во второй половине марта 1921 г. В. И. Ленин в письме народному комиссару здравоохранения Н. А. Семашко поднял вопрос об отправке за границу на лечение за счет государства нескольких лиц, в том числе Короленко: «Очень прошу назначить специальное лицо (лучше *известного* врача, знающего *заграницу* и известного за границей) для отправки за границу, в Германию (Цюрупы, Крестинского, Осинского, Кураева, *Горького, Короленко* и других). Надо *умело* запросить, попросить, сагитировать, написать в Германию, помочь *больным* и т. д.

Сделать *архиаккуратно* (тщательно)» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 52, с. 95).

По-видимому, есть какая-то связь между вниманием В. И. Ленина к состоянию здоровья В. Г. Короленко и приездом к писателю в Полтаву в командировку из Харькова в конце марта 1921 г. профессоров — невропатологов и терапевта. «Я сначала отказался от этого казенного пособия, — признавался Короленко, — но когда врачи (между прочим очень милые и знающие люди) выразили и свое личное желание посетить меня, то я с благодарностью согласился». Свой окончательный диагноз врачи поставили во время своего второго приезда в Полтаву в июне 1921 г. К этому времени расстройство речи, движения и глотания у Владимира Галактионовича было уже настолько явно выражено, что они сошлись во мнении о наличии у него тяжелой неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза. Постепенно болезнь прогрессировала, что привело осенью 1921 г. к почти полной потере писателем речи, заметной стесненности в его движениях, сильному воспалению легких. Владимир Галактионович вынужден был общаться с близкими письменно, и все его попытки восстановить речь специальными занятиями ни к чему не привели.

Что касается предложения о поездке за границу на лечение, то оно было писателем сразу же отвергнуто. Он никуда не хотел ехать, а тем более покидать Родину. По воспоминаниям В. В. Беренштама, близко знавшего писателя, Х. Г. Раковский «настойчиво» предлагал «ему в письме в полное распоряжение исправный вагон-салон со всеми удобствами для поездки за границу, куда укажут доктора (прежде всего, имелся в виду курортный город Наугейм в Германии. — *С. Д.),* с тем, что его будут сопровождать лучшие врачи Харькова. Я... начал убеждать его согласиться. ...Владимир Галактионович ответил:

«Эта поездка ни к чему»... — Помолчал и продолжал: «Вообще я не хочу ехать за границу, а кроме того, никогда и ничего я не брал ни от какого правительства...». Ту же мысль писатель высказал в письме к М. П. Сажину 24 апреля: «Я привык считать себя независимым писателем, и мне разъезжать в казенных вагонах «на казенный счет» дело непривычное и совершенно чуждое. И особенно это чуждо мне теперь после того, как дорогой мне человек убит коммунистической тюрьмой. Я не контрреволюционер и никогда им не буду. Но также не перейду на казенное содержание. Лучше умру». В это время, пересиливая себя, Владимир Галактионович не прекращал работы над «Историей моего современника», стремясь «дотянуть» ее хотя бы до того момента своей жизни, когда по льду замерзшей Волги он въезжал, возвращаясь из ссылки, в еще чужой, незнакомый Нижний Новгород.

Свое нежелание уезжать куда-либо из Полтавы Короленко выразил и специально посланному к нему (с выделением особого вагона) наркомом здравоохранения Н. А. Семашко не без влияния В. И. Ленина, крупному специалисту-невропатологу профессору В. К. Хорошко, целиком подтвердившему диагноз харьковских профессоров. Эта встреча состоялась 5 декабря 1921 г., за 20 дней до смерти писателя.

Осенью 1921 г. Короленко перенес еще один мучительный для себя инцидент с «правительством, какое имеем». В это время многие регионы страны уже погрузились во мрак давно предсказанного голода. «...Голод у нас не *стихийный*, а *искусственный*, и пока мы не избавимся от некоторых наших приемов, мы из него не выйдем», — писал Короленко о голоде 1921 г., называя его бедствием «небывалым, может быть, с Алексея Михайловича. И Россия перед ним почти также беспомощна».

На Украину в поисках хлеба потянулись скорбные вереницы изможденных людей, не имевших сил хоронить умиравших по дороге и встречавших заградительные отряды, запрещавшие въезд на Украину. (Соответствующее постановление было принято СНК еще в мае 1921 г. 1 июня этого же года Совет Труда и Обороны постановил принять меры «вплоть до предания суду революционных трибуналов» для прекращения «незаконного и беспорядочного движения беженцев... к западной границе» и «захвата подвижных составов».) Сюда же в одиночку или маленькими стайками пробирались дети-беспризорники, малую часть которых удавалось устроить в детских приемниках, создаваемых «Лигой спасения детей». «Бредила сама действительность», как выражался писатель.

В конце июля 1921 г. А. М. Горький прислал В. Г. Короленко письмо с просьбой написать воззвание к Европе о помощи голодающей России (оно так и не было закончено). В эти же дни писатель получил телеграмму об избрании его почетным председателем Всероссийского комитета помощи голодающим — широкой общественной организации, объединявшей преимущественно представителей интеллигенции различной политической ориентации. Во главе комитета стояли сотрудничавшие с Короленко, в частности, по делам «Лиги спасения детей», С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, Н. М. Кишкин.

Избрание Короленко почетным председателем Всероссийского комитета как ничто другое свидетельствовало о его огромном авторитете в стране. Писатель откликнулся на это доверие и уважение к нему стремлением сделать все, что от него зависит. Спасение «умирающей страны» он видел в том, чтобы «объединиться и общими силами постараться выбиться из тупика, в который мы залезли». И именно на поприще борьбы с голодом, по его мнению, могло сложиться столь необходимое слияние сил общественности и власти. «Наступают трудные дни, и надо действовать в полном согласии, иначе — провал, — писал он Горькому 27 июля 1921 г. — Эти времена я уже предсказывал в своих письмах к Луначарскому. Если теперь интеллигенция опять станет действовать вразброд, тогда — полный провал наших начинаний. Нужно, чтобы «власть» показала пример единения».

Однако «власть» показала вскоре совсем другой пример. 27 августа 1921 г. в соответствии с постановлением Политбюро ЦК РКП(б) были произведены аресты «всех без изъятия членов (некоммунистов) Комитета помощи», продолжавшиеся и в дальнейшем (В. И. Ленин. Биохроника, т. 11, с. 247). Вскоре сам комитет был ликвидирован. Многие его члены, в том числе С. Н. Прокопович, Е. Д. Кускова, Н. М. Кишкин, удостоились «чести» попасть в группу более 200 писателей, философов, ученых, специалистов, которые были высланы за границу летом 1922 года.

Деятели комитета помощи голодающим обвинялись в нежелании работать и в том, что, прикрываясь ширмой легальной организации, подошли к «народному бедствию Поволжья как средству политической борьбы и заговора против Советской России, возложив все надежды на новую интервенцию капиталистов в новой форме». В записке по поводу проведенных арестов заместителя председателя ВЧК И. С. Уншлихта В. И. Ленину на основе лишь нескольких весьма спорных примеров, касавшихся отдельных членов комитета, делался вывод о контрреволюционном характере всей организации, проводившей «определенную политическую работу».

Без серьезного изучения всех соответствующих документов пока еще рано судить об обоснованности или нет разгрома Всероссийского комитета помощи го-

лодающим. Но уже сейчас можно утверждать, что во многом это дело было спровоцированным и надуманным. Негативное отношение к Советской власти и неизбежная связь отдельных членов комитета с представителями «непролетарских партий», эмигрантами были восприняты органами ВЧК и руководством партии как доказательство враждебности организации в целом, делавшей все возможное для смягчения катастрофических последствий невиданного голода. Политические стереотипы в который раз заслонили доводы разума, и тем самым роль общественности в борьбе с голодом была почти сведена на нет. В конечном счете это не могло не увеличить количества жертв. Показательно, что в период следующего страшного голода в стране в 1932—1933 гг., также унесшего миллионы жизней, никакой общественной организации для помощи голодающим вообще создано не было, в чем проявилась еще большая боязнь правительством того периода широкой огласки происходившего.

Ликвидация комитета помощи голодающим не могла не вызвать роста недоверия к Советской власти в интеллигентской среде, сея к тому же новые страхи о возможных арестах. Именно в это время А. М. Горький, имевший отношение к делам комитета (по его инициативе Политбюро ЦК РКП(б) одобрило создание комитета), почувствовал, несмотря на близость к В. И. Ленину, свое весьма шаткое положение, особенно наглядное в связи с обострением его давнего (еще со времени «Несвоевременных мыслей») конфликта с Г. Е. Зиновьевым и Л. Д. Троцким. Тогда он называл первого «профессиональным демагогом», а по поводу второго писал о «позорности» и «преступности» «пугать террором людей, которые не желают участвовать в бешеной пляске г. Троцкого над развалинами России...» И не случайно, уступая настойчивым требованиям В. И. Ленина, Горький выехал за границу в октябре 1921 года.

Аресты «всех без изъятия членов (некоммунистов)» комитета, к счастью, обошли В. Г. Короленко. Известие о происшедшем разгроме болью отозвалось в душе писателя. «Не верится мне, правду сказать, в измену Кишкина. На такие люди Кускова, Прокопович и Кишкин, чтобы затевать такие штуки, — писал Короленко Горькому. — Я получил от Кусковой письмо, из которого видна ее «лояльность»... Вообще, история эта печальная и много повредит делу помощи голодающим. Мне в ней чувствуется политиканство и худшее из политиканств, политиканство правительственное».

31 августа писатель сделал последнюю запись в своем дневнике, который он вел с перерывами долгие годы: «Сегодня в № 193 «Коммуниста» напечатана статья «Самоупразднение Комитета общественных деятелей»... Разумеется, весь инцидент рассматривается как «самоупразднение». Комитет обвиняется в желании играть в политику, а не в желании помогать действительно голодающим. Таким образом, коммунисты еще раз сфальшивили».

Тревожно и мучительно были прожиты писателем последние месяцы жизни. И не только потому, что обострялась неотступная болезнь. Сердце болело от неизвестности, которая покрывала будущее истерзанной, сдавленной клещами голода Родины. По сравнению с временами молодости писателя («Какие это все были еще «мягкие» времена!» — писал он) теперь времена были «много жесточе». Но и в эти «богом забытые» времена, как бы передавая нам, сегодняшним, бесценный урок стойкости и веры в великое предначертания России, Короленко сохранил в себе никогда не затухавший в нем оптимизм и чувство надежды на счастливую судьбу своего Отечества. Поражает, что и в условиях открытого «умирания» страны, причины которого писатель выводил, главным образом, из близорукой политики большевиков, он не видел другой власти, способной править страной, кроме Советской, и другого пути в будущее, кроме социалистического. И то была горькая, жестокая правда жизни.

9 августа 1921 г. в одном из своих последних писем Горькому Владимир Галактионович признавался: «Я... думаю, что если нынешнее правительство не будет вследствие голода постигнуто какимнибудь катаклизмом, то ему суждено вывести Россию из нынешнего тупика. Повторяю, всякий народ заслуживает то правительство, какое имеет: русский народ заслужил своим излишним долготерпением большевиков. Они довели народ на край пропасти. Но мы видели деникинцев и Врангеля. Они слишком тяготели к помещикам и к царизму. А это еще хуже. Это значило бы ввергнуть страну в маразм. Но обращение к свободе есть условие, без которого я не мыслю даже первых шагов выхода. (В этом же письме писатель предлагал отказаться «от так называемого раскулачивания», подавления «трудоспособного» населения, организовать «разумный кредит», ввести «свободу торговли», «свободу печати» и «свободу мнения». — *С. Д.*)

Если возможен еще выход для России, то он только в одном: в возвращении к свободе. Я на это уже указывал в своих письмах к Луначарскому. Теперь повторяю».

2

Однако ставить на этом точку в интересующей нас теме еще совсем рано. Неосвещенной в ней остается одна, вероятно, наиболее важная глава, вновь связывающая имена писателя и В. И. Ленина.

Как, видимо, помнит читатель, в июле 1920 г. В. И. Ленин познакомился лишь с первым и вторым письмом Короленко к Луначарскому, которые предоставил ему сам нарком. Остальные письма, очевидно, не были почему-то отправлены им Ленину. В итоге получилось, что, познакомившись только с самыми краткими письмами, да к тому же посвященными конкретным проблемам — «красному террору» и неподготовленности России к социалистической революции, В. И. Ленину не было суждено летом и осенью 1920 г. услышать ту честную, вдумчивую критику «скороспелого коммунизма», которая составляет основу эпистолярного цикла Короленко.

Не будем наивными и не станем утверждать, что чтение тогда В. И. Лениным всех писем могло что-либо изменить и, скажем, ускорить отказ от ошибочных политических и экономических действий. Но, вероятно, взглянуть на острые проблемы как бы со стороны оно бы позволило и тем самым могло стимулировать новые плодотворные размышления. Не следует забывать, что «военно-коммунистическая» эйфория не обошла никого в партии, и отказываться от нее пришлось лишь после похмелья Кронштадта и крестьянских восстаний.

Поворачивая руль государственного управления в сторону нэпа, В. И. Ленин вынужден был признать «военно-коммунистическое» забегание вперед крупной ошибкой, в которой он, конечно, не мог не винить в первую очередь самого себя. Оценка серьезности этой ошибки и ее последствий усиливалась у Ленина с течением времени, что еще более обостряло его решимость в обновлении политики партии на основе доводов разума, к которым давно призывал большевиков Короленко.

И все-таки история распорядилась так, что В. И. Ленин прочитал все «Письма к Луначарскому». В конце февраля — начале марта 1922 г. он познакомился с 9-м томом «Современных записок», а этот том открывался публикацией писем Короленко. Еще в 1920 г. писатель не скрывал желания издать где-либо свой цикл, по сути, открытых писем, тем более что они натолкнулись на стену официального молчания. Он рассылал их своим друзьям, передавал представителям печати. Это и объясняет факт издания писем в одном из центральных эмигрантских изданий уже после смерти писателя.

Естественно, что «Письма к Луначарскому» не могли не привлечь внимания Ленина. Надпись на обложке журнала: «т. Ленину» свидетельствует, что журнал был специально передан кем-то Владимиру Ильичу (Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, с. 580). 6 марта 1922 г., выступая перед участниками съезда металлистов, В. И. Ленин сказал, имея в виду напечатанную в том же номере журнала статью А. Ф. Керенского «Февраль и Октябрь»: «На днях мне пришлось прочесть статью Керенского против Чернова в парижском журнале (там этого добра очень много)...» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 9). Вероятно, под «этим добром» Ленин имел здесь в виду и письма Короленко.

В марте 1922 года в силу чрезвычайной загруженности Ленин вряд ли располагал временем для серьезного изучения писем Короленко. Но такая возможность представилась ему в сентябре того же года, когда он находился уже несколько месяцев на лечении в Горках после первого острого приступа болезни, а в Париже уже были изданы отдельной книгой письма писателя. 24 сентября 1922 года в иллюстрированном приложении к «Правде» в заметке «У тов. Ленина» Л. Б. Каменев, побывавший в Горках 13 сентября, отвечая на вопрос «Чем Владимир Ильич интересуется?», перечислил целый ряд тем — от собранного урожая и жилищной ситуации в Москве до фотографических занятий Марии Ильиничны. В самом же начале ответа Каменев сказал, что Ленин интересуется «американским сенатором Бора и только что опубликованными письмами Короленко к Луначарскому».

Здоровье у В. И. Ленина заметно улучшилось к концу августа 1922 г. Как писала Л. А. Фотиева, 30 августа Ленин «отбирает книги для чтения на этот месяц. Откладывает книги для отправки в Москву... Владимир Ильич был удовлетворен посылкой ему книг». На следующий день Ленин писал Фотиевой: «За книги большое спасибо. Теперь имею их массу и начну возвращать пачками» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 276). Очевидно, что среди этих книг оказались и «Письма к Луначарскому» Короленко, изданные в Париже заграничным отделом московского издательства «Задруга». Владимир Ильич внимательно ознакомился с ними именно в период с 30 августа по 13 сентября, когда к нему приезжал Л. Б. Каменев.

Мы не имеем прямых свидетельств того, как отнесся к письмам Короленко Ленин. Но ряд данных показывает, что он проявил к ним особый интерес и что их содержание вызвало в нем живой отклик. Знаменателен хотя бы сам факт разговора Ленина с Каменевым о письмах, нашедший отражение в газетной заметке. Но наиболее важно, что после внимательного прочтения писем у Ленина надолго укрепилось стремление, знакомясь с наследием писателя, глубже понять его взгляды. Под непосредственным впечатлением от прочитанного в начале 20-х чисел сентября того же года Ленин просматривает «Письма В. Г. Короленко к И. П. Белоконскому. 1883—1921 гг.» (М., «Задруга», 1922) и сборник под редакцией А. В. Петрищева «В. Г. Короленко. Жизнь и творчество» (Пг., 1922), в который вошли статьи, письма писателя и материалы, посвященные его творческому пути. В обеих книгах Ленин делает пометки и подчеркивания.

В предисловии к первой книге, выделяя слова о «духовном *облике писателя-гуманиста наших дней*... которому в последние годы единодушный голос родной литературы присвоил имя «совести русского общества», Ленин написал на полях: «а брошюра его *з а* войну 1917 года?», повторив тем самым свою старую критику статьи писателя «Война, отечество и человечество» («Литературное наследство», т. 80, с. 724).

Во второй книге В. И. Ленин обратил внимание на письма Короленко к С. Д. Протопопову разных лет. В письме от

9 августа 1911 года он выделил рассуждение писателя о неправомерности того взгляда, будто «левые» «сначала сделали, а потом погубили» первую русскую революцию, подчеркнув при этом следующие слова: «Дураков сыграли» не одни левые, а вся Россия, и, может быть, октябристы всех больше. Бороться и быть побежденными — это вовсе не глупо... Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, но он-то, пожалуй, и ошибается всех глубже».

В письме от 10 сентября 1916 г. Ленин выделил знаком «NB» совет Короленко Протопопову «подчеркнуть особенно и сугубо, что газета («Русская воля», которую хотели издавать Протопопов и его единомышленники. — *С. Д.*) постарается отрешиться от классовой точки зрения». В сущности, на этой же самой идее писателя, вписывающейся в его представления о «свободе печати», Владимир Ильич остановил внимание и в письме Короленко Протопопову, написанном уже в первый месяц Советской власти 9 ноября 1917 года: «Я не сомневаюсь, что никакими «приказами» нельзя дать перевеса в печати ни «правительственным вестникам», ни «рептилиям», *хотя бы это были рептилии его величества пролетариата* (выделено В. И. Лениным. — *С. Д.*). Преобладание в прессе всегда будет за печатью независимой». И наконец, в письме от 19 ноября 1917 г. Ленин заинтересовался словами Короленко о своей брошюре «Война, отечество и человечество», подчеркнув, в частности, его высказывание: «Этой работе я придаю некоторое значение». Тем самым Владимир Ильич еще раз подтвердил свой давний интерес к той же самой статье писателя (там же, с. 724—726).

Через два месяца, в ноябре 1922 г., просматривая список новых книг, В. И. Ленин отмечает интересующую его книгу — Т. А. Богданович «Биография В. Г. Короленко» (Харьков, 1922) и вскоре получает ее (В. И. Ленин. Биохроника, т. 12, с. 491, 494).

Книги, попадавшие в библиотеку В. И. Ленина, говорят многое о его пристрастиях и интересах. И весьма показательно, что помимо упомянутых выше книг, с которыми Ленин знакомился в сентябре 1922 г., в его библиотеке в Кремле, согласно ее каталогу, хранится множество других книг, включающих в себя произведения и письма Короленко или специально ему посвященных. Одно перечисление этих изданий выглядит весьма внушительно: «Полное собрание сочинений» (т. 8—9, Спб., 1914); «История моего современника» (М.—Берлин, 1922); «Путешествие в Америку» (М., 1923); «Слепой музыкант» (Пб., 1922); «Судный день. Малорусская сказка» (Пг., 1919); «Письма. 1888—1921» (Пб., 1922); «Чехов А. П. и Короленко В. Г. Переписка» (М., 1923); Борович. «Творческая жизнь. Памяти В. Г. Короленко» (Харьков, 1922); Беренштам В. «В. Г. Короленко, как общественный деятель и в домашнем кругу» (Берлин, 1922); Гизетти А. «Светлый дух (В. Г. Короленко)» (Пг., 1922); Козловский Л. «В. Г. Короленко. Опыт литературной характеристики» (М., 1922); Люксембург Р. «В. Короленко» (М., 1922); Мякотин В. А. «В. Г. Короленко» (М., 1922); «Нижегородский сборник памяти Вл. Гал. Короленко» (Н.-Новгород, 1923) (Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, с. 480, 484, 486—487, 490, 497—498).

Годы выхода в свет большинства этих книг еще раз свидетельствуют об особом внимании В. И. Ленина к В. Г. Короленко именно в 1922—1923 годах, т. е. после прочтения им «Писем к Луначарскому». Характерно, что Ленина интересовали не только сочинения писателя, но и его человеческий облик, сведения о его жизни и творческом пути. Эти же книги напоминают нам, насколько высокой была популярность в те годы Короленко, находившегося в центре общественного внимания.

В библиотеке В. И. Ленина хранится и изданная в 1922 г. драма А. В. Луначарского «Освобожденный Дон Кихот» с дарственной надписью автора, в которой нарком просил Владимира Ильича «найти время прочитать» пьесу. Не ясно, нашлось ли у Ленина время для чтения, если нашлось, то он имел возможность познакомиться с очень своеобразной трактовкой образа Короленко, перелицованного Луначарским в Дон Кихота. Автор пьесы не скрывал, что писатель являлся основным прототипом ее главного героя.

Как ни сложно нам сегодня хотя бы приблизительно представить себе восприятие В. И. Лениным в 1922 году «Писем к Луначарскому», но мы все-таки можем это сделать, зная те изменения, которые были внесены в политику партии к этому времени, и обращаясь к текстам ленинских работ. За два года, прошедших после написания писем, в жизни страны «утекло много воды», и в разнообразных чертах обновления этой жизни можно было различить частичное воплощение того, за что страстно ратовал Короленко. В подобных условиях содержание писем неизбежно накладывалось в восприятии Ленина с реальностями второго мирного года после схваток гражданской войны. И, безусловно, здесь находилось место как для согласия с отдельными высказываниями, предложениями, выводами писателя, так и для неприятия, критики других его оценок и соображений.

Вероятно, наиболее сильный сочувственный, хотя и настороженный, отзвук у Ленина должна была получить констатация писателем безграничного «максимализма» большевиков, их «схематического экспериментаторства», безудержного забегания вперед, приведшего к множеству оплошностей и ошибок, и его вера в способность правящей партии честно и глубоко осознать пагубность такого пути, «отказаться от эксперимента и самим взять в руки здоровую реакцию» («Новый мир», 1988, № 10, с. 207, 212—213, 215, 217).

В ноябре 1922 г., через два месяца после внимательного знакомства с «Письмами к Луначарскому», выступая на IV конгрессе Коминтерна, В. И. Ленин говорил о несомненности того, что «мы сделали и еще сделаем огромное количество глупостей». Возвращаясь к «самому большому» внутреннему политическому кризису в истории Советской России 1921 года, он видел его причину в том, «что мы в своем экономическом наступлении слишком далеко продвинулись вперед... что массы почувствовали то, чего мы тогда еще не умели сознательно формулировать, но что и мы вскоре, через несколько недель, признали, а именно: что непосредственный переход к чисто социалистическим формам, к чисто социалистическому распределению превышает наши наличные силы и что если мы окажемся не в состоянии произвести отступление так, чтобы ограничиться более легкими задачами, то нам угрожает гибель». И как бы утвердительно отвечая на вопрос Короленко о способности большевиков отказаться от ошибочных действий, Ленин констатировал успешность «отступления» партии: «...Прошедшие полтора года положительно и абсолютно доказывают, что мы этот экзамен выдержали» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 290, 282, 283).

Необходимость и неизбежность отказа от «скороспелого», «фантастического», «немедленного» коммунизма В. И. Ленин с особой силой неоднократно подчеркивал в своих последних письмах и статьях. «Надо вовремя взяться за ум, — призывал он. — Надо проникнуться спасительным недоверием к скоропалительно быстрому движению вперед, ко всякому хвастовству и т. д. Надо задуматься над проверкой тех шагов вперед, которые мы ежечасно провозглашаем, ежеминутно делаем и потом ежесекундно доказываем их непрочность, несолидность и непонятость. Вреднее всего здесь было бы спешить». «...Мы должны проявить в величайшей степени осторожность для сохранения нашей рабочей власти...» (там же, с. 390, 403).

Не могли не встретить сочувствие у В. И. Ленина и мысли Короленко о восстановлении «органического в отношениях города и деревни: естественную связь обмена», опоре на крестьянские хозяйства, использовании достижений «русского капитализма», «буржуазных форм производства», созданного «капиталистическим строем производственного аппарата», отказе от «милитаризации труда», решения экономических проблем «принудительным отчуждением», «административными» мерами вплоть до «бессудных расстрелов», опасности «силой навязывать новые формы жизни» («Новый мир», 1988, № 10, с. 206, 209—210, 213, 215—216). В подтверждение близости В. И. Ленина в 1922—1923 годах к этим мыслям приведем лишь некоторые его высказывания.

В «Страничках из дневника» Ленин отмечал, что для большевиков «основной политический вопрос — в отношении города к деревне, который имеет решающее значение для всей нашей революции. ...Мы можем и должны употребить нашу власть на то, чтобы действительно сделать из городского рабочего проводника коммунистических идей в среду сельского пролетариата.

Я сказал «коммунистических» и спешу оговориться, боясь вызвать недоразумение или быть слишком прямолинейно понятым. Никоим образом нельзя понимать это так, будто мы должны нести сразу чисто и узкокоммунистические идеи в деревню. До тех пор пока у нас в деревне нет материальной основы для коммунизма, до тех пор это будет, можно сказать, вредно, это будет, можно сказать, гибельно для коммунизма.

Нет. Начать следует с того, чтобы установить общение между городом и деревней, отнюдь не задаваясь предвзятой целью внедрить в деревню коммунизм» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 366—367).

В. И. Ленин неоднократно говорил о необходимости добиться «смычки» «крестьянской экономики» и «той новой экономики, которую мы с громадными усилиями создаем», видя в этом «все значение новой экономической политики». «Наша цель — восстановить смычку, доказать крестьянину делами, что мы начинаем с того, что ему понятно, знакомо и сейчас доступно при всей его нищете, а не с чего-то отдаленного, фантастического, с точки зрения крестьянина... — писал В. И. Ленин, употребляя тот же термин «фантастического», который использовал для определения «военного коммунизма» Короленко. — Сомкнуться с крестьянской массой, с рядовым трудовым крестьянством, и начать двигаться вперед неизмеримо, бесконечно медленнее, чем мы мечтали, но зато так, что действительно будет двигаться вся масса с нами» (там же, с. 75, 77—78).

Владимир Ильич ставил задачу «перехода к новым порядкам путем возможно более *простым, легким и доступным для крестьянина*», используя при этом кооперацию, государственный капитализм — «тот капитализм, который мы можем и должны допустить... ибо капитализм этот необходим для широкого крестьянства...» (там же, с. 370, 85—86). Он обращал внимание на чрезвычайную опасность преувеличения в работе партаппарата «administраторской стороны... которую не надо смешивать со стороной научной, с охватыванием широкой действительности, способностью привлекать людей и т. д.» (там же, с. 351).

С течением времени у В. И. Ленина усиливалось осознание опасности сильно проявлявшегося в партии отрыва от конкретных, казалось бы, не столь политически значащих реальностей жизни многомиллионной страны. И как бы отвечая на упрек Короленко большевикам по поводу незнания ими «сложностей жизни», он писал в апреле 1922 года: «Самое худое у нас — чрезмерное обилие общих рассуждений в прессе и политической трескотни при крайнем недостатке *изучения* местного опыта... Еще более и еще более конкретности в изучении местного опыта, деталей, мелочей, практики... углубления в настоящую жизнь, и уездную,

и волостную, к сельскую... не бояться вскрывать ошибки и неуменье... Чем больше будет такой работы, чем больше углубляться будем в живую практику, отвлекая внимание и свое и читателей от вонюче-канцелярского и вонюче-интеллигентского московского... воздуха, тем успешнее пойдет улучшение... всего нашего строительства» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 54, с. 237).

Жаль, но в действительности происходило скорее обратное: все большее отчуждение аппаратного механизма вплоть до его низовых звеньев от «мелочей» народной жизни и упование на директивы из Москвы и классовое, революционное «чутье».

Обобщенную суть нового подхода к политике партии можно увидеть в словах В. И. Ленина из политического отчета ЦК РКП(б) XI съезду партии: «В народной массе мы все же капля в море, и мы можем управлять только тогда, когда правильно выражаем то, что народ сознает. Без этого коммунистическая партия не будет вести пролетариата, а пролетариат не будет вести за собой масс, и вся машина развалится» (там же, т. 45, с. 112).

Партия поворачивала в своей политике лицом к народу, его нуждам и интересам, делая шаги к признанию его «суверенитета». И здесь как нельзя к месту подходят слова, написанные Короленко Луначарскому в августе 1920 года: «Вы допустите, вероятно, что я не менее любого большевика люблю наш народ; допустите и то, что я доказал это всей приходящей к концу жизнью... Но я люблю его не слепо, как среду, удобную для тех или других экспериментов, а таким, каков он есть в действительности» («Новый мир», 1988, № 10, с. 208).

К великому прискорбию, многое, что писал В. И. Ленин в 1922—1923 годах, осталось на бумаге, в значительной степени благодаря тем социально-психологическим чертам большевистской гвардии, о которых писал Короленко. Уж так хотелось многим «солдатам революции», «навязывая новые формы жизни» и потеряв «чутье» к реально протекающей народной жизни, прибегать к «самым крайним мерам, к последнему выводу из схемы». Народ и, прежде всего, крестьянство они продолжали воспринимать не таким, каково оно есть, а лишь как «среду, удобную для экспериментов». И в этой самонадеянности вытравливанию подвергались национальные корни, животворные вековые традиции, самобытность и гармония крестьянской цивилизации.

История сыграла злую шутку с большевиками, «победоносно» разгромившими народничество и его «эпигонов», но не увидевшими в этом поверженном течении «выплеснутого вместе с водой ребенка» — стремления опираться на особенности, своеобразные черты развития России, поиск путей «естественного», а не насажденного сверху прихода к социализму общинного крестьянства. Нам еще придется открыть для себя почти нетронутые богатства этого народнического взгляда на переустройство общественной жизни на социалистических началах, содержащиеся в трудах народников, социалистов различной партийной принадлежности, но знакомство с размышлениями на этот счет Короленко, считавшего себя и являвшегося народником в точном понимании этого слова, уже показывает жизненность и тогда, и теперь многих народнических представлений.

Почти никто еще не обращал внимания, что В. И. Ленин в статье «О кооперации», говоря о «тожественности» роста кооперации с ростом социализма, который представляет собой не что иное, как «кооперативный строй», по сути, призвал к использованию позитивного потенциала народнических взглядов. С одной стороны, он отметил «фантастичность планов старых кооператоров», под которыми он подразумевал и социалистов-утопистов, и народников, «мечтавших о мирном преобразовании социализмом современного общества без учета такого основного вопроса, как вопрос о классовой борьбе, о завоевании политической власти рабочим классом», а также подчеркнул «нечто романтическое» в этом «кооперативном» социализме. Но, с другой стороны, он обратил внимание на то, «как изменилось дело теперь, раз государственная власть уже в руках рабочего класса»... «...Теперь многое из того, что было фантастического, даже романтического, даже пошлого в мечтаниях старых кооператоров, становится самой неподкрашенной действительностью» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 369, 371, 375—376).

К сожалению, и этот призыв остался почти что «гласом вопиющего в пустыне»...

В этой же статье «О кооперации» В. И. Ленин поднял вопрос, точки соприкосновения с которым мы тоже можем найти в письмах Короленко («Новый мир», 1988, № 10, с. 203, 208—209). Речь идет о ликвидации отсталости страны в культурном отношении, повышении ее «цивилизованности». «Собственно говоря, — подчеркивал Владимир Ильич, — нам осталось *«только»* одно: сделать наше население настолько «цивилизованным», чтобы оно поняло все выгоды от поголовного участия в кооперации... *«Только»* это. Никакие другие премудрости нам не нужны теперь для того, чтобы перейти к социализму. Но для того, чтобы совершить это «только», нужен целый переворот, целая полоса культурного развития всей народной массы» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 372).

Чтобы не быть неправильно понятым читателями, следует пояснить следующее: было бы явным упрощением считать, будто В. И. Ленин изменил свои взгляды под воздействием «Писем к Луначарскому» Короленко. К постоянному творческому поиску, порой мучительному переосмыслению воззрений Ленина вела сама жизнь, не укладывающаяся ни в какие закостенелые формы. Читая письма Короленко, он скорее всего находил в них подтверждение своим действительно выстраданным в суровых столкновениях взглядам и тем самым мог в них укрепляться. При этом Ленин, естественно,

принимал и соглашался далеко не со всем, сохраняя в определенной степени свою былую настороженность к писателю и отвергая, видимо, ту почти крайнюю меру осуждения им большевиков, которая присутствует в «Письмах к Луначарскому».

Острую критику В. И. Ленина не могли не вызвать, к примеру, действительно, наиболее спорные высказывания В. Г. Короленко о том, что Россия в те годы не была еще подготовлена по ряду причин к социалистической революции и построению социализма. Когда читаешь ленинскую статью «О нашей революции (По поводу заметок Н. Суханова)», не можешь избавиться от ощущения, что, критикуя «наших Сухановых», «педантство всех наших мелкобуржуазных демократов», Ленин имел в виду в некоторых местах, прежде всего, Короленко. «Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность, — писал Ленин. — Очень хорошо. Ну, а почему мы не могли сначала создать такие предпосылки цивилизованности у себя, как изгнание помещиков и изгнание российских капиталистов, а потом уже начать движение к социализму?» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 45, с. 381).

Что касается критики Короленко крайностей «революционного насилия», составляющей существенную часть его писем, то как раз в 1922 году, 6 февраля «карающий меч» этого насилия — ВЧК была упразднена, а на ее месте было образовано ГПУ. По настоянию В. И. Ленина в основу этой реорганизации были положены следующие принципы, которые не могли бы не найти определенного одобрения у Короленко: «а) сузить компетенцию ВЧК, б) сузить право ареста, в) назначить месячный срок для общего проведения дел, г) суды усилить, д) обсудить вопрос об изменении названия, е) подготовить и провести через ВЦИК общее изменение в смысле серьезных умягчений». Еще в декабре 1921 г. Ленин, говоря о необходимости «подвергнуть ВЧК реформе», подчеркивал: «Чем больше мы входим в условия, которые являются условиями прочной и твердой власти... тем настоятельнее необходимо выдвинуть твердый лозунг осуществления большей революционной законности, и тем у́же становится сфера учреждения, которое ответным ударом отвечает на всякий удар заговорщиков. Таков результат опыта, наблюдений и размышлений, который правительство за отчетный год вынесло» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 329).

Не следует думать, что эта реформа была проведена без сопротивления, в частности в недрах ВЧК. Ее коллегией был разработан свой проект нового положения о чекистских органах, предусматривавший сохранение за ними карательных функций. Он был в конце концов отвергнут. В это же время происходило, как отмечал В. И. Ленин, скрытие «дефектов и неправильностей ВЧК».

Жизнь заставляла пересматривать многое. Очень показательны в этом отношении поправки В. И. Ленина к проекту заявления советской делегации на Генуэзской конференции, сделанные в конце марта 1922 года. Он предлагал «безусловно выкинуть всякое напоминание о «неизбежном насильственном перевороте и применении кровавой борьбы», вместо этого говорить лишь о том, что мы, коммунисты, не разделяем взглядов пацифистов... безусловно исключить слова, что наша «историческая концепция включает применение насильственных мер»... предполагает неизбежность новых мировых войн.

Ни в каком случае подобных страшных слов не употреблять, ибо это означало бы играть на руку противнику» (там же, т. 45, с. 63).

Вместе с тем, В. И. Ленин и в 1922 г. считал оправданными меры «революционного насилия», которые проводились в период гражданской войны. «В условиях, в которых мы были до сих пор, — говорил он в ноябре 1922 г., — нам некогда было разбирать — не сломаем ли мы чего лишнего, некогда было разбирать — не будет ли много жертв, потому что жертв было достаточно много, потому что борьба, которую мы тогда начали... это была борьба не на жизнь, а на смерть...» (там же, с. 304).

Веянья времени изменились, но не настолько, чтобы уже затянуть язвы «революционной непримиримости и беспощадности», открывшиеся в эпоху «военного коммунизма» и еще долгие годы дававшие себя знать в обществе то острыми приступами, то мучительной, незатихающей, ноющей болью. Об этом могут свидетельствовать, к примеру, разъяснения Ленина И. С. Уншлихту о некоторых деталях проведения реформы ВЧК в конце января 1922 г. «Гласность ревтрибуналов — не всегда; состав их усилить «вашими» людьми, усилить их связь (всяческую) с ВЧК; усилить быстроту и *силу* их репрессий, усилить внимание ЦК к этому. Малейшее усиление бандитизма и т. п. должно влечь военное положение и расстрелы на месте» (там же, т. 54, с. 144).

И вряд ли Короленко, осуждавший репрессии против членов социалистических партий в ходе гражданской войны и ратовавший за «свободу печати», «свободу мнений», посчитал бы оправданными слова В. И. Ленина, сказанные им в марте 1922 года: «...Когда армия отступает, то тут нужна дисциплина во сто раз большая, чем при наступлении... И когда меньшевик говорит: «Вы теперь отступаете, а я всегда был за отступление, я с вами согласен, я ваш человек, давайте отступать вместе», — то мы ему на это говорим: «За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает что такое... Либо вы потрудитесь от высказывания ваших взглядов воздержаться, либо если вы желаете свои политические взгляды высказывать при настоящем положении, когда мы в гораздо более трудных условиях, чем при прямом нашествии белых, то, извините, мы с вами будем об-

ращаться как с худшими и вреднейшими элементами белогвардейщины» (там же, т. 45, с. 89—90).

В мае 1922 г. при разработке первого Уголовного кодекса РСФСР В. И. Ленин предложил к 6 статьям, по которым революционным трибуналам предоставлялось право применения расстрела, добавить еще 6 статей. В частности, он писал, что «надо расширить применение расстрела (с заменой высылкой за границу)... ко всем видам деятельности меньшевиков, *с.-р. и т. п.;* найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с *международной буржуазией* и ее борьбой с нами (подкупом печати и агентов, подготовкой войны и т. п.)». Ленин подчеркивал: «Суд должен не устранить террор; обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас» (там же, с. 189—190). Все предложения Ленина были учтены при окончательной доработке Уголовного кодекса, введенного в действие 1 июня 1922 года.

Вероятнее всего, в 1922 г. наибольшее неприятие у Короленко вызывало бы именно это решительное недопущение большевиками какой-либо политической оппозиционности к Советской власти, откуда бы она ни исходила, отсутствие в стране «свободы мысли, собраний, слова и печати», что не позволяло еще говорить о переходе коммунистов на «путь возвращения к свободе», как его понимал писатель.

Не могла бы вызывать одобрение Короленко и продолжавшаяся в 1922 г. кампания по развенчанию социал-демократов и социалистов западных стран, обвинявшихся в «прислужничестве», «продажности» буржуазии, хотя эта кампания и велась уже более спокойно. Короленко видел превосходство европейских социалистов над большевиками в том, что они не были подвержены «максималистским» лозунгам, являясь сторонниками «социализма, но не максималистского толка», не исключали разумных «компромиссов» и не отбрасывали принципы «свободы и демократии» как «буржуазные предрассудки» («Новый мир», 1988, № 10, с. 207, 210—211). И любопытно, что все прямые упоминания Ленина в «Письмах к Луначарскому» связаны именно с этой темой.

Во втором и четвертом письмах Короленко затронул ленинское «Письмо к английским рабочим», опубликованное в июне 1920 г., увидев в нем доказательство того, что большевики переживают и будут долго переживать «трагедию одиночества» в связи с провалом их фантастических надежд на «мировую революцию» («европейский пролетариат за вами не пошел...»). «Приезд делегации английских рабочих, — писал Владимир Галактионович, — закончился горьким письмом к ним Ленина, которое звучит охлаждением и разочарованием». Далее писатель, по сути, оспаривал вывод Ленина о том, что произошел «переход большинства парламентских и тред-юнионистских вождей рабочих на сторону буржуазии», проявившийся, в частности, во «враждебности... к советской системе и к диктатуре пролетариата» многих членов самой делегации (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 124—125, 128). Говорить, что «вожди социализма в Западной Европе продались буржуазии», подчеркивал Короленко, «это, простите, такая же пошлость, как и то, когда вас самих обвиняли в подкупности со стороны Германии» («Новый мир», 1988, № 10).

В последнем, шестом письме, имея в виду ленинский «Ответ корреспонденту газеты «Дейли-ньюс» г. Сегрю», в котором Ленин вновь коснулся вопроса об «антибольшевистских» настроениях «французских, германских и британских рабочих делегаций», приезжавших в Россию (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 41, с. 277—278), Короленко писал по тому же поводу: «Вы не представляете себе ясно сложность действительности. ...Европейский рабочий не таков слепое стадо, чтобы его можно было кинуть в максимализм по первому зову... У западноевропейских рабочих более сознания действительности, чем у вас, вождей коммунизма, и оттого они не максималисты. После переписки Сегрю и Ленина — дело ясно: европейская рабочая масса в общем не поддержит вас в максимализме. Она остается нейтральной в пределах компромисса» («Новый мир», 1988, № 10).

Показательно, что Короленко закончил шестое письмо 22 сентября 1920 года, а ответ Ленина появился в газетах 12 сентября. Это говорит о том, насколько «горячим» и злободневным было публицистическое «дыхание» короленковских писем. Писатель всегда очень внимательно следил за прессой и долгие годы собирал вырезки по различным темам, оставив после себя уникальное собрание газетных «жемчужин». В архиве Короленко сохранилось и много вырезок статей о Ленине, а также самих ленинских статей и речей с весьма характерными, размашистыми замечаниями на полях и подчеркиваниями цветными карандашами рукой писателя...

Да, «надо жить и теперь», жить, помня «ужасные времена» и не допуская того, чтобы новая «туча, приглушающая радость, усиливающая горе», вновь затмила собой небосклон. Для этого нужно, прежде всего, жить по законам «мудрости, любви и добра», завещанным нам выдающимися деятелями отечественной культуры, пронесшими эти заветы как негасимые свечи сквозь ветра жизни. В числе наших духовных учителей должно светиться и имя Владимира Галактионовича Короленко. Как ни искажался его облик, он доходит теперь до нас в очищенном виде. И, пожалуй, нам придется признать правоту предвидения, сделанного А. В. Луначарским сразу же после смерти писателя: «...Тот дух великого миролюбия и братолюбия, которым был полон Короленко, он-то, конечно, переживет всех нас, и ему отпразднуется триумф, когда придет его время». Время это приходит...

Не хлебом единым

ВОСКРЕШЕНИЕ

Грозные события предшествовали Воскресению Христа. Все силы тьмы ополчились, чтобы погубить Его. В страхе разбежались ученики и сочувствующие. Лишь Матерь Пречистая и Иоанн Богослов остались у креста, да поодаль сидели и плакали Мария Магдалина и другая Мария и еще несколько женщин... По прошествии же субботы женщины пришли ко гробу Господню, чтобы помазать тело Христа драгоценным миро. Сердца их были полны тревоги. «И вот сделалось великое землетрясение: ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был как молния, и одежда его бела как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет, и стали как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь; Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь; и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее, там Его увидите».

Любовь и верность жен-мироносиц были вознаграждены. Они первыми услышали о Воскресении Христовом.

Через истины Нагорной проповеди Христа — этого универсального плана построения человеческой жизни со всеми ее вопросами и ответами — и весь мир призван был к любви и верности...

Тысячу лет назад к подвигу духовного воскрешения была призвана и Русь, и национальный гений откликнулся на призыв и наиболее полно выразился в сочувствии страстям Господним, то есть в открытии себя действию Святого Духа в подвиге Бориса и Глеба — первых русских святых. Страстотерпение как коренная черта русского человека прошла через все события русской истории и культуры. Другая национальная черта, тоже ярко проявившаяся в последовании Христу, — нестяжательность. Святые Феодосий Печерский, Сергий Радонежский, Нил Сорский, заволжские старцы, Паисий Величковский, старцы Оптиной пустыни... — нестяжатели и страстотерпцы.

Трудным был путь духовного становления России. Татарщина, феодальные войны, муки рождения государственности, внешние войны и внутренние неурядицы накладывали жестокий отпечаток.

С начала прошлого столетия вновь оживают в России поиски любви и истины, всего больше под влиянием учеников великого старца Паисия, расселяющихся по различным русским обителям и скитам. Искание духовной жизни захватывает многих и в самых разных социальных слоях общества. Святость и ученость — неотъемлемые стороны учения Паисия Величковского и его последователей. Духовное подвижничество, проповедь любви и братства, нестяжательность, умная молитва, чтение книг, переводы святоотеческой литературы, собирание библиотеки, писание икон, содержание больницы, странноприимницы — в центре их деятельности. В Оптиной пустыни эти грани подвижничества последователей Паисия проявились особенно ярко и самобытно. «И не случайно в Оптиной пустыни перекрещиваются пути Гоголя и старших славянофилов, К. Леонтьева, Достоевского, Влад. Соловьева и Страхова, и даже Льва Толстого, приходившего сюда в час немой предсмертной тоски и непонятного томления...» (Г. Флоровский). В сороковых годах в Оптиной пустыни было предпринято издание святоотеческих переводов старца Паисия и его учеников. Инициатива издания принадлежала старцу Макарию и И. В. Киреевскому. Издали Исаака Сирина, Нила Сорского, Симеона Нового Богослова, Максима Исповедника... В короткий срок в читательский обиход России был введен ряд образцовых книг для духовного чтения и размышлений. В самой Оптиной было собрано до 30 тысяч книг по всем отраслям знаний. «Каждая лишняя копейка монастырская шла не на роскошь, а на книги, как завещал своим ученикам еще Паисий Величковский — великий книголюб».

XIX век — удивительное для Оптиной пустыни время. Целая плеяда замечательных старцев — от ученика Паисия старца Льва, игумена Моисея, старца Мельхиседека, иеромонаха Антония, иеросхимонаха Макария, иеромонаха Иннокентия... до старца Амвросия и его последователей — были объединены союзом взаимной искренней, святой любви, которой они и делились со всеми нуждающимися в утешении и наставлении.

В России известны были и другие пустыни. Саровская — в Тамбовской губернии, Глинская — в Калужской, Белобережская — в Орловской... Но Оптина пользовалась глубокой любовью не только простого народа, но и интеллигенции. Под влиянием старца Оптиной пустыни Льва Игнатий Брянчанинов, канонизированный Церковью в 1988 году одновременно с Паисием Величковским и старцем Оптиной Амвросием, принял решение стать монахом. В круг знакомых будущего епископа и святого входили Пушкин, Крылов, Батюшков, Гнедич, Глинка, Гоголь, Брюллов, Нахимов... У старца Амвросия бывали Достоевский, В. Соловьев, К. Леонтьев (монах Климент), А. Толстой, Л. Толстой, М. Погодин...

Один из самых первых среди писателей посетитель Оптиной, Гоголь, так описывает свои впечатления: «Я заезжал на дороге в Оптинскую пустынь и навсегда унес о ней воспоминанье. Я думаю, на самой Афонской горе не лучше. Благодать видимо там присутствует. Это слышится в самом наружном служении, хотя

и не можем объяснить себе, почему. Нигде я не видал таких монахов. С каждым из них, мне казалось, беседует все небесное. Я не расспрашивал, кто из них как живет: их лица сказывали сами все. Самые служки меня поразили светлой ласковостью ангелов, лучезарной простотой обхожденья; самые работники в монастыре, самые крестьяне и жители окрестностей. За несколько верст, подъезжая к обители, уже слышишь ее благоухание: все становится приветливее, поклоны ниже и участья к человеку больше».

Достоевский после смерти своего младшего сына Алеши не находил себе места, не мог писать, и по совету жены, упросившей Владимира Соловьева сопровождать Федора Михайловича, посетил в июне 1878 года Оптину пустынь, где дважды наедине встречался со старцем Амвросием. Эта поездка кардинальным образом отразилась на творческой судьбе романа «Братья Карамазовы». И хотя до сих пор неясно — кто был прототипом старца Зосимы в романе — старец Амвросий или Тихон Задонский, — несомненно одно — атмосфера Оптиной вернула Достоевского к жизни и помогла ему в осмыслении каких-то глубинных процессов, происходящих в человеке и в обществе. Достоевский дал нам собирательный образ русского старца: «...Что такое старец? Старец — это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, чрез послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли».

Годом раньше Достоевского Оптину посетил Л. Толстой с критиком Страховым. Конец 70-х — 80-е годы было трудное для Толстого время раздумий над смыслом жизни. Философские искания его кристаллизовались в своеобразное «евангелие от Толстого», в котором весьма вольно толковались христианские истины, что, естественно, затрудняло диалог со старцами. Может быть, поэтому откровенной беседы с Амвросием в тот раз не получилось. Впрочем, не получилось богословского спора и в 1881 году, когда Толстой пришел в Оптину, переодевшись крестьянином, и в 1890... Поиски истины, однако, продолжались, и в 1910 году, уезжая навсегда из Ясной Поляны, Толстой вновь посетил Оптину, теперь уже руководимую старцами Иосифом и Варсонофием. Он был отлучен от церкви и сомневался — примут ли. Приняли. Толстой хотел купить дом, чтобы жить вблизи Оптиной, но не успел даже встретиться с кем-либо из старцев, так как из-за плохих известий из дома он принял решение спешно выехать на юг. В Астапово к заболевшему Толстому старец Варсонофий приехал сам, но его не пустили...

Не за горами были трагические дни для Оптиной, которая будет опустошена и заброшена... В 1974 году Оптина пустынь взята под государственную охрану, начата ее реставрация... В 1987-м в Оптину вернулись монахи и началось ее воскрешение.

Воскресение Христово воспринимается многими верующими как прообраз нашего будущего духовного возрождения, обновления общества. Вспомним бессмертного Гоголя: «...«Христос воскрес!» — и поцелуй, и всякий раз так же торжественно выступает святая полночь, и гулы всезвонных колоколов гулят и гудут по всей земле, точно как бы будят нас? Где носятся так очевидно призраки, там недаром носятся; где будят, там разбудят. Не умирают те обычаи, которым определено быть вечными. Умирают в букве, но оживают в духе. Померкают временно, умирают в пустых и выветрившихся толпах, но воскресают с новой силой в избранных, затем, чтобы в сильнейшем свете от них разлиться по всему миру. Не умрет из нашей старины ни зерно того, что есть в ней истинно русского и что освящено Самим Христом. Разнесется звонкими струнами поэтов, развозвестится благоухающими устами святителей, вспыхнет померкнувшее — и праздник Светлого Воскресенья воспразднуется, как следует, прежде у нас, чем у других народов! На чем же основываясь, на каких данных, заключенных в сердцах наших, опираясь, можем сказать это? Лучше ли мы других народов? Ближе ли жизнью ко Христу, чем они? Никого мы не лучше, а жизнь еще неустроенней и беспорядочней всех их. «Хуже мы всех прочих» — вот что мы должны всегда говорить о себе. Но есть в нашей природе то, что нам пророчит это. Уже самое неустройство наше нам это пророчит. Мы еще растопленный металл, не отлившийся в свою национальную форму; еще нам возможно выбросить, оттолкнуть от себя нам неприличное и внести в себя все, что уже невозможно другим народам, получившим форму и закалившимся в ней. Что есть много в коренной природе нашей, нами позабытой, близкого закону Христа, — доказательство тому уже то, что без меча пришел к нам Христос, и приготовленная земля сердец наших призывала сама собой Его слово, что есть уже начала братства Христова в самой нашей славянской природе, и побратанье людей было у нас родней даже и кровного братства, что еще нет у нас непримиримой ненависти сословья против сословья... Знаю я твердо, что не один человек в России, хотя я его и не знаю, твердо верит тому и говорит: «У нас прежде, чем во всякой другой земле, воспразднуется Светлое Воскресенье Христово!»

Перемены в отношениях Церкви и государства сегодня очевидны. Миллионы неверующих взирают на Церковь с надеждой. Церковь со своей стороны готова отдать нам весь свой нравственный потенциал. Готовы ли мы им воспользоваться?

А. ЧИРКИН.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ:

Продолжение романа Александра СОЛЖЕНИЦЫНА
"Октябрь Шестнадцатого";

"Камешки на ладони"
Владимира СОЛОУХИНА;

В рубрике *"История Отечества: документы и судьбы"*
работу Ивана СОЛОНЕВИЧА **"Дух народа";**

Статьи Александра ПРОХАНОВА
"Трагедия централизма", "Русский фактор", "Достаточная оборона";

Николы Б. ПОПОВИЧА
"Советская политика";

Очерк Карема РАША
"Армия и культура".